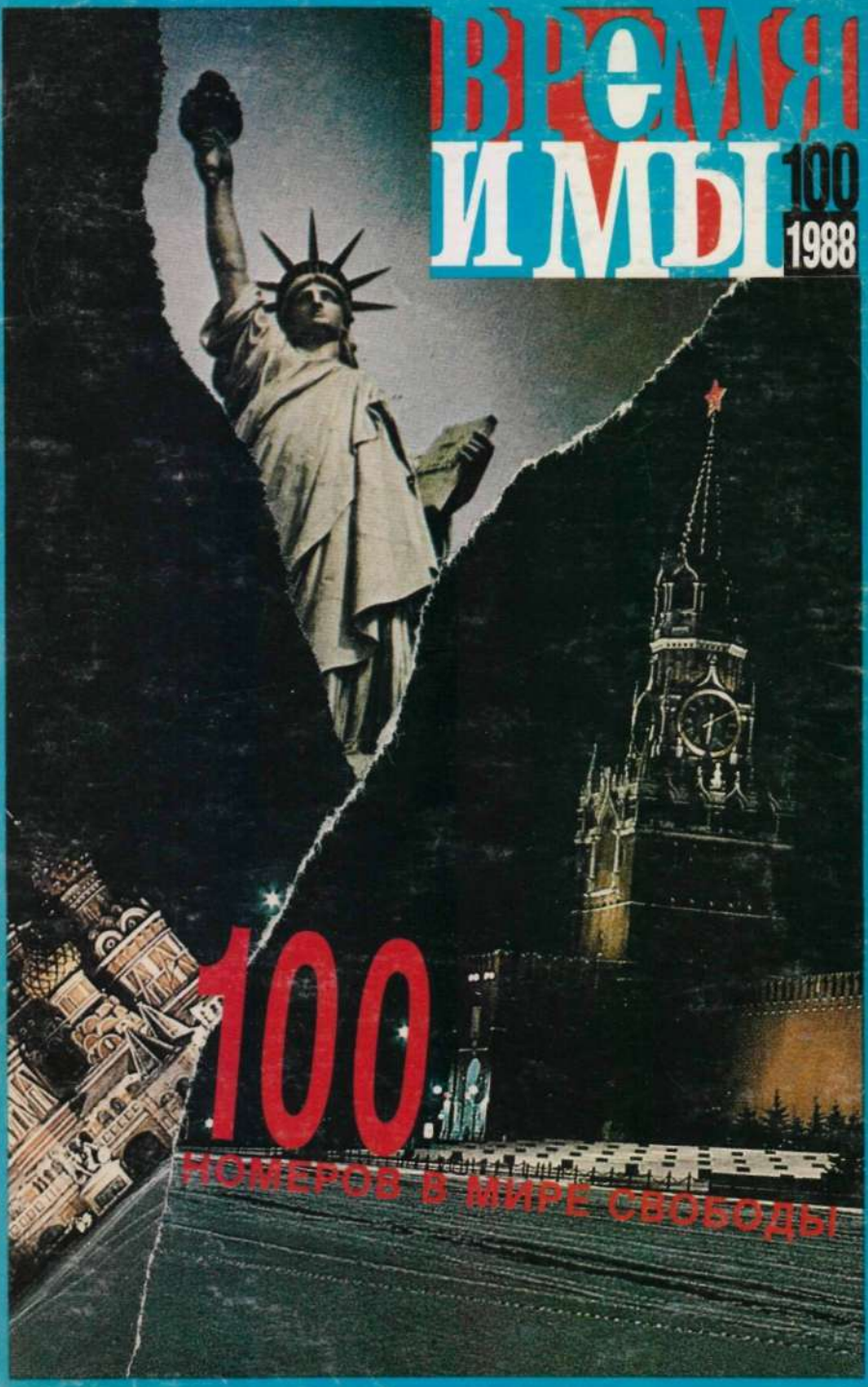
ВРЕМЯ И МЫ

100

1988



100

НОМЕРОВ В МИРЕ СВОБОДЫ

ВРЕМЯ И МЫ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОБЛЕМ

Четырнадцатый год издания.

Выходит один раз в два месяца

100
1988

НЬЮ-ЙОРК — ИЕРУСАЛИМ — ПАРИЖ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ВРЕМЯ И МЫ» — 1988

ИЗДАТЕЛЬ И ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ВИКТОР ПЕРЕЛЬМАН

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

ВАГРИЧ БАХЧАНЯН
ЮРИЙ БРЕГЕЛЬ
ДЖОН ГЛЭД
АРОН КАЦЕНЕЛИНБОЙГЕН
ЛЕВ НАВРОЗОВ
ГРИГОРИЙ ПОЛЯК
ВОЛЬФГАНГ ЗЕЕВ РУБИНЗОН
ИЛЬЯ СУСЛОВ
МОРИС ФРИДБЕРГ
ВЛАДИМИР ШЛЯПЕНТОХ
ЕФИМ ЭТКИНД

Израильское отделение журнала «Время и мы»
Заведующая отделением Дора Штурман
Адрес отделения: Jerusalem, Talpiot mizrach, 422 6

Французское отделение журнала «Время и мы»
Заведующий отделением Ефим Эткинд
Адрес отделения: 31 Quartier Boiedieu, 92800
PUTEAUX, FRANCE

OCR и вычитка — Давид Титиевский, июль 2011 г.
Библиотека Александра Белоусенко

СОДЕРЖАНИЕ

К ВЫХОДУ 100 НОМЕРА
Виктор ПЕРЕЛЬМАН
Исповедь перед юбилеем 5

ПРОЗА
Фридрих ГОРЕНШТЕЙН
Место 32
Борис ХАЗАНОВ
Хроника о Картафиле 112

ПОЭЗИЯ
Тимур КИБИРОВ
Сквозь прощальные слезы 129

ПУБЛИЦИСТИКА. СОЦИОЛОГИЯ. КРИТИКА.
Владимир СОЛОВЬЕВ
Гласность: пир во время чумы 149
Комментарий редакции
Гласность как надежда на будущее 164
Андрей СИНЯВСКИЙ
Святой палач 167
Эрнст НЕИЗВЕСТНЫЙ
Гений на рынке искусств . 187
Ефим ЭТКИНД
С четырех сторон огороженный 198

ПОЛЕМИКА
Арон КАЦЕНЕЛИНБОЙГЕН
Янов против Солженицына 204
Дора ШТУРМАН
Солженицын и некоторые его читатели 215

ИЗ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО
Аба ЭВАН
Рождения Израиля 225
Александра ТОЛСТАЯ
Лев Николаевич и Софья Андреевна 253

ПРИЛОЖЕНИЕ
Каталог журнала «Время и мы». Выпуски 1-100 283

ПЕРВЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Дорогой господин Перельман!

Разрешите поздравить Вас с сотым номером журнала «Время и мы» и выразить надежду, что Вам удастся выпустить еще сто двадцать номеров.

Норман Подгорец
Редактор журнала «Комментарии
Нью-Йорк

Многоуважаемый Виктор Борисович!

Редакция «Нового Русского Слова» поздравляет Вас со знаменательным событием — выходом в свет сотого номера издаваемого и редактируемого Вами литературного и общественно-политического журнала «Время и мы».

Журнал, благодаря Вашим неустанным трудам, сделался одним из заметных явлений культуры Русского Зарубежья, и без него уже трудно представить себе жизнь российской эмиграции, ее лучшей — читающей, мыслящей — части и в Америке, и в Европе, и в Израиле.

В этот знаменательный день «Новое Русское Слово» желает Вам столь же успешного продолжения большого и важного дела — на многие годы вперед. Пусть Ваш журнал сохранит свое «лица необщее выраженье», приумножит число читателей и подписчиков, пусть читают его на всех широтах и долготах, — в том числе и в России!

Главный редактор «Нового Русского Слова»
Андрей Седых
Вице-президент корпорации
«Новое Русское Слово»
Валерий Вайнберг

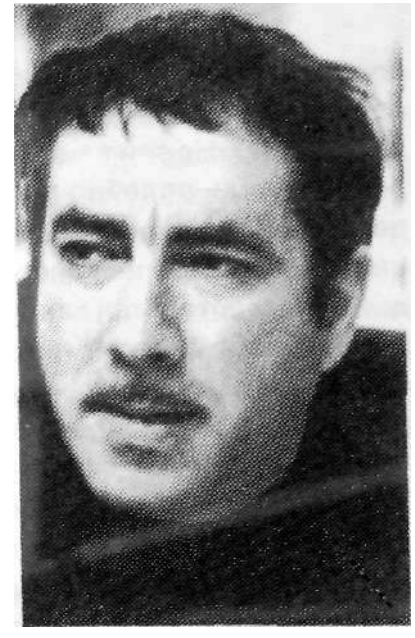
(Продолжение на стр. 280)

Мнения, выражаемые авторами, не обязательно совпадают с мнением редакции

© «Время и Мы»

ISSN 0737-7061

К ВЫХОДУ СОТОГО НОМЕРА



ИСПОВЕДЬ ПЕРЕД ЮБИЛЕЕМ

Интервью журналиста Эдуарда Штейна с главным редактором журнала «Время и мы» Виктором Перельманом

Э.Ш. Выход сотого номера журнала «Время и мы» — крупное событие в культурной жизни эмиграции. Какие чувства вы испытываете в связи с этим? Когда-то вы сказали, что «Время и мы» продолжает традиции «Современника» и «Отечественных записок»...

В.П. Вероятно, полагается испытывать волнение, может быть, даже трепетное волнение. Мое отношение к этому событию довольно сложное. Разумеется, я отдаю себе отчет в масштабе сделанного. Сто книжек «Время и мы» — это не только сотни увидевших свет литературных работ и открытий и не только огромной важности кладезь информации. Это — целый мир, который, кстати, давно вышел из-под моего влияния и живет по собственным законам. По-видимому, это и имеют в виду некоторые из авторов журнала, когда в пылу полемики бросают мне, что я — для них одно, а «Время и мы» — совсем другое. Когда я уезжал из Изра-

иля, многие читатели были очень огорчены, а один даже написал мне: «Сами, если хотите, уезжайте, а журнал оставьте нам». Но эти вещи меня не огорчают, скорее, наоборот. Это ведь подобно попытке сказать человеку, что его дети давно уже переросли его. Я абсолютно уверен, что даже, когда мое имя канет в лету, журнал «Время и мы» будет жить и останется важным источником познания эпохи. Это не хвастовство и никакая не гордость содеянным, а просто констатация факта, который не может не вызвать у меня как у редактора удовлетворения. Но это лишь одна сторона дела. По складу характера я человек прямой и совершенно не выношу лицемерия. Так вот: 100 номер, коль скоро мы называем его этапом, принес мне как издателю не только удовлетворение, но и разочарование. Тринадцать лет — конечно, свидетельство долгожительства журнала. Но их оказалось достаточно, чтобы понять грустную истину: «Время и мы», при всей любви к нему читателей и его большой популярности, так и не стал массовым изданием. И — что еще печальнее — по-видимому никогда им не станет. Так что, сколь ни приятно звучит для уха сравнение с «Современником», приходится признать, что оно нуждается в поправках. Ссылки на условия эмиграции многое объясняют, но вряд ли могут прибавить оптимизма.

Э.Ш. «Время и мы» часто называют высокопрофессиональным журналом, а вас профессиональным редактором. Что привлекает читателей в вашем издании? Каковы их критерии?

В.П. Не берусь формулировать никаких критериев. Я просто их не знаю. Но вот что сказал однажды о журнале писатель и большой остряк нашей эмиграции Сергей Довлатов: «Время и мы» — странный журнал. Прозы нет, поэзии — нет, критики — нет, а журнал — хороший!» Не знаю, что уж он имел в виду, но высказана интересная мысль: что уровень журнала совсем не всегда зависит от публикуемых в нем вещей, но в равной степени определяется работой

редакции. То, что это — процесс творческий, знает каждый школьник, но в какой степени творческий? На каких глубинах это творчество? И что, вообще, представляет собой это творчество? Меня иногда спрашивают, сколько часов в день я работаю. Думаю, что вопрос поставлен не совсем точно. Спросите писателя, сколько продолжается его рабочий день. Работа редактора — по крайней мере моя работа — близка к этому. Можно по-разному создавать журнал. Можно сидеть в редакции и ждать: авось Бог пошлет что-то замечательное. Но Бог, как правило, не очень милостив, да и возможности в эмиграции ограничены. Поэтому я давно понял, что если хочу делать что-то интересное, то должен изобретать, выламывать голову, день и ночь выискивать идеи и темы, которые, разумеется, никогда не приходят готовыми в голову.

Э. Ш. Приведите примеры, как создавались ваши лучшие вещи.

В. П. Многое родилось как бы ненароком, из каких-то случайных бесед, случайных встреч и эпизодов. Помню, как-то в году 1976 — журнал только становился на ноги — мы ехали вчетвером на машине в Иерусалим: я, мой тогдашний зам. историк Борис Орлов и наши жены. В этот вечер президент Израиля Эфраим Кацир должен был вручить мне премию Иерусалимского университета за книгу «Покинутая Россия». В предвкушении банкета мы весело и ни о чем болтали. И Орлов стал рассказывать, что наткнулся на один любопытный документ, связанный с покушением на Ленина. Поражало в нем отсутствие серьезных улик, изобличающих в покушении печально знаменитую Фанни Каплан. Впрочем, мало ли оставалось белых пятен в истории тех лет. Вот если бы была найдена другая фигура, замешанная в этом деле, это была бы бомба! Орлов позвонил через неделю, перерыв кучу материалов... Многие документы говорили, что в Ленина стреляла не Фанни Каплан, а ее товарищ по партии, эсерка Лидия Коноплева. Так появилось эссе «Миф о Фанни Каплан», опубликованное во втором и третьем

номерах и ставшее сенсацией года. А как родились «Мемуары ротного придурка»? Их автором, как известно, был Лев Ларский. Он был талантливым художником, создавшим графику журнала, однако никогда ничего не писал. И вот однажды вечером сидели мы всей редакцией и вспоминали войну: кто фронт, кто эвакуацию... «А знаете, кем был я? — сказал вдруг Ларский, — ротным придурком!» И рассказал пару удивительных историй из своей фронтовой жизни. Так возникла мысль опубликовать «Мемуары ротного придурка». Или, например, напечатанные в 55 и 56 номерах воспоминания тайного цензора МГБ «Я вскрывал ваши письма». С чего началось? С того, что житель Хайфы Леопольд Авзегер прислал в редакцию письмо, обличавшее цензуру в СССР, и между прочим сообщил, что когда-то работал тайным почтовым цензором. Это и было самым интересным. «Не рассказывайте только, какая плохая вещь цензура, — просил я, — читатель это знает и без нас. Пишите, как вы действовали, какая была технология, как и чьи письма вскрывали». Сначала он вообще не мог понять, что от него хотят, но, когда понял, то стал извлекать из лабиринтов памяти совершенно фантастические вещи, вплоть до описания специального устройства для вскрытия писем. И так, страница за страницей, перед глазами пораженного читателя открывались секретнейшие закрома советской госбезопасности. И наконец последний пример: воспоминания бывшего генерального секретаря компартии Израиля и ныне уже покойного Самуила Микуниса. Свел меня с ним наш израильский автор, хорошо знакомый читателям Соломон Цирюльников. Имя Микуниса я знал еще по Союзу. Он неизменно появлялся на трибунах всех партийных съездов и звонким, молодым голосом зачитывал приветствия в адрес «родной КПСС». Перед началом Шестидневной войны Микунис порвал с советской компартией, и вот сейчас передо мной сидел тяжело больной старик, заканчивавший свой путь в маленькой и довольно бедной квартирке в Тель-Авиве, расположенной поблизости от театра Габимы. Писать у него не было сил, а рассказывал

он явно не о том, главным образом о положении Израиля в арабском мире. Прервать его было неловко, но в конце беседы я все же решился: «Послушайте, господин Микунис, а вы со Сталиным были знакомы?» «Сталина я только видел и здоровался, но с остальными был прекрасно знаком — с Мао Дзе Дуном, Молотовым, Хрущевым, Тольятти, Сусловым». «Ну вот, раскажите о своих встречах с Молотовым». «Разве это так важно, — удивляется он, — давайте лучше поговорим о наших отношениях с Садатом». «О Садате потом, а вначале о Молотове!». Мой вопрос ему явно не интересен, но он все-таки уступает и рассказывает, как встретился однажды с Молотовым в Кунцевской больнице. «И о чем же говорили?» «Я спросил его, — оживился Микунис, — почему он, будучи членом Политбюро, разрешил арестовать свою жену Жемчужину, на что Молотов ответил, что ее не арестовали, а поселили на виллу. — Но почему это не дали сделать Ворошилов и Микоян, у которых жены тоже были еврейками? Они грозили пришедшим, что «тут будет стрельба, но не будет ареста». Почему же вы дали арестовать Полину Жемчужину? — настаивал Микунис. — Потому что я, — ответил Молотов, — член Политбюро и обязан подчиняться партийной дисциплине...» Рассказ Микуниса прервала его жена: «Микунис! На сегодня хватит, ты еле говоришь!» Он беспомощно улыбнулся, но, когда мы встретились снова, он к моему удивлению, стал вспоминать о Мао Дзе Дуне, как тот однажды в присутствии его и Тольятти заговорил о третьей мировой войне: «Вот мы с Неру, — цитировал Микунис Мао, — ведем дискуссию, сколько погибнет во время атомной войны. Неру говорит, что полтора миллиарда, а я — миллиард с четвертью». Затем заговорил о Хрущеве, как требовал от него издания еврейского молитвенника и как однажды во время пирушки на его Кремлевской даче выступил секретарь коммунистической партии Бельгии Йошпе и заговорил о преследовании евреев в СССР. В его памяти всплывали Суслов, Пономарев, Ульбрихт, антисемитские высказывания совет¬

ских вождей, секретнейшие заседания ЦК и Политбюро. Он очень спешил, словно предчувствовал скорую смерть. Я расшифровывал пленку за пленкой, но лишь когда в 48 номере под заголовком «Прозрение» была опубликована первая часть его воспоминаний, я понял какая бесценная информация стала достоянием журнала.

Э.Ш. Вы все время говорите об одном только жанре — о мемуарах, о разделе «Из прошлого и настоящего». У меня ощущение, что вы питаете к нему особое пристрастие.

В. П. Не совсем так, у меня пристрастие не к мемуарам вообще, а к свидетельствам времени. На наших глазах уходит в небытие эпоха, многие из ее людей оказались сегодня на Западе. Ах, если бы они получили возможность представить свои свидетельства! Даже теперь, в эпоху гласности, разве можем мы, например, узнать, как функционировала в СССР тайная полицейская цензура, или что творилось за стенами Кремля, или как велась тайная дипломатия. Я бы мог назвать тысячу вещей, которые так и остаются неизвестными, но осели в памяти современников. Собственно, память и есть самое главное, что они смогли привезти в свободный мир. Память и информацию, порой совершенно невосполнимую и бесценную. Опыт любого человека уникален, однако слишком часто он за семью замками. И отсюда задача журнала, я бы сказал его миссия, — извлечь эту информацию из памяти современников. Сделать это не просто, а иногда немыслимо трудно. Память человека несовершенна. Но такова уж природа вещей, и с ней надо считаться. В 19 и 20 номерах опубликованы мемуары сегодня уже легендарной Марии Михайловны Иоффе, ближайшей соратницы Троцкого и жены первого советского посла в Германии Адольфа Иоффе. Когда она говорила, что вся ее жизнь была связана с революцией и Троцким, это были не просто слова. Именно ей, кстати, Троцкий в момент высылки его из Москвы продиктовал свое политическое завещание и своими руками запрятал в ее волосах. В памяти восьмидесятилетней женщины странным образом сохранилась масса никому не известных свидетельств и фактов. Но как шла работа? Запись наших разговоров велась в доме престарелых, в Герцлии. С поразительной ясностью всплывали в ее сознании факты прошлого, но тут же она начинала вдруг жаловаться, что их сторож Авраам в ее отсутствие взламывает замок и неизвестно зачем проникает в ее комнату. Нельзя было сетовать на отсутствие у нее железной логики, как невозможно было забыть, что за ее спиной 20 лет сталинских тюрем и лагерей. Следовало ей простить и «романтику революции». Мы не выбираем свидетелей истории — их надо принимать такими, какие они есть. Но из лоскутков и обрывков памяти постепенно все-таки складывалась достоверная картина прошлого, пусть мозаичная и не совсем полная, но, что называется, полученная из первых рук и уже по одному этому не имеющая цены. Надеюсь, после сказанного стало яснее, откуда это мое пристрастие к разделу «Из прошлого и настоящего».

Э. Ш. Но получается, что наиболее интересные материалы делаете вы сами. Что, не хватает сотрудников?

В. П. Конечно, не хватает сотрудников. Но есть вещи, которые я могу доверить только себе, — хорошо это или плохо, другой вопрос. А главное: я получаю от этой работы удовольствие. Я ведь по происхождению газетный репортер, плебей, а никакой не комильфо-редактор. С двадцати пяти лет мотался с диктофоном по городам и весям России как корреспондент Московского радио, затем как фельетонист «Труда», позже как репортер израильской газеты «Аль Гамишмар» был на войне, на Голанских высотах. Даже в «Литературке», являясь заведующим отделом информации, пытался переделать его в отдел литературного репортера: «ЛР» ведет репортаж, «ЛР» берет интервью, «ЛР» ведет диалог, в чем, впрочем, довольно скоро увидели «западные штучки»...

Э. Ш. Но там понятно, а здесь же вы редактор, а все это, что ни говорите, черная, не редакторская работа.

В. П. Ну, знаете, редакторы бывают разные, один — это

босс, как мой старый друг Александр Борисович Чаковский. Появлялся он на работе после полудня, поскольку с утра отправлялся играть в теннис. Приезжая, устраивал разгон сотрудникам, затем брался за «дело»: принимал иностранных гостей, выпивал с ними по рюмке-другой брэнди, иногда соблаговолял взглянуть на верстку, которую, улучив момент, подсовывал ему заведующий «Клубом 12 стульев» Илья Суслов, — в такие моменты легче было все протолкнуть. Самое занятное, что когда в Тель-Авиве мы готовили первый номер, меня тоже потянуло стать боссом, и хозяин квартиры, где разместилась редакция, даже повесил на двери: «Без стука не входить». Продлилось это не долго, лишь до прихода тиража в редакцию. Если вы читали мой «Театр абсурда», то, возможно, вспомните, что стряслось в этот день. На первой странице исторического первого номера я обнаружил орфографическую ошибку. В романе Кестлера «Тьма в полдень», при описании камеры Рубашова, слово «продезинфицировали» умудрились написать через «е»: «продезинф-е-цировали». Тогда как «босс» я принял следующее решение: засадил двух сотрудниц, включая корректора, за ее исправление — от руки, во всех трех тысячах экземплярах. Работа шла так медленно, что я не выдержал и включился сам, чем и свел свое положение босса на нет. Затем занялись разбраковкой, поскольку выяснилось, что печатник Хаим из типографии Бени ночью заснул у пресса. Потом повез тираж в книжные магазины Лепака и Болеславского, затем отовсюду свозил непроданные экземпляры, которых оказалось — ни много, ни мало — 2870 штук! И тут уж мне было вообще не до редакторских амбиций: я подумал, что «боссом», наверное, никогда и не стану. Ну, а кем стал? Стал редактором нового, высшего типа, редактором-универсалом.

Э.Ш. Давайте вернемся к журналу. Не помню, когда и где, но вы однажды сказали, что главное для журнала — проза. Дословно ваши слова: «Проза держит номер». Что

отличает прозу «Время и мы»? И есть ли, вообще, такие отличия?

В. П. На первый взгляд, их нет, — настолько разнолика и разнородна проза журнала. Что общего между «Тьмой в полдень» Кестлера и, скажем, «Извещением» Зиника, этим маленьким сюрреалистическим шедевром о судьбе затерявшегося в Иерусалиме эмигранта; между «Часом короля» Хазанова, с его фантастическим королем Седриком X, надевшим звезду Давида после вторжения нацистов, и, скажем, «Искуплением» Горенштейна, который, по словам Ефима Эткинда, и сам есть явление фантасмагорическое и который превращает чуть ли не в мадонну свою себялюбивую, гадкую, растленную советской демагогией Сашеньку; что общего между «Жизнью Александра Зильбера» Юрия Карабчиевского, этой поэмой о нашей жизни в голодной, послевоенной Москве, и плутовской повестью Галича «Блошиный рынок», героя которой власти с таким блеском выталкивают из Одессы в Израиль; между американским циклом Аркадия Львова и «Записками неоколонизатора» Томаса Шумана, комическим репортажем о жизни советского посольства в Индии... Общее то, что все это предельно современно. Жизнь как бы пульсирует сквозь эту прозу, та самая жизнь, средь которой мы выросли, со всей ее несвободой, грязью, унижениями, демагогией, — вот эта пропитавшая каждую нашу клеточку жизнь гулко стучит в виски читателю. Даже Хазановский Седрик X, и тот, думаю, наш современник, своим бунтом и страданиями он намертво к нам припаян. И еще: вечной, российской неприкаянностью. «Душа мытарствует по России в XX веке» — это сказал Блок. И бог весть когда, но ощущение — будто обращался он к нашему времени и к нашему современнику, про которого пишут прозаики журнала.

Э.Ш. Какая у вас связь с литературной жизнью эмиграции? Может быть скажете о происходящем в ней литературном процессе? И кого бы вы назвали писателем номер один, не считая двух нобелевских лауреатов?

В. П. Начнем с самого захватывающего — с литературной жизни эмиграции. Много лет назад Чаковский, принимая меня на должность заведующего отделом информации «Литературки», сказал: «Будете заниматься литературной жизнью». Вначале мне это даже польстило, пока не выяснилось, что литературная жизнь — это всякого рода дурацкие говорильни: писательские конференции, встречи с читателями, банкеты, междусобойчики, словом, все, кроме литературы. Приехав на Запад, я с интересом установил, что литературная жизнь кипит и здесь, хотя и не с такой интенсивностью. Какое, скажите, это имеет отношение к труду писателя? В введении к роману «Место», точнее к отрывку из этого романа, публикуемому в сотом номере, Фридрих Горенштейн пишет о его затянувшемся литературном и человеческом отщепенстве. Горенштейна, кстати, я и считаю прозаиком номер один эмиграции. Но что любопытно: кого бы из крупных писателей этого столетия вы ни взяли, при всей индивидуальности их биографий, все они, в сущности, были отщепенцами. Посмотрите: Мандельштам, или Цветаева, или Пастернак, или Булгаков, или Бунин, или, наконец, Джойс, Кестлер. Общество, в котором они жили и к которому часто питали отвращение, мало что значило для их работы. В свете этого немного остается от расхожего мнения об отрицательном влиянии эмиграции на писателя. Какого писателя? Какого таланта и уровня? Как эмиграция повлияла на Бунина, на Набокова, или на того же Джойса? Или на живущего сегодня в Париже Милана Кундеру, рядом с которым мне даже некого поставить? Или, может быть, бьющая ключом в СССР писательская жизнь хоть на йоту возвысила всю эту литературную камарилью, всех этих ананьевых, бабаевских, софроновых, «творчество» которых умирает даже раньше, чем они выходят на пенсию. Писатель везде писатель, посредственность — везде посредственность, и везде она обладает бронебойной силой.

Э. Ш. Но ведь там все переменилось. Существует мнение, что сегодня их литература обгоняет литературу эмиграции.

Возьмите Чингиза Айтматова, Рыбакова, Дудинцева...

В. П. Кто кого обгоняет? Кто от кого отстает? В эмиграции много графоманов, которые подвизаются в литературных журналах и еще новаторством провозглашают свою профессиональную беспомощность. Но, как сказано, посредственность всегда обладает бронебойной силой, особенно, когда нет критики, способной объяснить читательской публике, кто есть кто. Если же говорить о писателях, о мастерах, то кого же они здесь обгоняют? Солженицына? Бродского? Горенштейна? Сашу Соколова? Войновича? Или, может, добрались до уровня Бунина? Ремизова? Делается там, конечно, большое культурное дело. Возвращаются русской литературе Гумилев, Замятин, Клюев, Хлебников, Пильняк, опубликовали Пастернака, Булгакова, Мандельштама, Платонова, и вот теперь, слава Богу, «Жизнь и судьбу» Василия Гроссмана. Но к горькому выводу приводит этот перечень: любят на нашей Родине м е р т в ы х! Есть, конечно, там несколько мастеров, даже блестящих мастеров, есть интересные среди молодых. Но при всей своей прогрессивности, остроте, бунтарстве, в большинстве своем они так и остаются советскими писателями, или точнее: писателями советской цивилизации, как называет ее Андрей Синявский. Вы упомянули, кстати, Анатолия Рыбакова, имеете в виду «Детей Арбата»? В «Нью-Йорк таймсе» ее подняли на щит, приезжавший сюда Рыбаков чувствовал себя как звезда Голливуда. Но произведение его — классический пример перестройки в литературе — и не более! Весь народ перестраивается, и вы, товарищи писатели, не должны отстать. Горбачев изничтожает Сталина, и Рыбаков вслед за ним! Разрешено писать о бедности, о черствости начальства, о хамстве — будем о бедности, о черствости... По грибачевским или софроновским меркам это революция. Ну, а по меркам Горенштейна или Бродского? Или это литература по меркам Милана Кундеры, его «Книги смеха и забытья» и «Непереносимой легкости бытия»? В «Новом мире» появилась необычная, пацифистская

повесть Алеся Адамовича «Последняя пастораль». И это прекрасно на фоне еще недавних воинственных призывов какого-нибудь генерала Епишева. И хвала Дудинцеву за его роман «Белые одежды» — названы своими именами вещи, творившиеся в советской генетике. И Гранину честь и слава за его «Зубра», где реабилитируется замечательный биолог Тимофеев-Ресовский. Много там появилось такого, чему, может быть, нет цены в рамках советской цивилизации. Но мы-то говорим о литературе, предмет которой не есть язвы общества, но душа человека, та самая мытарствующая душа, про которую говорил Блок. Обыщите все их литературные открытия, все их искусство, вы не найдете там Фрейда, нет у них секса, нет страстей Бертолуччи, нет ужаса одиночества, это литература уходящей эпохи, тогда как на дворе уже сквозняки третьего тысячелетия.

Э. Ш. Ваш скепсис распространяется и на перестройку в целом? Какова на нее точка зрения журнала?

В. П. Ах, это никакой не скепсис, просто пытаюсь трезво, без эмоций, взглянуть на порядок вещей. Наш взгляд на перестройку? О перстройке сегодня почти вся наша публицистика. Чтобы не расплываться по древу, сошлюсь на трех только авторов: Валерий Чализе «Демократия в России?» (95). Безоговорочно поддерживает горбачевскую реформу и дает ей высокую оценку. («Мы должны быть достаточно смелы, чтобы поверить, что Горбачев хочет действительно демократизации».) Арон Каценелинбойген «Парадокс Горбачева, или как ему помочь войти в историю» (99). Считает, что перестройка может двинуться в двух направлениях: либо в сторону демократизации, либо в сторону укрепления русского шовинизма. Чтобы не произошло последнего, Запад должен поддержать честолюбивые амбиции Горбачева. И наконец Лев Наврозов «Запад выходит напрямую к гибели» (99). Никакой перестройки нет, а есть лишь невиданный по масштабам и вероломству маневр КГБ, марионеткой которого и является Горбачев.

Э.Ш. А какой точки зрения придерживается редактор?

В. П. Думаю, что по-своему прав каждый — и даже эпатирующий читателя Наврозов. Невероятно представить, что все эти годы КГБ сидит сложа руки и мучительно думает, ну, а как нам помочь делу демократии в России? Потому прав каждый, что налицо неоднозначность ситуации и множественность происходящих процессов. И самая сложная, я бы сказал, творческая работа — впервые в истории! — ложится на плечи партии. 70 лет она почивала на лаврах империи. Теперь, как говорится, изменился мир, и чтобы сохранить себя, она должна ответить на невиданной трудности вопрос: возможно ли сочетать советский коммунизм и демократию? Конечно, все это довольно схематично, но суть приблизительно в этом.

Э.Ш. Зачем вы решили написать письмо редактору «Московских новостей», неужели рассчитывали на диалог? Он хоть как-то ответил вам?

В. П. Он не ответил никак. Почему я написал? Понимаете, перестройке у «них» должны сопутствовать и какие-то новые подходы у «нас». Много ли проку то и дело выступать в роли брюзжащих и к тому же непрошеных судей. Они говорят: «У нас демократия. У нас гласность, и вообще, мы хотим улучшить этот не лучший из миров»! Мы отвечаем: «Отлично, давайте работать вместе, давайте вести диалог!» Лишь это и ничего более! И если они в ответ молчат, это ведь говорит о них и еще раз наводит на мысль: «А не крутят ли они просто миру голову?» Было в моем решении написать Егору Яковлеву и нечто личное: когда-то мы работали в одной редакции, и в те годы он слыл порядочным человеком. Вот я грешным делом и подумал: «Раз они объявили новую эпоху, чего ему отмалчиваться, затеем переписку из «двух углов» мира. Вот уж, действительно, нет пророка в своем отечестве: двадцать лет проработал в советской печати — и такая очаровательная наивность! Однако мы, кажется, уходим от темы...

Э.Ш. Да, я снова возвращаюсь к журналу. Скажите, как он возник, с кем его создавали, на что возник?

В. П. На какие деньги? Ни на какие, на чистом энтузиазме! Правда, кое-что дало нам Объединение олим из СССР, но сколько! У меня где-то хранится текст их исторического решения, которое приняли после бурных трехмесячных дискуссий. Текст был примерно такой: «Рассмотрев ходатайство будущего редактора олимовского литературного журнала господина Перельмана о выделении 100 тысяч лир, Правление постановило просьбу удовлетворить и выделить четырнадцать тысяч лир. Решение принято семью голосами против шести, при одном воздержавшемся, который сказал, что он еще должен подумать». Стоял 1975 год. Я, между прочим, давно мечтал открыть русский литературный журнал, но мешало одно обстоятельство. Дело в том, что я тогда работал в израильской газете «Аль Гамишмар», и хотя приходилось им переводить меня с русского на иврит, получал довольно неплохую стипендию Сохнута. Возможно, эта жизнь продолжалась бы и дальше, не взыграй во мне амбиции и не вздумай я сам написать статью на иврите. Позднее я узнал, что над ней корпели все семь редакторов «Аль Гамишмара», и когда превратившись в 12-строчную информашку, она появилась в газете, редактор Марек Гефен сказал: «Знаете что? Все это прекрасно, но продолжайте лучше писать по-русски». И между прочим спросил: «А когда у вас, кстати, кончается стипендия Сохнута?» Стипендия кончалась через месяц, и с ней ушло последнее препятствие на пути к мечте, Так что, я думаю, сам Бог был на моей стороне. И не только в этом смысле. Способствовала вся обстановка тех лет. Я уже писал в «Театре абсурда», что мы ехали в Израиль не просто воссоединиться со своей исторической родиной, но делать там революцию. Ехали не просто инженеры или доктора наук но готовые директора НИИ, руководители КБ, опреснители морской воды, будущие члены Кнессета. А поскольку все эти вакансии были заняты другими евреями, мы и стали средоточием колоссальной неиспользованной энергии. Так что энтузиазма для нового журнала было достаточно. Кто был

вместе со мной? Упомянутый уже мной Орлов, импозантный такой бородач на обложке первого номера, Фаина Баазова, Георгий Бен, Ледер... Особенно хорош был Миша Ледер, знал 12 языков, делал для журнала превосходные переводы Кестлера, А.Б.Иошуа. Началось с того, что подлетел ко мне в библиотеке Тель-Авивского университета, в своей клетчатой рубахе: «Вы Перельман? Да? А я, понимаете, Ледер, Моше Ледер, я тут в периодике библиотекарь, хотел попросить об одном деле. Я же, знаете, карточки составляю, так через мою голову проходит столько материалов! Я, знаете, пухну от информации. Хотите, вам ее буду передавать? Вы только скажите, и я с преогромнейшим удовольствием. Что вы сказали? Нет гонорара? А на кой хрен он мне нужен? Мы с Наташкой, моей комсомолкой, столько зарабатываем, что дай Бог каждому. Да послушайте, это же я не для вас предлагаю — для себя! Ведь это же я пухну от информации, я и подумал, чего добру пропадать?» Умер Ледер в 1978 году, после четвертого инфаркта. Не надолго пережила его Фаня Баазова, дочь знаменитого грузинского раввина Баазова и сама не менее знаменитая грузинская адвокатесса. Она выступала по делу Рокотова и написала об этом в 26-м и 27-м номерах журнала. А тогда принесла повесть «Прокаженные» — об убийстве Сталиным ее семьи. Была она моей «крестницей», я сам редактировал ее повесть и сам же дал заголовок «Прокаженные». Жила она под Тель-Авивом, в Хулоне, в жаре, на крошечную пенсию, в напрасном ожидании, что устроят музей Баазовых... Ну что вам сказать, стал этот Хулон для меня заклятым местом. Ледера нес по Хулонскому кладбищу. В Хулонской же больнице сидел возле умирающей Баазовой. Надо было видеть эту пожилую величественную женщину на смертном одре — грузинская королева! В память об отце она и уехала-то в Израиль. Но кому там нужны грузинские королевы? «Виктор, что же это получается? Как это все понять?» — недоумевала она перед смертью, и я, в сущности, ничего не мог ей объяснить. Хоть это и не в юбилейных

традициях — о живых надо говорить, но живые разберутся сами, а про усопших, кто, кроме нас, вспомнит?

Э.Ш. Это вы все о литераторах, а как к журналу вообще относились, как сам Израиль относился?

В. П. А вы посмотрите на нашу тогдашнюю редколлегию: Текоа — только что вернувшийся из Нью-Йорка представитель Израиля в ООН, Арон Ярив — бывший начальник израильской разведки. Появились они довольно интересно, по заданию партии. Позвонил мне как-то из Израильской партии Труда заведующий их русским отделом Шабтай Калманович и сказал: «Ты знаешь, мы тут посоветовались с товарищами, и товарищи решили, что журналу надо помочь». «Чем, деньгами?» — едва веря ушам, спросил я. «Деньгами? — рассмеялся он. — Фигуры вам нужны! Голду Меир не обещаю. Но Текоа с Яривом будут ваши!» Знал бы я, что получаю «помощь» из рук международного авантюриста, арестованного ныне за связи с КГБ! Поддерживали нас и простые люди алии. Был, например, у нас такой Евсей Аронович, капитан в отставке и новый оле из города Черкассы, — по утренним звонкам Евсея Ароновича можно было сверять часы. Начинал он обычно так: «Ну что, ребятки, врежем им? Ясное дело, врежем! Они думают, если мы олимы из СССР, так все! Ха-ха-ха! Кестлера набрали? Давай, давай, евреи, смелость города берет. Раз врежем, другой, а там сама пойдет!» Такие помощники тоже были...

Э.Ш. А как возникло название «Время и мы»?

В. П. Можно сказать, в сражении. Мы спорили о нем до хрипоты по телефону с Михаилом Абрамовичем Тартаковским, известнейшим ленинградским кардиологом. Теперь его тоже нет. А тогда он был среди наших энтузиастов, подбирал прозу и настаивал на названии «Время» — чистом, как слеза ребенка. Спорили, как два израильских еврея, долго и беспросветно нудно. Он говорил: «Время». Я отвечал: «Тривиальщина! Главное это «Мы»! Он говорил: «Выпендреж! Кто это мы? Николай Второй? Время — это «Таймс», это «Нью-Йорк таймс». — «А я считаю — «Мы» — стоял я на своем. «Знаешь, у меня уже нет сил! — простонал Тартаковский, — не по-твоему, не по-моему: «Время и мы». И рассмеялся своему каламбуру, в ответ на что я бросил трубку. Но, остыв немного, призадумался: «А, почему бы, собственно, не «Время и мы»? Выспренно, конечно, ужасно, но если нету лучшего! А что название очень удачное, что отражает суть журнала, все это пришло потом.

Э.Ш. Передо мной два номера: первый и сотый. В первом — 12 членов редколлегии, в сотом — одиннадцать, но совершенно другие люди, будто два разных журнала. Что, все двенадцать ушли в мир иной — как Ледер и Баазова, о которых вы говорили? Или подали в отставку? С редактором не сработались?

В. П. Разрешите поправить: сменилось не двенадцать, а добрых семнадцать членов редколлегии, а если с сотрудниками, то больше двадцати. Многие уходили по объективным причинам, из-за переезда журнала в США. Но, как я понимаю, вас интересуют не эти, а «не сработавшиеся», подавшие в отставку. Не стану говорить о собственном характере — не ангел! Или о чьих-то амбициях или капризах — все мы не ангелы! Но есть тут один тонкий вопрос — можно считать, организационный, а можно сказать нравственный: вопрос о том, почему вообще смог выжить журнал «Время и мы» — без денег, без поддержки извне, с малым числом подписчиков. У меня ответ один: журнал выжил потому, что он был частный, с одним-единственным человеком, управляющим всем и за все отвечающим. В каком-то смысле он был даже автократическим. Точнее стал таким. Должен сказать, что вначале я был чрезвычайно щепетилен по части демократии. На первой редколлегии вообще молчал, говорили остальные, хотя я со многим и не был согласен. Но ведь это было живое издание, еврейский кагал, где мнений было больше, чем сотрудников. Тяжелая истина состояла в том, что каждый мог не соглашаться, каждый мог настаивать: прав он и только он, угрожать отставкой, но хоть изничтожь мы друг друга, журнал должен был в ы х о-

д и т ь. Притом каждый месяц. Любой пропуск означал конец, и отвечал за его выход один человек — я, его издатель, редактор и владелец. До поры до времени факт этот воспринимался как естественный и всех устраивал: хозяин все же из своей, литературной среды. Но скоро встал я перед необходимостью принимать т я ж е л ы е решения. Принимал их потому, что на другой чаше весов была жизнь или смерть журнала.

Э. Ш. Раз мы уж так далеко зашли, может быть, приведете пример.

В. П. Их было много... Начало положила история с Михаилом Деминым, братом Трифонова, теперь, как и Трифонов, уже покойным. Был он человеком фантастически интересной судьбы. Родился в семье крупного военного, попал в уголовный мир, позже стал писателем, перебежал на Запад, автор широко известной книги «Блатной», затем «Таежный бродяга», «Горькое золото». Некоторое время назад «Блатной» вышел в издательстве «Руссика», но задолго до этого в отрывках, был напечатан в журнале «Время и мы» в 1978 г. Из-за «Блатного» и разгорелся бой. Первая выступила наш критик, была она человеком талантливым и безусловно тонкого литературного вкуса. «Блатной», — сказала она, — не литература, а низкопробное чтиво, кому нужен этот Демин и его воровской мир». Ее поддержал еще один член редколлегии: «Уголовщина? Уголовщина в литературе всегда плохо пахнет, я против решительно» Затем они созвонились с третьим. Я стоял на своем: «Это не просто уголовный роман, это дно России, часть России, книга ее нравов. Да и читабельность никогда не мешала литературе». На самом деле тут оказалось как бы две правды. Для них превыше всего была литература, для меня — судьба журнала. В те дни по ряду причин подписка шла вниз, нужен был допинг, и это уже не был вопрос литературы. Я очень осторожно попытался затронуть его, но встретил решительный отпор: «Что же, рынок для нас важнее уровня? Давайте тогда бульварное чтиво выпускать! Но уже без нас. Мы на этот позор

не пойдем». Это говорили мои товарищи, которые шли со мной с первого номера, и вот, оказавшись в одиночестве и не имея больше аргументов, кроме веры в собственную правоту, я единолично принял решение: «Друзья, я очень извиняюсь, но издатель здесь я, и Демина мы напечатаем!» Не помню, что говорил еще, однако ж был резок, может быть, даже чересчур резок. «Блатной» был хорошо встречен читателями и повлиял на подписку, но я за это расплатился трещиной в отношениях с сотрудниками. И как это бывает, пошли муссировать слухи, будто у редактора диктаторские замашки, что у него хромает вкус, что с ним, вообще, невозможно работать. Слухи обрастали версиями, иногда совершенно фантастическими. Чего тут было больше — комплексов или обиды на то, что не демократично ведется дело (а оно и впрямь велось не демократично), — в этих дебрях просто не разобраться. Да и действовали мы, как петухи, знаете, эти советские штучки: ты мне слово, а я тебе два! Но именно тогда я понял: если хочу, чтобы журнал продолжал жить, то должен действовать только так, кто бы и что бы обо мне ни говорил.

Э.Ш. Оставались привкусы от этих конфликтов?

В. П. Конечно, оставались. Привкусы давно исчезли, а журнал пришел к сотому номеру.

Э.Ш. А сотрудников? Сотрудников тоже становилось все меньше?

В. П. Имеете в виду наемных работников? Думаете, они всегда благо? У меня есть знакомый бизнесмен: когда кто-то шлет на него проклятия, он знаете что отвечает? «А я желаю тебе иметь десять наемных работников!»

Э. Ш. Говорят, вы заставляли сотрудников тяжело работать?

В. П. Когда такие были... Тяжело — и часто за мизерную зарплату. Но думаю, Бог меня простит...

Э.Ш. Босс сам тяжело работал? Слышал, что вы даже набирали на композере? И сами клеили журнал?

В. П. Ах, это вчерашний день! С этим бы журналу далеко не уйти. Были у меня куда более интересные творческие обязанности. Например, в кризисные 81-83 годы ежегодно по два-три раза летать в Израиль. С макетами журнала в вещмешке, с кучами фотографий. И с тысячами долларов в поясе: в Израиле верят лишь в доллары и только в кеш! И дежурить по ночам возле печатного пресса в типографии Ицика, на улице Бен Авигдор (чтобы печатник не задремал и не произвел брак), и «задабривать» таможенников, чтобы выдавали решимоны-лайсенсы на беспошлинный вывоз американского международного журнала «Time and we», и грузить ящики с этим журналом в портовых доках Хайфы, и выгружать их в доках порта Элизабет, и снова вступать в сомнительную связь, но уже с американскими таможенниками (чтобы разрешили беспошлинный ввоз журнала, но уже в Америку), и грузить все те же ящики в машину, и с ними сквозь трафик пробиваться по дорогам Нью-Джерси, и разгружать их в гараже. А в конце, как венец этой лучезарной «одиссеи» (принесшей 500-600 долларов экономии), находить на единственном письменном столе редакции благодарные письма тех, ради кого все совершалось: «Ах, дорогой господин редактор, извините, что до сих пор не выслал чек на 48 долларов за подписку. Купил дом за 300 тысяч и, знаете, временные финансовые трудности. А мы ведь так любим ваш журнал. Передайте всем вашим сотрудникам горячий привет и благодарность за их самозабвенную творческую работу!»

Э. Ш. Из всего этого напрашивается вопрос: «А зачем вы вообще уехали из Израиля?

В. П. Любимый вопрос многих. И еще с сочувствием во взгляде. «Что, в Израиле-то тяжело было?» И уж обязательно: «Я, знаете, сам в Израиль чуть не поехал, теща наотрез отказалась». Но мы-то с вами договорились не лицемерить. Как редактору в Израиле мне было легче, теплее, интимнее. Но журналу? Тут как бы начала действовать обратная связь: не только я управлял журналом, но и он мной. Журналу необходимы были новые авторы, новые связи, новые подписчики. В Америке напечатали Милана Кундеру, перевели Башевиса Зингера, появились «Палачи и рыцари советской науки» Раисы Берг, и «Последня надежда выжить» Льва Тимофеева (нынешнего редактора «Гласности» в Москве), и главы из «Палисандрии» Саши Соколова.

Э.Ш. А, вообще, ваши отношения с Америкой?

В.П. С Америкой хорошие. Другое дело, джентльмены, сидящие за стенами роскошных билдингов и управляющие русскими делами. Для них журнал «Время и мы» всегда был непонятен. На что существует? Кого печатает? Какую занимает линию? А если ни на что? И печатает, кого полагает нужным? Для них не существует цены свободы, о которой рой говорил я выше. Высшее выражение свободы — это радиостанция «Свобода», раздираемая интригами и просаживающая их стараниями миллионы, взимаемые с налогоплательщиков.

Э.Ш. Кто читает журнал? Интеллигенция? Много пи у журнала читателей?

В.П. Много ли? Мы с самого начала не стремились издавать журнал для всех, а только для людей думающих или, по крайней мере, стремящихся думать. Собственно, это и отличает наших читателей, настоящих интеллигентов, от тех, что, может быть, незаметно для себя перестали ими быть. Помните книгу Белинкова об Олеше «Сдача и гибель советского интеллигента»? Так вот, не происходит ли и здесь, в Америке, с д а ч и бывшего советского интеллигента? Теперь этого бывшего «интеллигента» вы встречаете в русских ресторанах Бруклина и, кажется, из всех вопросов жизни его больше всего волнует: «Где и что можно выгоднее купить или продать? Где и на чем можно заработать? И как бы на этом списать больше налогов?» Ясно, что на других людях держится журнал. Как ни сильны потребительские инстинкты, духовное начало все-таки сильнее. И сто вышедших номеров, мне кажется, этому лучшее подтверждение.

Э.Ш. А отношение эмигрантской печати?

В. П. Более, чем сдержанное. Время от времени раздается в наш адрес что-то не очень вразумительное, но меня это мало волнует. У журнала «Время и мы» есть и другие судьи. В редакции хранится много писем читателей из СССР, которые рассказывают, какой популярностью пользуется там журнал. Одно из таких писем — от известного армянского диссидента Паруйра Айрикяна — мы привели в 95 номере. Будучи в ссылке, он отправил его в бюллетень «Гласность», «Литературную газету» и журнал «Время и мы». Послано письмо из поселка Якурим, Усть-Куты, Иркутской области, — вот куда доходит журнал «Время и мы». По-видимому, не желая оставаться «в стороне», прислало заказ на подписку и Агентство Печати Новости. Просят высылать журнал прямо — Москва, Зубовский бульвар, 4. Тогда же пришло и другое письмо из Лондона, от заведующего славянской библиотекой института Тейлора, кстати уже третье по счету. Благодарность за то, что мы согласились продать им комплект «Время и мы» по частям. С 40 номера по 99 у них уже есть, за 31-39 высылают чек, но убедительно просят отложить до середины июля первые тридцать номеров. Иметь полный комплект журнала «Время и мы» — их давнишняя мечта. К этому мне нечего добавить, разве только что институт Тейлора — это знаменитый Оксфорд.

Э. Ш. Это моральные стимулы. А как все-таки с деньгами обходитесь? Самое простое: в банке деньги просили?

В. П. Как вы думаете? Первое, куда я в Америке отправился, был Ситибанк, к заведующему отделом ссуд, мистеру Джону Алперовичу. Фамилию чуть изменил, была она еще звучнее, чем эта. Не зная, как подступиться, я долго рассказывал ему о России, затем об Израиле. «Файн!» — вежливо улыбался он. И тут, улучив момент, я сказал, что хотел бы попросить в Ситибанке ссуду на русский литературный журнал под названием «Время и мы». Вначале он вообще не понял, о чем речь, или не понял моего английского. Потом все же спросил, а где мы будем доставать

рекламу. «А зачем нам, мистер Алперович, реклама, мы же — демократический русский журнал, Сахаров, Солженицын. Нам ссуда нужна, а не реклама!» Он продолжал улыбаться, но уже так, как будто вдруг обнаружил, что в офис к нему проник сумасшедший. Затем вежливо вручил мне апликацию. Все мои попытки еще раз встретиться с человеком по имени Джон Алперович, кончились ничем. А к другим уже не обращался! Или вы думаете зря не обращался, стоило попробовать? Впрочем, в Израиле, с банком мне однажды повезло, да что я, с банком? Было это везение покрупнее. Я вот вам Блока приводил: «Душа мытарствует по России в двадцатом веке». И про журнал «Время и мы» можно так сказать, что мытарствует он по миру, ищет места под солнцем: в Израиле, в Америке...

Э.Ш. С редактором на пару что ли? Странное у нас интервью: то ли интервью, то ли исповедь редактора.

В. П. Считайте: то и другое. Такие вещи обычно в мемуарах пишут. Но мы давайте сломаем жанр. Ведь вы чувствуете, что многое я держал в себе, а по случаю юбилея решил высказаться? И даже кое-перед кем покаяться...

Э. Ш. Это уже интересно, перед кем же? Перед авторами? За то, что гонорар не доплачивали?

В. П. Но тут у нас с Богом общий грех: сколько мог, столько платил. Покаяться я должен перед покойным министром финансов, а затем председателем Сохнута Пинхасом Сапиром. Ситуация была такая же, как в офисе Джона Алперовича. С той разницей, что Алперович смотрел на меня как на сумасшедшего, а Сапир про меня сказал, что «этот еврей ему чем-то нравится», и отдал соответствующее распоряжение. Было это в 1977 году. Сохнут решил через израильский банк выдать эмигрантам ссуды для создания частных бизнесов. Я тоже обратился в банк. Первая реакция израильского Джона Алперовича (чья фамилия была Бар Хаим) была примерно та же, что и у американского. Но с помощью Сапира я все-таки 40 тысяч долларов взаймы получил: 11 тысяч на покупку композера (который стоит в

редакции до сих пор) и 29 тысяч на выпуск журнала... Не помню сколько дали новым бизнесам в общей сложности, что-то порядка нескольких миллионов. История с этими миллионами закончилась в лучших традициях шоломалейхемовского Менахема Мэндела. 96 или 98 процентов вообще разорились. Горели самые перспективные бизнесы — строительные компании, магазины, посреднические бюро; объясняли, естественно, по-разному. Но самое пикантное в этой истории было то, что среди нескольких «выживших» оказался и журнал «Время и мы». Надо было видеть лицо Бар Хаима, когда уже перед отъездом в Америку я встретил его в банке развития. Он не хотел меня отпускать: «Как журнал уцелел, говорите и все!» «Как? С Божьей помощью!» — отвечал я с упорством израильтянина, у которого правительство пытается выманить спрятанные под полом доллары. Не мог же я ему признаться, куда были пущены честные сапировские деньги, предназначенные на выпуск журнала. Расчет был по-детски прост: полученных в банке 29 тысяч хватило бы максимум на пять-шесть номеров, после чего все снова оказалось бы в подвешенном состоянии. Поэтому я и рискнул пустить их на биржу, которая бурно шла вверх. За короткий срок журнал почти удвоил свое «состояние», которого оказалось достаточно, чтобы ему выжить.

Э. Ш. Но могло быть и иначе, все могло быть проиграно.

В. П. Я же сказал Бар Хаиму, что нам помог Бог! Перед этим положение вообще было ужасным. Из типографии шел брак, не на что было снимать помещение для редакции. Стояла мерзкая зима и не хватало денег даже на керосин для отопления, (подозревали, что прикладывал руку редакционный сторож Моше). А главное, прекратился приток рукописей, и после 5 номера обсуждали вопрос о закрытии журнала. Я решил поехать в Рим и попробовать договориться с Хиасом о его закупках. Был религиозный праздник, кажется Рождество, и уже не помню, как я оказался на площади Святого Петра. Десятки тысяч людей в нетерпении ждали

появления на балконе дворца Папы (кажется, Павла VI). Меня поразила пестрота толпы — кого только в ней не было: нищие, калеки, пилигримы, цирковые паяцы, по левую руку от меня заливалась слезами проститутка. При появлении на балконе крошечной фигурки Папы, люди, охваченные экстазом, попадали на колени и стали молиться. Все дальнейшее выглядит ужасно смешным: почувствовав себя в этой ситуации неловко, я вдруг подумал, что и у меня, между прочим, есть пара просьб к Богу. Правда, к другому, но почему бы, воспользовавшись случаем, не обратиться и к этому. Сказали бы мне, что я вообще мог нести эту чушь! Начал со смехом, а потом как бы и вошел в роль: «Господи, молил я, ты такой щедрый, ты помогаешь всем. Заставь Сохнут выделить журналу две стипендии, наставь идиота Хаима из типографии Бени, чтобы прекратил по ночам дрыхнуть у пресса, врежь жулику Моше, чтобы не тырил керосин, просвети жлобов из Хиаса, чтобы сделали приличный заказ. А главное, Господи, рукописи! Как мне нужны рукописи!» Не скажу, чтобы Бог на все сто процентов внял моим просьбам, но по приезде ждало меня письмо о выделении вышеупомянутых 40 тысяч. Это уж потом я узнал, что была резолюция Сапира, да и Сапира кто-то же наставил! А главное, пошли рукописи. Вот некоторый их перечень за 1977 год: Галич «Блошиный рынок», Ямпольский «Большая эпоха», Довлатов «Невидимая книга», Зиник «Перемещенное лицо», Каганская «Эссе о времени», Синявский «Театр Галича», Суварин «Солженицын и Ленин», Рубинштейн «Дом, которого нет». Затем пришли Эткинд, Дора Штурман, которые принесли очень много журналу, но это было позже.

Э.Ш. И дальше пошло все гладко?

В. П. Да нет! Как говорил мой знакомый, отсидев 15 лет в сталинском лагере: «Путь к коммунизму не усыпан розами!» Но все это были уже мелочи жизни. Правда, кроме одной, когда на тель-авивском базаре — Шук Кармель — была похоронена последняя надежда на финансовое процве-

тание журнала. В двух словах: я взял интервью у когда-то уехавшей из России Евгении Шрайбер, унаследовавшей десятки миллионов от мужа (в прошлом, кажется, вице-президента общеевропейского рынка по нефти). Жила она в Париже, журнал ей нравился, и она говорила, что по напечатании интервью возможно создаст «Фонд «Время и мы». Это были ее воспоминания, по своему довольно интересные, как попала она во время войны в Гестапо (где потеряла даже глаз). Но, как часто случается в моей жизни, все закончилось как в «Театре абсурда». Взяв у нее в гостинице «Шератон» интервью, я вспомнил, что жена просила заехать на Шук Кармель купить фруктов. Вернувшись с сумками к машине, я не обнаружил в багажнике своего «дипломата», в котором была моя старая записная книжка, 7 лир наличными и магнитофонная пленка с двухчасовым интервью госпожи Шрайбер.

Э. Ш. Заявляли в полицию? Возможно «дипломат» бы и подбросили?

В. П. Да что там? В полиции спросили: «Было семь лир? Они вам эти семь лир припомнят! В наши дни джентльмены перевелись!» Единственно, кто меня успокоил, это наш религиозный сосед из России, рав.Булкин, которого в нашем доме, в Хадар Йосефе, попросту звали дядей Семой. Он знал про все мои дела (даже про последнее везение) и не уставал удивляться, зачем я влез в этот «гойский гешефт» с журналом. И еще поражал он меня своим знанием латинских тирад, кое-какие из которых я и сам помнил с первого курса института. Узнав про случившееся на Шуке Кармель, он покачал головой и заключил: «Cujusvis hominis est errare; nullius nisi insapientis in errore perseverare!» «Каждому человеку свойственно заблуждаться, но только неблагоразумный упорствует в своих заблуждениях!» И тут же эту цицероновскую мысль пояснил: «А гройсе хохом!»

Все дальнейшее известно. После 58 номера журнал переехал в Соединенные Штаты, издавался на Пятой Авеню, о чем у меня уже был случай рассказать в «Театре абсурда».

Э.Ш. Скажите о будущем журнала.

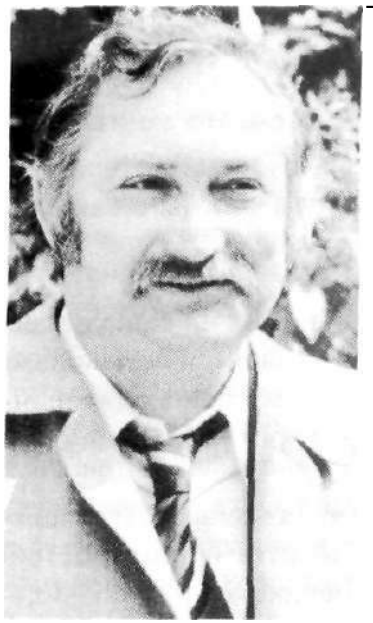
В. П. Знаете, хочется быть оптимистом. Но эмиграция идет на убыль. А то, что любовь к русской литературе завладеет сердцами американцев, — в это мы с вами не очень верим, не правда ли?

Э.Ш. На что же надежда?

В. П. Думаю, что только на одно, нет, не на силы добра и разума, конечно! — просто мир развивается по законам, которые мы мало знаем. Вот и в России происходят фантастические вещи! Впрочем, оставим прогнозы и займемся лучше очередным, 101 номером.

Э. Ш. Но я все же хочу вернуться к ста номерам. Это большое событие и в нем большая ваша заслуга — тема, достойная «Нью-Йорк таймса» и даже американского телевидения. Возможно ли, чтобы мир узнал о журнале «Время и мы»?

В. П. Что Вам сказать? Пожалуй, возможно... Если вы подожжете редакцию и позвоните в компанию Эй-Би-Си...



Фридрих ГОРЕНШТЕЙН

МЕСТО

Отрывок из романа

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА

Роман «Место» писался давно. Он начат был в далеком ныне шестьдесят девятом, работа шла с перерывами — два-три месяца, затем перерыв для других дел, тогда более неотложных, потом — выкраивался месяц-другой вновь, и так до семьдесят второго года, когда мне показалось, что роман, наконец, окончен. Но в семьдесят шестом году были дописаны важные финальные главы, которые, может быть, ничего решающего не прибавив к развитию сюжета, тем не менее прояснили, по крайней мере для меня как для автора, замысел произведения.

Роман имеет автобиографическую форму и написан от первого лица. Автобиографическая форма, при том, что автобиография автора лишь отчасти совпадает с автобиографией персонажа и в значительной степени иная, — трудный жанр. Трудный, но многообещающий. Недаром Достоевский начал писать роман «Преступление и наказание» от первого лица. Отчего он отказался от этого в процессе работы? Может быть, от слишком опасной горючей смеси, содержащейся в материале произведения, в идее и поступках главного героя, что могло дать повод

Полностью роман выходит в издательстве L'Age d'Homme.

объединить автора с персонажем. Признаюсь, это вселяло сомнение и в меня, тем более, что отдельные детали моей биографии и биографии Гоши Цвибышева, от имени которого ведется рассказ в романе «Место», совпадают. Но в том-то и дело, что в одних и тех же обстоятельствах, под воздействием одних и тех же мыслей и чувств люди могут действовать совершенно по-разному. Если бы автор позволил себе действовать так, как действует его персонаж Гоша Цвибышев, то он никогда не мог бы написать эту книгу, ибо он был бы не ее автором, а ее действующим лицом.

Из биографий больших мастеров, особенно живописцев и композиторов, мы знаем, как плодотворно повторение, использование уже найденных приемов и методов. Мне, к сожалению, пришлось идти на ощупь, полагаясь на собственный литературный инстинкт, в силу своей недостаточной образованности в те времена, в силу случайности моего книжного самообразования. Однако надо уметь превращать недостатки в достоинства. Как говорится, нужда заставит. Именно мое человеческое и литературное отщепенство, от которого я, кстати, всячески безуспешно старался избавиться, доставившее мне немало трудностей в Союзе, (которое после эмиграции, особенно первые годы, не кончилось, а в чем-то даже возросло), именно это отщепенство в силу обстоятельств и помимо моей воли помогло мне избавиться, защититься от дурного влияния, на мой взгляд, неплодотворного современного литературного процесса, единого для Союза и для литературной диаспоры.

Отщепенство, как форма существования материальная и духовная, пожалуй главный автобиографический элемент этого романа, объединяющий автора с персонажем, от имени которого ведется повествование. Это, безусловно, роман об отщепенце. Но далее начинаются зыбкие неясности, переходы бытия в небытие, небытия в бытие. Здесь небытие определяет сознание в той же мере, что и бытие. Переход страдания в злобу, лирических мечтаний в себялюбие, разумных наблюдений в мнительность. Неуловимость правды и неправды изображено на фоне путаницы и неясностей российской жизни периода конца хрущевщины, начала брежневщины.

Горбачевская гласность, если даже не брать ее в кавычки, это та же электрическая лампочка из рассказа Зощенко о неосвещенной коммунальной квартире. Когда была, наконец, отремонтирована давно испорченная электропроводка и зажегся свет, стало ясно видно то, что прежде лежало по темным, захламленным углам. Как говорится: не было бы счастья, да несчастье помогло. Роман четыре года хранился в ящике стола в Союзе и семь лет на «свободном Западе», но теперь он может быть особенно актуален, ибо теперь многие его персонажи, смутно мелькавшие в хрущевском полусвете и брежневской полутьме, стали ясно обозримы.

Сейчас роман переводится на французский язык издательством L'Age d'Homme. Это же издательство взяло на себя обязательство опуб-

ликовать роман по-русски. Публикуемый отрывок — 80 страниц рукописи. Всего же в романе 1135 страниц. Разумеется, ни сюжета, ни фабулы романа по этому отрывку понять нельзя. Но зато главный персонаж — Гоша Цвибышев уже вполне ощутим. Чувствуется невыносимость для него его нравственного положения и нарастающее от того ожесточение, которое должно было повести его по жизни и повело путями извилистыми, неправедными, бесовскими.

Бесы любого направления, с которыми человек вступает во взаимоотношения, всегда требуют от него гарантий, требуют действий, делающих эти отношения необратимыми.

«Обругай образа», — говорит человеку бес в очерке Глеба Успенского «Тише воды, ниже травы». Бес знает, что воскреснуть от духовной смерти так же трудно, как и от смерти физиологической. Но все-таки такие чудеса возможны не только на страницах библейских книг.

Воскресение духовного мертвеца, воскресение человека, убитого разнообразными, разнокалиберными, разношерстными парнокопытными рогатыми личностями — вот идея, вот замысел романа «Место». Разве это не жгущая сердце тема, разве это не актуально и для падшего гражданина и для его страдающей Родины?

Фридрих ГОРЕНШТЕЙН

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Всякий раз, когда наступала весна, вот уже три года подряд, я испытывал душевную тревогу, ожидая повестки о выселении. Собственно говоря, меня пугала не столько опасность выселения, сколько хлопоты по оставлению за мной койко-места в общежитии треста «Жилстрой». Выселения быть не могло, в это я твердо верил, так как у меня были знакомства в руководстве треста, которому принадлежало общежитие. Покровитель мой, Михаил Данилович Михайлов, был единственный человек, оказавший мне помощь, так как родители мои давно мертвы, а я в этом городе совершенно одинок и не могу нигде рассчитывать на длительное пристанище. Тем не менее, я Михаила Даниловича не любил и не знал, о чем с ним разговаривать, помимо просьб посодействовать и помочь. Впрочем, меня он действительно третировал и, помогая мне, относился ко мне небрежно и унизительно.

Это был близкий товарищ моего покойного отца, которого, судя по всему, он очень любил, считал выдающейся личностью и безвременно погибшим талантом. Меня же считал, по сравнению с отцом, человеком мелким, ничтожным, чуть ли не туповатым. И дело даже дошло до того, что Михайлов как-то раз позволил себе в моем присутствии без стеснения сказать об этом одной из сотрудниц своего отдела, которая из жалости также начала принимать участие в моей судьбе.

— Отец его был редкий человек, удивительно талантливый человек, — сказал Михайлов, — а он... — и странно усмехнувшись, Михайлов сделал эдакий пренебрежительный жест рукой.

Случилось это в прошлом году, когда в очередной раз стал вопрос о моем выселении, и с помощью телефонных звонков и личных разговоров Михайлов улаживал дело. И если до того я его недолюбливал, то после этого унижения я его попросту возненавидел.

Поблагодарил я его тогда за хлопоты каким-то злобным тоном, и он это, кажется, заметил не без удивления. Помню, выйдя тогда от Михайлова с головной болью, сел на трамвай и уехал к самой отдаленной окраине, где не мог встретить ни одного знакомого лица. В тот день я пораньше отпросился с работы и рассчитывал, потратив на Михайлова с полчаса, остальное время просидеть в читальном зале библиотеки республиканской Академии наук либо в газетном архиве. Это лучшее мое времяпрепровождение. Работу свою, на которую меня также устроил Михайлов, я ненавидел и, в то же время, боялся ее потерять, так как не мог рассчитывать ни на что другое и не мыслил себе, как приду к Михайлову сообщать о своем увольнении и просить его посодействовать об устройстве на новое место. Я знал, что, несмотря на все свое влияние, он устроил меня с трудом. Хотя теперь опасность увольнения меня меньше пугала. За три года, живя экономно, я накопил немного денег на сбер-

книжке, и, с присланными мне дедом деньгами на пальто, получалась довольно приличная сумма, на которую можно было прожить с полгода. Поэтому я решил не сопротивляться грозящему мне увольнению и приступить к подготовке на филологический факультет университета. Я понимал, что в случае неудачи мое положение станет отчаянным и безнадежным, которое неизвестно смогу ли как-то поправить ценой даже самых глубоких унижений перед Михайловым.

Дело в том, что как ни тяжела моя нынешняя жизнь, она попросту блестяща по сравнению с тем, что довелось мне пережить в этом городе ранее, пока Михайлов не принял участия в моей судьбе. Но об этом скажу потом и подробнее... В ту прошлогоднюю весну, когда я испытал нескрываемые уже унижения от Михайлова, мне исполнилось двадцать восемь лет (теперь мне, следовательно, двадцать девять).

Как-то быстро и бесплодно пробежали эти восемь-девять лет, в течение которых юноши добывают себе положение в обществе, а также, утратив горячечную мечтательность, достигают мужских взаимоотношений с женщиной. Я же превратился в «стареющего юношу» и то, что восемь лет назад было приятным и естественным, теперь становилось стыдным, а нужда в помощи и опеке, которой я обременял в сущности чужого и несимпатичного мне человека, становилась мучительной и озлобляла меня.

Этот перелом во мне и эти мысли появились как бы вдруг и в прошлом году, когда Михайлов меня публично унизил. До того я прожил два года довольно спокойно и тихо, почти не нервничал и хоть уставал, но был доволен судьбой, считал, что все идет хорошо и по плану. Тогда, два года назад, живы и ярки еще были мои мытарства без жилья и работы, теперь же мое положение было более устойчивым и, к тому же, мне удалось завести кое-какие знакомствса, приобщившие меня к любимому поприщу, о котором я мечтал. Дело в том, что возмутило меня до головной боли, до слез, до покалывания сердца прошлогоднее поведение Михайлова по-

тому, что я был о себе весьма высокого мнения. Случалось, оставшись один, я брал зеркало и смотрел на себя с таинственной улыбкой. Я мог сидеть долго, глядя себе в глаза. Скрытое тщеславие и внутренняя, постоянно живущая во мне самоуверенность о неком временном моем «инкогнито», скрывающем нечто значительное, укрепляли мне душу, особенно, когда я постарел, и не давали отчаянию овладеть мной.

Однажды, увлекшись собой перед зеркалом, я не заметил одного из жильцов комнаты, который спал на своей койке. Это был Саламов, азербайджанец, семнадцатилетний мальчишка, натура, по всей вероятности испытывающая одни лишь физиологические потребности. Очевидно, я что-то сказал вслух, и звук моего голоса разбудил его.

— Ты чего? — спросил он удивленно.

Я вздрогнул и испугался, точно меня поймали на непотребном и стыдном пороке. К счастью, Саламов был усталый после смены, он тут же вновь захрапел. А я сидел с колотящимся сердцем, с мокрым от испарины лбом и досадовал на себя за подобное неосторожное поведение. Будь вместо Саламова Петров или Береговой, я мог бы опозориться по-настоящему и даже стать предметом насмешки. Особенно в этом смысле был опасен Пашка Береговой, так как в нем имелись какие-то зачатки духовности, и он, пожалуй, мог бы если не понять, то хотя бы ощутить подлинную причину моего поведения, а это было бы особенно ужасно и позорно. С Береговым мы одно время часто беседовали, и было у нас нечто похожее на коммунальную комнатную дружбу. Теперь же он подружился с новым жильцом Петровым, а мне стал в комнате злейший враг.

Как ни случайны люди, которые сходятся вместе жить в общежитиях, все ж в каждой комнате складывается что-то вроде особого «семейного» быта и даже некоторой «семейной» иерархии. В нашей тридцать второй комнате было шесть коек, два платяных шкафа, три тумбочки и стол. Если смотреть со стороны двери, моя койка была в самом углу у

стены справа. Ноги мои сквозь прутья упирались в платяной шкаф. С противоположной стороны шкафа, также у стены, было место Саламова. На расстоянии протянутой руки, отделенной лишь тумбочкой, стояла койка Берегового. Еще со времен наших хороших отношений тумбочка у нас была общая: верхняя полка моя, нижняя — его. Далее, у противоположной стены, обитал Юрка Петров, сибиряк, сменивший несколько общежитий в разных концах Союза, кстати, при родителях и очень большой родне где-то под Омском, т.е. бродяга не по нужде, а по натуре. Это был скуластый, с татарщиной в лице парень, но светловолосый. Сам по себе был он неплохой и, кажется, с совестью, может, и не постоянно в нем присутствующей, во всяком случае, с порывами совести, если позволено так выразиться. Но интересно, как только он появился в нашей комнате и как только Береговой с ним подружился, как сразу Береговой этот расторг дружбу со мной и начал совершенно неожиданно проявлять ко мне неприязнь, хотя со стороны самого Петрова я неприязни не замечал, разве что изредка поддержит усмешкой Берегового. Правда, я мог бы составить в комнате союз с Жуковым, жильцом, койка которого располагалась за вторым платяным шкафом слева у самой двери, но я Жукова недавно обидел глупо и нелепо.

Родом Жуков был из Грузии, из Кутаиси. Родился и вырос он в общежитии, в комнате, где жили четверо матерей-одиночек, то есть иного быта он в жизни и не знал. Вот Жуков этот был парень совестливый уже без оговорок. Мы с ним, случалось, довольно интересно беседовали. Правда, совесть он понимал по-своему, я в этом как-то убедился. Работал Жуков монтажником, заработок имел небольшой, но каждый месяц аккуратно высылал часть денег матери. За три года моей жизни в этой комнате мать приезжала к нему два раза и жила у него по нескольку месяцев, вместе спала на одной койке. Жуков на это время оставлял учебу в вечерней школе и работал в две смены, чтоб создать матери условия и снабдить ее деньжатами на обратную дорогу. Как-то после ее отъезда я заговорил с Жуковым. И вдруг, к моему удивлению, оказалось, что он недоволен тем, что приходится слать ей деньги и принимать у себя.

— Пьявка, — сказал он и вздохнул.

Я был так ошеломлен и обманут в своих приятных чувствах, которые я всегда испытываю, видя со стороны людей поступки честные и великодушные, что запомнил этот разговор даже в отдельных бытовых деталях.

Был вечер, я сидел у стола и ужинал сладким кипятком с теплым свежим хлебом. Жуков сидел на своей койке, говорил негромко, задумчиво поблескивая металлическими протезными зубами, из которых у него состояла вся верхняя челюсть, хоть было ему не более двадцати пяти лет.

— Пьявка, — говорил он. — Камень на шее.

— Как же так, — сказал я, — ведь она тебя родила, растила... Вот я один, у меня матери давно нет... Чего хорошего... — и тут я, не зная, как продолжить и не желая более ничего говорить о своей матери, замолчал, не доверяя Жукову, боясь, что он каким-либо нелепым словом оскорбит память моей матери и тогда придется с ним драться, а он был сильнее меня и, как я предполагал, в гневе не разборчив в ударах, мог и покалечить.

Мы сидели некоторое время молча. Я доел последние куски теплого хлеба и запил кипятком.

— Все это верно, — сказал Жуков, прервав молчание, — но если разобраться, то мать мне камень на шее.

— Так что ж ты ей деньги посылаешь, раз ты так думаешь, — спросил я уже просто из любопытства, — и принимаешь мать у себя, вкалываешь по две смены.

И тут он меня вновь ошеломил ответом.

— А совесть, — сказал он, — как же иначе, иначе не по совести.

Причем сказал он не раздумывая и как-то удивленно посмотрел на меня. Я в этом разговоре не понял правоту подобных суждений, но ныне она кажется мне все более очевидной. Он понимал совесть и добро не как личные сердеч-

ные чувства, к которым, возможно, не был способен, а как закон. Закон, пусть временами и неприятный, но неоспоримый, раз данный, с рождения вместе со способностью дышать, возвышающийся над чувствами высокими ли, низменными ли. Лишь позднее я понял, как опасно иное понимание совести и добра по сердцу, добра и совести эгоистически приятных, ставящих незыблемые ценности человека в зависимость от личных качеств, душевной зрелости и преходящих эмоций. К такой совести по сердцу способны лишь немногие...

Тогда же, после разговора, у меня остался на душе неприятный осадок, разочарование мое в Жукове вызвало к нему раздражение. Он же, будучи натурой грубой и простой, не замечал этого и по-прежнему обращался ко мне с вопросами или с просьбой о помощи в учебе. Я в свое время окончил строительный факультет металлургического техникума, и хотя кончил его по нужде, а не по любви, тем не менее, математику я знал неплохо. Жуков же поставил себе задачу получить образование, и в математике я ему помогал. Усваивал он материал тяжело, но с какой-то вдохновенной, наивной радостью, как глухонемой, который вдруг слышит смутные неясные шумы, и из этих шумов у него начинают складываться его собственные членораздельные звуки речи. Эта чрезмерная наивная радость познания, к несчастью, направила его энергию по ложному пути. Жуков увлекся изобретательством, приняв элементарные познания в физике и механике за необычное озарение. Подобные искажения букварных познаний в литературе именуются графоманией. В технике оно, возможно, встречается реже, но тем не менее также довольно распространено. Это одно из опасных побочных явлениий зачаточной духовной зрелости. Все свободное время Жуков чертил какие-то конструкции, трубы, зубчатые сцепления... Причем делал он это не совсем бескорыстно и по вдохновению, а интересовался и у меня, и у нашего «воспитателя» Юрия Корша, как оплачиваются изобретения.

Юрий Корш, выпускник пединститута, ведал в общежитии культмассовой работой. Ко мне он относился хорошо, старался по возможности помочь, но возможности его были незначительные. Вообще круглолицый, молодой воспитатель мне казался человеком с добрыми намерениями, но красота (он был красив, хоть и начинал уже лысеть), красота и внимание женщин развратили его, и, по-моему, он воспринимал все вокруг подобно мистику, то есть как призрачный мираж к чему-то единственно подлинному, а подлинным в жизни для него были только взаимоотношения с женщинами. Его вдохновенные, полные эротических подробностей рассказы, признаюсь, я слушал с нездоровым интересом, но старался спрятать чисто юношеское удивление и зависть, порожденные ущербной жизнью, которая придавала чувственности стыдливость и форму горячечной мечты.

Как-то я зашел почитать газеты в «ленинский уголок», которым Корш заведовал. Он как раз крепил свежие номера к подшивкам.

— Гоша, — сказал он мне, улыбаясь, — тут Жуков из твоей комнаты передал мне какие-то чертежи. Раз я местный городской житель, значит, у меня должны быть знакомства с инженерами. Так он решил... Просит познакомить, но чтоб инженер этот был мне хорошо известен, иначе стащит изобретение... Ты посмотри...

На листе изображалось производство труб из металлических болванок. Я глянул мельком и сказал небрежно:

— Полная глупость... Вообще этот парень с приветом...

Я не заметил, что Жуков стоит в дверях и слушает... Мне стало ужасно неприятно, когда он вдруг явился из-за наших спин и разорвал чертежи.

— А я тебя человеком считал, — сказал он мне с горечью и, кажется, даже слезы мелькнули у него на глазах.

С тех пор я полностью потерял в комнате авторитет и опору. Саламов был малоавторитетной личностью и не мог составить сильную партию, тем более, что Жуков, который ранее недолюбливал Берегового, теперь объединился с

ним на общей антипатии ко мне. Правда, существовал еще и шестой жилец, Володька Федорчук, но большую часть времени пропадал он и даже иногда ночевал в женском общежитии у своей «девахи», на которой собирался жениться, и потому влияния на комнатные взаимоотношения не оказывал. Володька этот, здоровенный парень с плоским рябым лицом и маленьким носиком, успел уже отслужить на флоте, как он рассказывал, на торпедных катерах, тем не менее краснел, как девушка, и по любому поводу. Помню, залил он вином Береговому брюки и так покраснел, что тот, вместо того, чтоб озлиться, расхохотался. Был еще случай. Каким-то образом попал в комнату кирпич. Кто его принес, неизвестно. Выясняли, выясняли, так и не выяснили.

— Да что там мозги ломать, — сказал Володька с некоторой, разумеется, шутливостью, — брось его, Пашка, в окно... Убей кого-нибудь... Какого-нибудь жида убей...

А в это время как раз ко мне зашел Сашка Рахутин из соседней комнаты. Фамилия у него русская, но он был еврей и с еврейской внешностью. Петров как толкнет локтем Володьку и на Рахутина незаметно показывает. Володька покраснел, прямо пятна какие-то влажные на лбу выступили, и из комнаты вышел...

Но особенно смешно проявил себя Володька во время чисто, правда, анекдотического случая. Недели за три до событий, к описанию которых я намерен приступить, где-то в феврале, когда мы уже лежали в постелях и собирались погасить свет и запереть дверь, в комнату вошел какой-то неизвестный нам пьяный мужчина. Даже не осматриваясь и ничего не говоря, он пошел к койке Федорчука, которая по обыкновению пустовала, не раздевая пальто улегся на нее и тут же захрапел. Мы поняли, что Володька прислал какого-то своего знакомого проспаться на свое пустующее место. Саламов погасил свет и запер дверь. Мы уснули. Однако часа в два ночи раздался стук, и явился сам Володька, которого в этот раз комендантша женского общежития погнала от своей «девахи».

— А это что? — спросил он с искренним удивлением и даже растерянностью, указывая пальцем на мужчину.

— Мы думали, Володька, ты его прислал, — сказал я.

Володька подошел к своей койке, взял незваного гостя за плечо, и тут все мы почувствовали дух, не оставляющий сомнения в том, что произошло и как гость отблагодарил хозяина. Всякий, кто знает, что такое ночной воздух рабочего общежития, где спят шестеро наработавшихся за день парней, питающихся грубой несвежей пищей, поймет, почему мы не обратили внимания первоначально на некоторое усиление духоты. Но теперь, когда Володька, весь красный от стыда, рвал упирающегося гостя с койки, даже мы, привычные к грубым запахам, вынуждены были, несмотря на мороз, распахнуть окно.

— Как же так, — плачущим голосом говорил Володька, — ты же опозорился, сволочь... Зачем же так жидко ты опозорился...

Это прозвучало грубо, но наивно и искренне. Володька, хоть был он ни в чем не виноват, так как гость мог лечь на любую свободную койку, испытывал подлинные муки глубокого позора. Он вытащил гостя, довольно грузного мужчину, в коридор, разбил ему в кровь лицо, сволок вниз по лестнице и выбросил на мороз. Дежурная сменила матрац и постель, но Володька ночевать не стал и вскоре поменялся комнатами с Кулиничем, сорокапятилетним тихим, вежливым и глупым мужиком, в свободное от работы время либо готовящим себе пищу, либо наигрывающим на баяне «Перепелочку».

Так что расстановка сил в комнате получалась такая, что мне и самому надо было меняться, тем более, что в двадцать шестой комнате у меня появились друзья: Сашка Рахутин, о котором я уже говорил, и Витька Григоренко, крановщик с башенного крана. Познакомился я с этими ребятами как-то само собой, кажется, «на телевизоре». (Все свободные обычно вечером спешили в «ленуголок» занять места «на телевизор)». Чем-то эти ребята, Григоренко и Рахутин,

были ближе к тому обществу, к которому я стремился. Мне понравилось, что они сами меня нашли, то есть выделили из других и со мной заговорили, кажется, Витька, а Сашка Рахутин его поддержал. Разумеется, я болезненно-нервно скрывал свое «инкогнито» и никогда б его не раскрыл даже намеком перед людьми, имеющими хоть какое-то касательство к моей насущной жизни, то есть работе и общежитию. Но тем не менее мне нравилось, когда меня «ощущали». Витька Григоренко, видя, какая хамская атмосфера складывается вокруг меня в тридцать второй, предложил мне перейти в двадцать шестую, где он жил. Эта комната была моей давней мечтой. Маленькая, уютная, где на ночь выключалось радио и рано гасился свет. Пока я пользовался авторитетом в тридцать второй, мне также удавалось добиться выключения радио в двенадцать часов ночи, так как оно работало до двух, а потом включалось в шесть, то есть у меня оставался промежуток для сна всего в четыре часа. Но потом Береговой, при поддержке общественности комнаты, решил, чтоб радио не выключать, мол, в противном случае он опаздывает на утреннюю смену. Я пытался приучить себя спать при звуках радио так же безмятежно, как и остальные жильцы, но то самое «инкогнито», самоуверенность и тщеславие, которые раньше в трудную минуту поддерживали мою душу, теперь также в трудную минуту терзали ее обидами, не давая покоя. Еще год назад, до случая с Михайловым, я умел терпеть обиды, и подобные изменения значили, что с возрастом организм начинает сдавать, а то, что самоуверенность и тщеславие мое начинает реагировать на бытовые обиды, говорило о том, что самоуверенность эта утрачивает идею, возвышающую ее над повседневностью, и организм мой, истощив жизненные плотские силы, садится в своей повседневной борьбе на неприкосновенный запас моих духовных сил. Это были опасные и неприятные для меня признаки близящегося предела. Для победы в жизни мне нужна была уже не просто удача, которая могла мне помочь еще год назад, а чудо. Об этом я думал по ночам, когда смолкало, наконец, ненавистное радио и тишину нарушал лишь храп и сонное бормотанье моих сожителей. Сашка Рахутин был парень начитанный и добрый, но легкомысленный, Витька же Григоренко был более чуткий, очевидно, от природы, и я несколько раз ловил на себе его тревожные взгляды, что было мне даже неприятно, так как я, разумеется, при всем при том не хотел его пускать к себе далее отведенной черты и разрешать ему прикоснуться, не дай бог, к моему «инкогнито». Места в их двадцать шестой комнате не было, но Витька, человек вообще несколько авантюрного склада, предложил просто перетащить мою койку и, подвинув шкаф в самый угол, установить ее четвертой. С третьим же жильцом, тихим старичком, доживающим свой век в общежитии, он обещал либо договориться, либо его запугать. Конечно, подобный выход был бы великолепен, но я отнекивался по разным причинам, будучи не вправе объяснить, что я живу здесь незаконно, занимаю место по знакомству и всякое перетаскивание коек и нарушения привлекут ко мне дополнительное внимание, что было не в моих интересах, тем более перед ежегодным весенним выселением. Главное, я это знал по опыту, было продержаться до конца мая, когда все затихало, а зимой вообще нельзя было выселять по закону. Еще с конца февраля я начал обдумывать план борьбы. У меня было дерзкое желание обойтись в этот раз без Михайлова, ибо обращаться к нему после прошлогоднего унижения было попросту мучительно. Но с другой стороны, борясь самостоятельно, я рисковал остаться без места, а с этим местом я связывал все свои дальнейшие жизненные планы, поскольку, теряя это место, я терял город, который любил, и принужден был бы ехать неизвестно куда без средств и опоры где бы то ни было. В моем возрасте это означало бы превратиться в провинциального неудачника, а я жил в провинции и знаю, что это означает для человека с моими планами и надеждами. «Поэтому, — думал я, лежа в бессоннице, — мое место в углу за платяным шкафом, моя железная койка с панцирной

сеткой в этой шестикоечной комнате, среди грубых сожителей означает сейчас для меня слишком много... Койко-место — это то, что закрепляет мою жизнь в общем определенном порядке жизни страны. Потеряв койко-место, я потеряю все». Так мне думалось. Рушился мир, а умирать мне не хотелось. Я чувствовал себя полным неистраченных жизненных соков, хотелось жить, и в бессоннице я перебирал тех, кто угрожает моему существованию. Прежде всего, это была комендантша Софья Ивановна, грузная женщина с бородавкой на щеке. Она добросовестно и настойчиво в течение трех лет вела со мной борьбу в период весеннего выселения, но когда этот период проходил, она относилась ко мне довольно доброжелательно, даже приятно, поскольку я не пьянствовал, не производил никаких нарушений и платил аккуратно за койко-место. Начальника жилконторы Маргулиса я видел лишь издали, а он меня не знал в лицо вовсе. Бумажки о выселении приходили за его подписью, но, кажется, именно через него действовал Михайлов, договариваясь частным путем об оставлении койко-места за мной. Однако был у меня среди этих, причастных к моему месту людей, страшный враг, причем враг не столько по служебному положению, сколько по личному вдохновению. По сравнению с этим моим врагом не на жизнь, а на смерть мой комнатный враг Пашка Береговой просто шутник. Да если б был я человеком не гордым, поговорил бы с ним... Так мол и так, Пашка,... с чего это ты?.. Вроде тебе я ничего плохого ... Мы с тобой два года жили нормально, даже выпили раз вместе, когда отец твой приезжал... На стадион вместе ходили... А если есть какие обиды, скажи... Думаю, Петров меня бы поддержал. Он иногда, когда мы наедине оставались, пробовал заговаривать... Положение мое в комнате уладилось бы наверняка. Другое дело, что я этого не сделаю, мне отвратительно выяснять отношения, тем более подобным образом и по моей инициативе... Мне с моим тщеславием и «инкогнито» приходится унижаться, если наступает крайняя нужда, как, например, с Михайловым, но не

менее... И то с Михайловым подобное происходило, пока здоровы были мои нервы. Теперь же мысль о том, что снова придется пожертвовать своим достоинством, попросту приводит меня в ужас, в тупик, сердечную тоску... Но перед административным этим своим врагом я б, может, и унизился, потому что тут не то что крайняя нужда, а попросту самое больное место в моей борьбе за крышу над головой, поскольку ведется эта борьба в обход закона, опираясь на знакомство, на бюрократическое исполнение своих обязанностей причастными к делу лицами, на их безразличное отношение ко мне как к личности. В таком шатком деле человеческая, а не административная страсть, может оказаться для меня гибельной, так как она может раскопать знакомства и нарушения и призвать на помощь закон.

Более всего я боялся, что кто-либо, находящийся вне сферы знакомств Михайлова, заинтересовался бы мной, а не вакансией койко-места, и принялся бы выяснять, кто я, собственно, такой, откуда здесь взялся и на основании каких прав... И пошел бы по цепочке от незаконного занятия койко-места в общежитии организации, в которой я не работал, к первоначальному фиктивному оформлению меня на должность баяниста в пригородном санатории «Победа», где директором был приятель Михайлова, что дало мне право на пригородную прописку и еще далее по цепочке к длительному проживанию без прописки в городе, а оттуда уже рукой подать до некоторых фактов моей биографии, которые я тщательно скрывал. Лгать, кстати, я научился очень рано, чуть ли не в раннем детстве, шести-семи лет, причем лгать не по-ребячьи, путанно и мило, а по-взрослому, твердо и хитро, и мать моя меня в этом поощряла, дабы скрыть факт об арестованном отце. Факт, который я утаивал первоначально в ребячьих играх, спорах и рассказах, а повзрослев не упоминал ни в одном из служебных листков: военкомата ли, отделов кадров ли, ни в одной биографии и не из страха одного, а также и стыда.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Были, правда, случаи, когда на неком душевном подъеме, например, поступая в комсомол, я хотел выложить все честно и прямо. Уже тогда человек необычайной фантазии, я весьма ярко представил себе, как встаю и говорю всю правду, прямо глядя ребятам в глаза, и честностью покрываю душевную муку и стыд. Я даже вдохновлялся этим и представил, что это украсит торжественность момента и привлечет ко мне внимание и благодаря этому я выделюсь из общей среды поступающих. Но в то же время меня беспокоили несколько сомнения и даже легкий страх. Поскольку посоветоваться мне было не с кем, я посоветовался с теткой, личностью грубой и малограмотной. Она посмотрела на меня сердито и сказала.

— Молчи, дурак, — и постучала пальцем по лбу.

Я обругал ее в ответ, но тем не менее это «молчи, дурак» подействовало на меня нехорошо, и в последний момент я струсил. Но поскольку вдохновение мое не было истрачено в честном и смелом направлении, я утешил свое тщеславие чересчур громкой ложью, изобразив своего отца крупнейшим деятелем и героем Отечественной войны. Я был глуп тогда и молод и бездумно вступал на путь, чреватый помимо неприятностей стыдными разоблачениями, которых я страшился более, чем неприятностей. Но даже постарев, я придерживался этой версии, я как бы сжился с ней. Самым близким друзьям моим я рассказывал именно эту версию, и постепенно в моем воображении она приобрела силу правды, я сам в нее поверил. Поэтому я не любил тех немногих, кто знал подлинную историю моего отца, и еще даже не видя Михайлова, испытывал к нему неприязнь. Я обратился к нему три года назад, лишь когда положение мое стало безвыходным. Интересно, что эта детская ложь, выдуманная экспромтом, по-детски наивно и сложившаяся в случайную картину, росла вместе со мной, приобрела надо

мной власть и даже создала некий дополнительный нравственный тупик в моей жизни. Я мог бы уйти от острого больного вопроса моего происхождения, распространив версию, что отец мой просто и обыденно умер. Тем более, что это была бы не совсем ложь, а скорее полуправда, так как я не сомневался, что он давно мертв. Я же всем, кто знал меня, сообщал эту мою детскую версию героической гибели отца, несколько, правда, повзрослевшую и лишенную очевидных наивностей. Более того, я вдруг без всякой инициативы с их стороны сообщал людям, мнением которых обо мне я дорожил, что, например, получил письмо от фронтового друга отца и должен встретить его на вокзале... Или нечто подобное... В некоторых обществах я распространялся и о героической фронтовой жизни матери, которая, между тем, обыденно умерла от малярии... Но здесь я сумел, к счастью, обуздать себя и замять эту легенду где-то на задворках, среди случайных знакомств и людей, с которыми я либо встречался редко, либо вовсе перестал встречаться. Подобные легенды в детстве нередки, вполне объяснимы и даже обаятельны, пока молодая жизнь находится скорее в области игры, чем подлинности. Но с годами в этом появляется нечто патологическое, неприятное. Порок, за который приходится платить беспокойством и напряжением. Меня постоянно терзали нелепые страхи... Я боялся, что Михайлов вдруг окажется в обществе моих друзей, хоть это было исключено... Или приедет тетка и сболтнет то, что не надо... Вообще у меня не было ясности на душе и я не любил, когда два человека, не знающих друг друга, но знающих меня, встречаются.

В последнее время пошли слухи, что некоторые аресты были произведены неправильно, подобно аресту врачей, о реабилитации которых публично сообщили в газетах и по радио... Я начал иногда задумываться в этом направлении, но как это ни нелепо звучит, мне трудно было менять легенду моей жизни, которую я сам же придумал и под власть которой я попал. Вся эта разномастная ложь, незаконные ма-

хинации Михайлова, на которых держался мой быт, нелепые мои выдумки личного характера, весь этот сонм неправд, полуправд, закулисных деяний, наслаивающихся с годами, лежал так близко и был так плохо скрыт, что не разоблачен он был, мне кажется, лишь благодаря моему ничтожному положению, не могущему вызвать зависть, а лишь жалость, насмешку или безразличие у людей, обладающих административной властью. Правда, у некоторых, например, у администрации по месту моей работы я вызывал неприязнь, но это была некая насмешливая, несерьезная неприязнь, неприязнь к слабому, и она по-видимому вызывала желание не уничтожить меня, а попросту отмахнуться и освободиться от меня. Враг же, о котором я говорил, испытывал ко мне самую настоящую, серьезную неприязнь, лишенную насмешки. Правда, он занимал чрезвычайно низкую административную ступеньку, но что с того? Он был причастен к порядку, к закону и его интересовало не лишнее койко-место, а я, которого без поддержки Михайлова он давно бы уничтожил. Враг мой была женщина. Я ее помню ясно и вижу досконально. Была она невысокого роста, несколько сутуловата, лицо круглое, говоря объективно, не лишенная внешней привлекательности. О возрасте сказать затрудняюсь, возможно, тридцать с небольшим, а может, и все сорок. Фамилия ее была Шинкаренко, имя Татьяна. Но произносила она свое имя «Тэтьяна», может, потому, что родом была из Бепоруссии.

— Надя, — кричала она уборщице, — пойди принеси ведомость из прачечной, скажи, Тэтьяна велела.

Работала она зав.камерой хранения, где содержались вещи жильцов, а также раз в неделю производила обмен белья. Должность была как будто чисто техническая, тем не менее Тэтьяна занимала третье место в административной иерархии, во время отпуска комендантши заменяла ее и активно вмешивалась в судьбу жильцов. Я не знаю, откуда берет начало глубокая полнокровная ненависть Тэтьяны ко мне. Впрочем, комендантша Софья Ивановна, по-моему, ее

тоже недолюбливала и немножко побаивалась.

Помимо Тэтьяны определенную роль в расстановке сил играли трое дежурных, посуточно сменявших друг друга и даже две уборщицы. Двое дежурных были сестры. Меня они из общей массы не выделяли. Третья, Дарья Павловна, выделяла даже в хорошую сторону, всегда мне улыбалась и вежливо здоровалась, так как я единственный из жильцов ласкал и кормил кошку, ее любимицу, живущую при общежитии. Однако из-за этой кошки отношения у нас испортились. Кошка постоянно была беременна, и уборщицы топили ее котят в помойном ведре. Была она маленькой, тощей, хоть уже старой и опытной, понимала с полуслова, когда ей должно перепасть съестное, а когда надо убегать. Спала она в кубовой, а при дежурстве Дарьи Павловны, — рядом с ней на диванчике у входа. Я говорю так много о кошке, потому что и она, бессловесная тварь, оказалась втянутой в события и сыграла роль в моей судьбе. Однажды, когда я по обыкновению подошел и принялся ласкать ее, она вдруг подпрыгнула, вонзила мне зубы в пальцы, а когтями задних ног глубоко распорола ладонь. Дарья Павловна, при этом присутствовавшая, даже вскрикнула от испуга. Я тут же ушел, держа раненую руку на весу. В комнате я залил рану, из которой сочилась кровь, тройным одеколоном и обмотал ладонь носовым платком. Помимо боли меня терзала обида. Конечно, глупо и смешно обижаться на животных, скажи я об этом, меня б в комнате засмеяли. Но это была опытная и старая кошка, и она знала, я в это верю, как надо вести себя, если без прав хочешь прожить среди людей. За три года я не помню, чтоб она кого-нибудь укусила, хоть ее били, пинали, отнимали котят и таскали за хвост. «Значит, она ощутила мое бесправие», — думал я, лежа на койке... Как это ни смешно и глупо, но думал я именно так. У меня начала болеть голова (это случалось в последнее время все чаще) и к тому же сильно болела рука, не только ладонь, но и выше, до самого локтя. Я встал и пошел вниз. Кошка

мирно и спокойно умывалась, сидя у ног улыбающейся и беседующей с ней Дарьи Павловны. Злоба стиснула мне грудь. Я подошел и изо всех сил ударил кошку здоровой рукой по спине, так что внутри у нее что-то екнуло. Она тут же забилась под диван, однако я, став на четвереньки, принялся ее оттуда выгонять.

— Разве же можно так зверя, — сказала Дарья Павловна, тоном, который я от нее не слыхал, — зверь, ты ему хоть голову оторви, он тебе ничего не скажет...

На следующий день я слыхал, как Дарья Павловна говорила обо мне с Татьяной. У меня появился еще один серьезный враг, так как именно у дежурных были ключи от входной двери, и они контролировали вход. Я понимал, что подобные отношения с Дарьей Павловной затруднят мне тактику, которую я довольно успешно применял в прошлые годы, в период весенних выселений. Я уходил в шесть утра, а после работы шел к кому-либо, если была возможность, но так как знакомых у меня было мало и ходить к ним часто было неудобно, то я разрабатывал график: в понедельник, например, к школьному товарищу, жившему ныне в этом городе, вторник — кино, потом просто побродить по городу, а если плохая погода, пойти на вокзал, среда — удачный день, к Бройдам, в приятное общество, в которое я стремился и где можно было хорошо пообедать, четверг — опять кино, гулянье, вокзал... Так всю неделю... Чаще всего именно гулянье и вокзал, куда я брал с собой книги. Была, правда, еще старушка Анна Борисовна, дальняя родственница, адрес которой дала мне тетка в надежде, что там по приезде я смогу остановиться. Остановиться у нее я не смог, но иногда заходил, вроде проведать, это даже Анну Борисовну радовало. Там можно было просидеть несколько часов, попить чай, согреться, так как вечера ранней весны в нашем городе холодные, почти зимние.

Был еще дом, где три года назад меня приняли по-родственному хорошо и где я жил месяц. Но туда я ходил уж из крайней нужды, потому что, во-первых, в конце месяца меня все-таки почти что выгнали, так как я засиделся свыше обещанного и стеснял их, а сейчас там меня принимали за нищего и угощали не чаем с печеньем, а позавчерашним супом, который я ел с отвращением и из вежливости. Впрочем, это даже были не родственники, а какие-то знакомые тетки, которые чем-то ей были обязаны. Фамилия их была странная — Чертог. Туда я ходил, когда уж очень уставал от вокзального своего пристанища. К тому ж у Чертогов допоздна оставаться нельзя было, так как они рано ложились спать, и все равно приходилось ехать на вокзал. Согласно тактике мне надо было возвращаться в общежитие не раньше ночи, поскольку комендантша иногда задерживалась в общежитии до десяти вечера, а Тэтьяна и до половины двенадцатого. Тактика моя состояла в том, чтобы, получив повестку, исчезнуть и избегать словесных предупреждений и вообще контактов до тех пор, пока Михайлов не улаживал дело. Теперь же, когда из-за проклятой кошки Дарья Павловна перешла в стан моих врагов, тактика моя, которая в прошлые годы давала хороший результат, ныне становилась под угрозу. Конечно, подобная тактика меня довольно сильно изматывала, но это продолжалось не более двух, от силы двух с половиной месяцев. Остальные же десять месяцев жизнь моя была более приятна и спокойна.

Вот так-то усложнилась обстановка в тот год, когда я решил отказаться от услуг моего покровителя Михайлова из-за того, что, помогая мне в предыдущий раз, он меня попросту откровенно унизил... Помню, когда я уехал тогда от него униженный и впервые по-настоящему ощутивший свои нервы, был прекрасный день, первый по-настоящему весенний день, двадцать третье апреля, я запомнил число. Я доехал до загородного лесопарка и сел на одной из дальних просек. Остро пахло молодой хвоей, возбуждая почему-то во мне чувство голода, хоть перед посещением Михайлова я успел пообедать в столовой. То тут, то там мелькали белки. Эти зверьки были здесь почти ручными и ласковыми. Двое зверьков оказались передо мной, ожидая орехов. Они сиде-

ли, доверчиво подняв мордочки. Я нашел у скамейки прошлогоднюю шишку и с силой запустил в них. Я целил в голову той, что покрупней, но промахнулся. Я погнался за ними, ища глазами какую-нибудь палку или камень. Что творилось у меня тогда в душе, понять трудно. Это была душа злодея, порожденная дикой обидой на жизнь. В те страшные мгновения стыда, отчаяния и злобы, я мог бы убить ребенка... Я осыпал проклятиями моих покойных родителей... Лицо мое было залито слезами, а правый кулак расшиблен в кровь, кажется, я ударил им о спинку скамьи, либо о ствол дерева... Потом наступило новое состояние... Не могу сказать, что я чувствовал... Помню позор... Мне было стыдно перед собой за свою жизнь... Я закрыл глаза от стыда, мне захотелось исчезнуть и вдруг стало легче, а затем совсем легко... Кажется, я забыл тогда такие земные мучительные слова, как самоубийство, смерть, сырая могила... Поэтому я не отношу этот случай к тем двум-трем нелепым приступам, когда я хотел убить себя (позднее, значительно позднее, уже совсем в другой жизни подобное состояние возникло опять). Передо мной явилась не смерть, которой оканчивается жизнь, а то, что бывает после смерти, легкое «ничто», которое сродни жизни и из которого рождается жизнь... Возможность исчезнуть вселила в меня успокоение, и это успокоение вернуло меня в жизнь. Вскоре я занялся своими обычными земными мыслями. То есть обычными в том смысле, что я избавился от нахлынувшего на меня безумия. Но были они все-таки новы и связаны с моим недавним состоянием. В частности, я с неприязнью подумал о своем отце. Не с проклятием в порыве безумия, что относилось не столько к родителям, сколько к моей судьбе, рожденной ими. Я подумал о своем отце как о человеке совершенно независимо от факта моего рождения. Я никогда не знал его, и он являлся для меня всего лишь отцом-идеей, вне меня и без меня не существующей. Но Михайлов был его другом детства, юности и молодости. В студенческие годы они вместе спали на одной койке, о чем рассказывала

мне тетка, давая адрес Михайлова. «Таким образом, рассуждал я, это были люди душевно близкие друг другу, наверное, искренне любившие друг друга... Михайлов же человек глупый, да я в этом убедился, любит, когда ему льстят сотрудники его отдела, к тому ж не без пошлинки... Например, застав меня раз в отделе разговаривающим с Вероникой Анисимовной, той самой сорокашестилетней сотрудницей, которая сочувствовала мне и приняла посильное участие в моей судьбе, он как-то неприятно засмеялся и выразился достаточно скользко, намекнув на странную ее привязанность ко мне, так что и мне, и Веронике Анисимовне стало неловко... И этого-то пошляка мой отец любил.

Подобное направление мыслей придало моему духу унылое, подавленное состояние, но это уже не опасно для жизни, так как это состояние случалось у меня всякий раз после неприятных разговоров в комнате, выговоров по работе или стычек с комендантшей. Я знал его и потому не пугался, так как оно всегда кончалось через несколько часов. Так что разочарование в моем отце, событие, казалось бы, серьезное, влилось в общий ряд бытовых неурядиц, думаю, благодаря именно тем, предшествующим этому разочарованию минутам безумия, ненависти и желания потерять жизнь, минутам, отнявшим себе всю свежесть и остроту восприятий, так что разочарование в отце пришлось как бы уже на похмелье и было мало выразительным и не образным.

Постепенно все забылось, вернее, поблекло. Наступило лето. Я отдыхал в провинции, окреп, загорел... Потом зима... Тяжелые ночные смены на строительных объектах... Я отморозил ухо, так что оно время от времени распухало, становилось липким и чесалось... В свободное время сидел в библиотеке. Раз, иногда даже два раза в неделю бывал у Бройдов, в обществе мне приятном, где шла совсем иная, заманчивая жизнь... В конце февраля подули теплые весенние ветры, и у меня тоскливо сжалось сердце. Кончалась моя защитница-зима, начинался новый цикл моей борьбы за

койко-место. С начала марта я начал с тревогой поглядывать на тумбочку у входа в общежитие, где оставляли почту. Я страшился повестки о выселении и в то же время ждал ее, чтобы исчезла последняя нелепая надежда на то, что меня, вопреки закону, в этом году выселять не будут... Подобная надежда вселяла смуту и неуверенность в мои планы... Как это ни глупо звучит, такая надежда вопреки здравому смыслу возникала у меня каждый год и каждый год не сбывалась, так как у меня не было на койко-место никаких прав. Мысль же о том, что придется вновь обращаться к Михайлову, лишала меня покоя, и с конца февраля именно мысль о новых унижениях перед Михайловым первой приходила мне всякий раз после пробуждения ото сна. Правда, мой друг Григоренко обещал разузнать насчет возможности «сунуть в лапу», то есть дать взятку кому-то в жилконторе. Это меня очень обрадовало. Денег, конечно, маловато, но в конце-то концов это лучший выход.

День, когда прибыла повестка был совершенно зимний, падал снег, от беспокойных февральских оттепелей и намека не осталось. Может, поэтому, а может, оттого, что давно ждал эту повестку, особого волнения я не испытал. Просто взял и положил в боковой карман, не читая, так как знал содержание наизусть, оно повторялось из года в год.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

В повестке значилось: «Гражданин Цвибышев Г.М. На основании параграфа... постановления Совета Министров о проживании в общежитиях и ведомственных домах государственных учреждений и организаций, предлагаю вам в двухнедельный срок, то есть до 21 марта 195.. года освободить занимаемое вами койко-место. В противном случае к вам будут приняты административные меры. Зав.ЖКК треста Жилстрой Маргулис».

Моя фамилия Цвибышев какая-то неживая и явно придуманная. У деда моего другая фамилия, и он до сих пор относится к этой фамилии с возмущением. Но я-то здесь ни при чем, мне-то она досталась от отца. В обиходе зовут меня Гоша, хоть и это неточно. По паспорту я Григорий, а Гоша видоизменение другого имени — Георгий. Так что не только в жизни, но и в обычном наименовании у меня путаница и отсутствие порядка.

В то утро, когда прибыла повестка, проснулся я позже обычного, забывшись внезапным крепким сном, что случалось со мной редко. Даже радио, включенное на полную громкость, не смогло меня разбудить в шесть часов. Первым делом я, разумеется, подумал о Михайлове, о том, что, если идея Григоренко со взяткой в жилконторе провалится, придется унизиться опять перед Михайловым. Но подумал без боли и стыда то ли потому, что начал привыкать к мысли, то ли потому, что радость мешала этим дурным мыслям, так как сегодня был четверг, а я еще не использовал на этой неделе свою возможность посетить Бройдов и это мне сегодня предстояло. Собственно Бройды рады были мне всегда, и ограничивал свои посещения я сам, так как считал, что редкие мои посещения более ценны и не переводят наши взаимоотношения в быт, я видел как эти люди радуются моему приходу и частыми посещениями боялся эту радость потерять. Кроме того, редкие посещения поднимали мой престиж человека разностороннего и не одинокого, а таковое впечатление я чрезвычайно боялся произвести на Бройдов и боялся дать им понять, что они мои единственные друзья. Помимо всего прочего, меня сегодня должны были уволить с работы, мне о том уже намекали, а сегодня предстояла планерка, так что я должен был ехать не на объект, а прямо в управление, где, вероятно, я это предчувствовал, мне и должны были все объявить официально. Откровенно говоря, по этому поводу я испытывал сложное чувство. Еще год назад мысль об увольнении вызывала во мне панику, как и потеря койко-места. Теперь же я был даже рад. Немного денег у меня есть, я начну интенсивно готовиться в университет, а там моя жизнь круто изменится,

придет другое общество, интеллектуальная женщина, черный двубортный костюм. То есть я, может, и не так мелко думал, но в мечтах и это мелькало... Однако сам я бы никогда не собрался с духом пойти на такой опасный шаг, как увольнение, и сам бы не подал заявления, хоть работа эта отнимала у меня силы, не давала никаких перспектив, и сам я чувствовал, что не на месте. Начальство же это чувствовало давно и давало мне о том понять в течение трех лет довольно грубо, но уволить меня не решалось, поскольку я устроился здесь также по знакомству, через приятеля Михайлова, занимавшего высокий пост. Причем относилось начальство ко мне одинаково грубо, не делая разницы и когда два года подряд, боясь быть уволенным, я работал со рвением, и теперь, когда я действительно начал работать спустя рукава. Два года подряд я с утра до ночи, иногда по две смены не уходил с объектов, в дождь, в мороз, больным... Я так уставал, что, вернувшись в общежитие, я иногда по полчаса сидел в сушилке, не будучи в силах стащить грязные резиновые сапоги... Но поощрили меня всего раз небольшой денежной премией, когда вместе с экскаваторщиком я сутки без сна возился у провалившегося в котлован экскаватора. Правда, это быстро забылось. Кроме того, несмотря на усталость, генподрядчики на объектах, которые обслуживали наши механизмы, были мной недовольны, поскольку работы требовали не столько знаний, сколько «человеческих отношений». Так говорили мне те прорабы нашего управления, которые относились ко мне хорошо: Свечков, Шлафштейн и Сидерский. Но как я ни старался, у меня эти отношения не получались, взаимоотношения на стройках требуют какого-то особого выражения лица, как мне казалось, умения понять друг друга и нарушить закон. Я этого не умел и боялся, поскольку, нарушив закон, я мог лишиться работы и вообще могла выясниться вся моя личная незаконная жизнь. Поэтому я хоть и уставал, но должность свою так и не освоил и работал плохо. Думаю, освой я работу, начальство переменилось бы ко мне в лучшую сторону, о

чем свидетельствует отношение к Свечкову... Но мало того, что работать я не умел, рвение мое основывалось на страхе быть уволенным и больше ни на чем... В нынешний же год и рвение угасло, благодаря небольшим денежным накоплениям... И мысль о том, что сегодня меня должны уволить, не вызывала страха, а наоборот, как-то приятно соединялась с мыслью о посещении Бройдов. Увольнение, на которое сам бы я тем не менее не решился, было помощью извне и толкало меня на новый путь, к новой жизни, борьбу за которую, судя по возрасту, откладывать больше нельзя было...

Итак, проснувшись позднее обычного, я потянулся и, просунув ступни меж прутьев койки, почесал пятки о шкаф. Ни Петрова, ни Жукова, ни Кулинича уже не было. На столе валялись неприбранные остатки завтрака: куски хлеба, кожура колбасы, вскрытые, вкусно пахнущие банки из-под каких-то томатных рыбных консервов. Все это мокло в луже остывшего кипятка, очевидно, жестяной комнатный чайник снова распаялся. Из-за шкафа я слышал храп Саламова, а рядом, на одной койке спали Береговой и его брат Николка, молодой парнишка, учащийся железнодорожного техникума. В отличие от Пашки, был он парень более добрый, но расхлябанный, ленивый, учиться не хотел, и отец, наезжавший из села, поручил его попечению Пашки. Уже некоторое время Николка оставался ночевать каждый раз в день выдачи стипендии. Стипендию Николка не получал, но в тот день в общежитии бывали гулянки, и он пропивал присланные отцом деньги. За это Пашка бил его сложенным втрое электрическим проводом, бил сильно и до крови. Между ними, якобы, даже существовал полюбовный договор на этот счет, составленный в присутствии отца, который тратил на младшего сына деньги, пытаясь вывести его в люди. И Николка согласился, что в случае нарушений добровольно будет принимать от Пашки наказания его...

Я встал осторожно, стараясь не разбудить братьев, так как не любил, когда кто-либо присутствует во время моего

завтрака. Не то чтоб из жадности, жили мы все самостоятельно, а не коммуной и по молчаливому уговору едой не делились. В некоторых комнатах, особенно среди молодых, только прибывших, существовали коммуны и дележ в еде, но этого я не люблю... И даже ушел из такой комнаты жить в другую. Одно дело угостить, другое — если это норма...

У каждого свои вкусы, свои запасы, свое распределение средств... Я, например, научился вкусно и экономно питаться, так что тратя деньги скупо, редко бывал голоден. Рыбные и мясные консервы, любимое блюдо молодежи, я давно не покупал. Дорого, а съедается в один присест. Не покупал я также дешевых вареных колбас, хоть они вкусны, спору нет, но быстро сохнут и съедаются в большом количестве... Сто граммов копченой сухой колбасы можно растянуть на четыре-пять завтраков или ужинов, двумя тонкими кружочками колбасы покрывается половина хлеба, смазанного маслом или животным жиром, на закуску чай с карамелью. Иногда к хлебу и колбасе что-нибудь остренькое. Сегодня к завтраку у меня, например, запечатанная еще банка томат-пасты: домохозяйки покупают ее как приправу к борщу. Но намазанная тонким слоем поверх масла, она придает бутерброду особый аромат, такая банка, в зимних условиях поставленная на окно, может быть хороша всю неделю...

Отбросив одеяло, я начал торопливо, почти судорожно натягивать брюки, опасливо поглядывая на спящих братьев. Несмотря на мою долгую жизнь в общежитии, я стыдился стоять в белье, к тому ж давно не стиранном и лопнувшем в нескольких местах. Большинство холостяков отдавало стирать белье уборщицам, однако я почему-то этого стеснялся, да и средства требовались. Я предпочел бы стирать самостоятельно, как некоторые, в специально отведенной для этого комнатке, в подвале, рядом с душевой. Но роли прачки я стеснялся еще более, разве что улучу момент, когда в прачечной никого, а такое случалось редко. Если и стирал, то с оглядкой, вдруг войдет Надя или из семейных кто-нибудь... Но особенно Надя... Так что занашивал

я белье ужасно, пока оно не начинало рваться и лосниться.

Я почти уже застегнул брюки, когда неожиданно открылась дверь и вошел Кулинич с дымящейся кастрюлей в руках. Я даже вздрогнул, у меня екнуло сердце. Я думал, что Кулинич на работе, а он, оказывается, варил, и теперь мне нельзя будет позавтракать в одиночестве. Кулинич был высокого роста, голубоглазый, с большим, но вздернутым кверху носом, что придавало его лицу вид Иванушки-дурачка. Он был со всеми, даже с мальчишкой Саламовым и Николкой Береговым на «ВЫ».

— Что ж это вы заспали, — громко сказал он, улыбаясь, и я понял, что своим поведением он разбудит и Саламова, и братьев Береговых. Придется завтракать среди сонных потягиваний, зевков и прочих неприятных звуков и видов.

— Мне попозже надо сегодня, — сказал я и, взяв полотенце, вышел в коридор. Здесь было довольно пусто, так как часы пик, приходящиеся на 6-7 часов утра, уже прошли и царил особый, привычный утренний запах из кухни, где готовили еду жены семейных, и из двух туалетов в концах коридора. Я пошел к дальнему туалету, так как против него находилась 26 комната, где жили мои друзья, но двери были заперты, значит, Григоренко и Рахутин на смене, а старик где-то гулял. Умывшись, я по обыкновению, если рядом никого не было, осмотрел свое лицо и нашел его выспавшимся, а после умывания довольно свежим. Возвращаясь, я встретил Надю из 30-й, молодую солдатку. Муж ее, газосварщик, бывший жилец общежития, служил в армии, а она жила в комнате для семейных. Вообще все жильцы общежития были уродливы, провинциальны и старомодны. Надя же была смазлива, одета по столичной моде, и раз я даже встретил ее с какой-то девушкой на главной улице, в районе Главпочтамта, где обычно стояло много красивых женщин и молодых людей. Тогда она прошла, не заметив меня. Сейчас Надя покосилась на меня и, запахнув на груди халат, презрительно хмыкнула. Мне это было неприятно. Не то что она мне нравилась или я о ней думал, как о некото-

рых моих фаворитках, но меня заботило впечатление, которое я произвожу на красивых женщин, которых я более или менее регулярно видел и которых мысленно, разумеется, выделил из общей массы, бросал на них взгляды, если они были недалеко, и думал о них в их отсутствие. Конечно, таких женщин не могло быть ни на работе, ни в общежитии. Несколько из них встречались мне в библиотеке, одна, самая красивая, в газетном архиве. Была также фаворитка, которую я иногда встречал на улице, где располагалось общежитие, очевидно, из местных. Ни с одной, конечно, я никогда не говорил и не знал их имен. Надя в фаворитках не числилась, была она слишком груба и ясна для меня и не могла составить предмет мечты в ночные часы. Но все же мне было неприятно ее презрительное ко мне отношение, так что даже испортилось настроение, впрочем, я знал, ненадолго.

Войдя к себе в 32-ю, я застал Кулинича за едой. Он ел из глубокой эмалированной миски борщ, полнокровно-красный домашний борщ с большим куском мяса посредине. Красавец-борщ даже по внешнему виду не шел ни в какие сравнения с тощими столовскими борщами цвета линялой розовой краски. От него вместе с паром исходил густой, крепкий аромат. Пашка Береговой и Саламов, к счастью, по-прежнему спали, а Николка Береговой сидел у стола в майке и трусах, всклокоченный и в состоянии сонной апатии смотрел мимо борща на свои руки, как-то лениво и небрежно лежащие на столе. Я достал из тумбочки хлеб, остатки колбасы, масло, кулек карамелек и банку томат-пасты. Тут же на тумбочке я открыл личной открывалкой банку и, отрезав кусочки колбасы, приготовил три аппетитных бутерброда из масла, колбасы и томат-пасты. Затем я перенес все это на стол и налил в одну из общих комнатных приблудных кружек кипятку.

Николка по-прежнему сидел не шевельнувшись, глядя уже мимо не только борща Кулинича, но и мимо моих бутербродов.

— А вы все на масло нажимаете, — весело сказал мне Кулинич. Подобные обороты он употреблял постоянно, и я к ним привык. — А я, — продолжал он, зачерпывая борщ деревянной своей ложкой, — я если сам не наварю, есть не могу... Воротит меня... Я только раз на стороне хороший борщ ел... Работали мы с партнером на даче у Хрущева... Столярная работа... И на кухне дали нам борща... Ну борщ-вино... Ложку поставишь — стоит...

Я торопливо и неожиданно без аппетита ел свои бутерброды, украдкой поглядывая на молчаливого, неподвижного Николку, который, конечно же, был голоден, я это чувствовал. Береговым в отличие от меня, которому никто не помогал, отец еженедельно привозил или присылал с односельчанами огромные плетеные корзины яиц, сала и вкусного копченого мяса. Раза два, когда я был с Пашкой в хороших отношениях, меня угощали этой ароматной, простой крестьянской провизией, которую я очень любил, более чем тонкие и нежные кушанья. Тем не менее, братья Береговые ели по-крестьянски много и быстро, особенно Николка, не умевший вовсе экономить и часто ходивший голодным. Был он голоден и сейчас, я это видел и потому ел свои бутерброды без аппетита и мучился, что не имею возможности угостить его, так как это лишило бы меня ужина. Да и кроме того, угости я его, это стало бы нормой и повторялось бы всякий раз, когда он у нас бывал. Поэтому я ел без того удовольствия, на которое рассчитывал, и досадовал на Кулинича, своими глупыми, шумными разговорами разбудившего Николку.

— Едри ихнюю мать, — говорил Кулинич, — кивая на радио, которое передавало обзор центральных газет, так что было довольно поздновато и надо было торопиться, — едрена мать, — повторил Кулинич, — только гавкают, а как пойдешь куда-нибудь, так ничего не добьешься... Пойдешь по этим начальникам, в горсовет, в райисполком, они сидят надутые... От так бы дал... — он поднял огромный свой кулак, — мне сорок пять лет... я инвалид второй группы...

пойдешь насчет комнаты или насчет работы полегче... мне на стройке нельзя, у меня ревматизм спину ломает... в артель инвалидов какую-нибудь... там всюду евреи... они друг друга тянут, а нашему брату не пробьешься. Насчет комнаты, тоже начальники от одного к другому гоняют... а я ж здоровье свое в плену потерял, — объяснял он обстоятельно, — бараки на сваях... доски на два пальца, а под низом вода... брить заставляют все места от вшей... брытва одна на тридцать человек, ржавая, аж по сердцу скребет... джем выдавали искусственный, из угля, говорят... ешь — вкусно, вкуснее настоящего, а после изжога, грудь печет...

Кулинич вынул из кармана солдатских галифе, которые носил постоянно, дешевый складной нож с железной рукояткой и принялся разрезать им борщевое мясо. Я наспех съел бутерброды, выпил остывший кипяток и, посасывая карамельку, принялся одеваться. Я надел теплую ковбойку, синий полушерстяной свитер, почти новый, но, к сожалению, растянутый у ворота, так что ворот приходилось незаметно зашпиливать секреткой. Брюк у меня было три пары, как будто бы много, но носил я главным образом одну пару из черного сукна и потому при такой частой носке начавшие уже протираться сзади. Были у меня еще брюки из прекрасного английского бостона коричневого цвета, единственное наследство, доставшееся от отца. Однако брюки эти существовали уже лет десять, с тех пор, как к окончанию школы тетка сшила мне костюм. Ныне брюки пришли в ужасную ветхость и не поддавались больше ремонту. Пиджак же сохранился лучше, почти не стал мне узок, но я его не носил, рассчитывая продать. К тому ж для рабочей одежды он не годился, а как выходной он уже устарел. В качестве выходного у меня был чудесный импортный пиджак из синего вельвета, который очень хорошо смотрелся в сочетании с серыми выходными брюками. Брюки эти, скорее летние и для зимы тонкие, тем не менее я надевал их, когда шел к Бройдам. Была у меня также хорошая байковая куртка, которую я надел сейчас. Пальто мое уже поношенное

но не потому, что давно куплено, а потому, что я трепал его по строительным объектам. За незначительную цену одна из уборщиц подкоротила мне его, и хоть накладные карманы оказались после этого чересчур низко, тем не менее, пальто стало смотреться лучше, чем ранее, когда полы болтались намного ниже колен. А издали пальто вообще выглядело модным. Шапка у меня была хорошая, финского фасона, который редко встречался пока даже в нашем городе, столице республики. Так что на нее обращали внимание некоторые модники и молодые женщины, что мне чрезвычайно нравилось. А между тем, пошил я ее в провинции у старого шапочника, который подобный фасон называл керенка. Материалом же шапки послужили остатки синего теткиного жакета.

В тот момент, когда я надевал свою финскую шапку, Николка словно очнулся от полусонного, нелепого своего сидения у стола и сказал:

— Гоша, продай мне свою клетчатую кепку.

Была у меня и клетчатая кепка, которую я купил во время моей учебной практики на Урале, на последнем курсе техникума. Купил я ее из-за необычной, броской, почти клоунской расцветки, и на меня в ней также обращали внимание, что мне нравилось. Однако раз какая-то девушка, курносенькая блондиночка, по которой я с интересом скользнул взглядом на улице, а следовательно, вступил во взаимоотношения и придал определенный вес ее мнению, так вот эта девушка за спиной у меня сказала достаточно обидно своей подруге о моей кепке, и обе засмеялись. Я мгновенно переменил свое мнение об этой девушке, обозвал ее сельской кугуткой и дурой с трудоднями, причем даже вслух и с горечью, но не особенно громко. В нашем общежитии, обитатели которого состояли главным образом из бывших колхозников или их детей, жителей окрестных сел, подобные ругательства употреблялись часто и были весьма обидны, так что обругав этаким манером блондинку, я несколько успокоился. Но кепку с тех пор носить перестал.

— Сколько дашь? — спросил я Николку.

— Трояк, — сказал Николка. Он тут же делово полез в свои висящие на спинке стула брюки, достал трояк, протянул мне, потом обошел вокруг стола, открыл шкаф, сам взял кепку, напялил ее на свою всклокоченную голову и вновь, теперь уже в майке, трусах и кепке уселся у стола. Проснулся Пашка.

— Пойдем в столовую, — сказал ему Николка, — жрать хочу, желудок под грудь давит.

Мне неприятен был Пашка, которого я считал не только врагом, но и предателем. Я вышел и спустился по лестнице на первый этаж. Тут-то на тумбочке, у входа я и обнаружил среди почтовых конвертов повестку. Кроме меня, в наш корпус прибыло еще три повестки о выселении. Наде-солдатке, которую обычно брал под защиту военкомат, старичку-пенсионеру из двадцать шестой комнаты, которого защищал собес, и Саламову, который в этом году перешел работать из жилстроя на завод кирпичных блоков.

За столом дежурной сидела Оля, одна из сестер, не обращавших на меня внимание, а не Дарья Павловна. Камера хранения была закрыта, видно, Татьяна в прачечной или в соседнем корпусе.

«Хорошее начало», — подумал я.

Правда, во дворе я едва не наткнулся на Софью Ивановну, комендантшу. Но быстро сориентировавшись, я прямо по запорошенной снегом клумбе пересек палисадник, зашел за угол и переждал, пока Софья Ивановна в своем длинном зеленом пальто с лисьим воротником, один внешний вид этого пальто вызывал во мне чувство опасности, пока Софья Ивановна, по утиному переваливаясь с ноги на ногу, с хозяйственной сумкой в руках проследует в сторону жилконторы.

«Хорошее начало», — вновь подумал я, — время, в которое я сегодня вышел, было чрезвычайно опасным, девять утра, тем не менее, мне удалось уклониться от встречи с моими врагами и избежать словесных предупреждений...

А вечером я у Бройдов, вернусь в безопасное время... В двенадцать, а то и позже... Вот завтра... Надо бы составить график... Завтра можно и на вокзал... Чувствую я себя хорошо, здоров... Пока не налажу другие места, где буду согласно плану также проводить вечера, можно даже несколько раз подряд на вокзал...

Хорошо бы в этом году обойтись без Чертогов... Ужасная мерзкая семья... Моей тетке они чрезвычайно обязаны... Кажется, до войны жили у нее в течение года... Правда, в отличие от старушечки Анны Борисовны, они меня приняли, и я жил у них месяц и даже питался... Но в конце они меня почти выгнали, очевидно, забеспокоившись, что я останусь у них на очень долгий срок, чтоб сполна оплатить за проживание Чертогов у тетки. Так что ныне у меня со старушечкой Анной Борисовной более приятные отношения, хотя по приезде она меня не приняла... Правда, не прими меня и Чертоги, положение мое стало б аховое... Живя у них я осмотрелся, несколько обжился в городе, разыскал Михайлова... Если б Чертоги потерпели мое присутствие еще с недельку, мы б расстались с ними хорошо, и я, может, всю жизнь был бы им благодарен. Но последняя неделя, когда они вдруг начали обращаться со мной грубо и чуть ли не показывали на дверь, все перечеркнула. А ведь я люблю быть благодарным за содеянное мне добро. Жаль, что Чертоги и Михайлов делали мне добро не из любви или хотя бы сострадания лично ко мне, а из неких нравственных норм и обязательств, со мной связанных не прямо, а косвенно. Словно ставили Богу свечку.

После того, как мы расстались, я не был у Чертогов года полтора и появился лишь из крайней нужды в вечерних пристанищах, без которых моя тактика обречена на провал. Конечно, в этом году известную путаницу в мою тактику вносила Дарья Павловна, повздорившая со мной из-за проклятой кошки... Дарья Павловна дежурила раз в три дня и, следовательно, будет делать мне два словесных предупреждения в неделю. Я принужден буду чем-то отвечать, либо гру-

бить, либо давать обещания. Сигналы о том будут поступать в контору. Фамилия моя окажется все время на виду. Если же со мной непосредственно не встречаются, то в текучке дел обо мне могут на некоторое время и забыть. Это главное, в чем я ныне нуждался, в том, чтоб обо мне хоть ненадолго забыли. Я отлично изучил местные нравы жилконторы. Даже Татьяна говорила обо мне пакости и писала на меня докладные, и даже в Татьяне я вызывал особую ненависть лишь после того, как мы встречались, видели друг друга. Это уж точно. После каждой почти встречи с Татьяной у меня были неприятности. Когда же мне удавалось избегать с ней встречи, меня как бы на время забывали.

Приходила Татьяна не ранее семи, и об утренних встречах я не беспокоился, но вечером пристанища, где я бы мог пересидеть, чрезвычайно важны в моей тактике. Несколько путала, как я уже сказал, план Дарья Павловна. Впрочем, после двенадцати Дарья Павловна частенько уходила от входа спать вместе с кошкой на диванчик возле кубовой. Улучив момент, можно было и прошмыгнуть незаметно, однако в таких случаях она накладывала дверной крючок и надо было звонить... Крючок, пожалуй, не откроешь... Если его и удастся поддеть с улицы перочинным ножом, он упадет с грохотом, разбудит, переполошит.

Так думал я, торопливо и легко шагая. Я любил и часто ходил пешком, во-первых, экономия на транспорте, а во-вторых, просто получая удовольствие от ходьбы и возможности побыть в одиночестве и в полном равноправии с остальными прохожими. Дорогой я всегда думал о чем-либо приятном ли, серьезном ли, а если мысли были неприятные, то в пути они рассеивались или смягчались.

Обычно я шел двумя путями: было время — более дальним, по широким асфальтированным улицам с магазинами, которые я любил посещать просто так, для интереса. Если же времени мало, то я шел мимо стадиона, мимо кладбища, напрямик к крутой улице, по которой ходили трамваи. Сейчас, задумавшись, я механически пошел именно коротким

путем и оказался на небольшой площади, где было трамвайное кольцо, конечная остановка. Площадь эта мне привычна, за три года я знал все здесь наизусть. С одной стороны она упиралась в шоссе, за которым высилось старинное здание военного училища с башнями наподобие шахматных тур. С другой стороны пустырь перед кладбищем, а против пустыря огромное современное здание с колоннами — школа милиции.

На конечной остановке народу было немного, это меня обрадовало, терпеть не могу трамвайной толпы. Снег шел густо, но мягко, белой пеленой закрывая окрестные виды, так что школа милиции, расположенная совсем рядом, едва проглядывала. В некоторых окнах горело электричество. Я запрокинул назад голову, принимая снежные хлопья на лицо. Дышалось легко, глубоко, красота снегопада, бесконечной снежной пучины, в которой тонул мой взор, заворожила меня, белое однотонное небо проглядывало словно дно сквозь белые толщи снежных волн, все это обострило мои чувства, сделало более ясной голову, и тут меня осенило... Наше общежитие — двухэтажный дом барачного типа, сложенный из шлако-блоков. С обоих торцевых концов дома располагались во всю длину торца балконы-террасы, к которым вели пожарные лестницы. Если незаметно отклеить газетные полосы, которыми заклеены дверные щели, и приподнять шпингалеты, то можно легко через эти балконы проникнуть прямо в коридор второго этажа, минуя дежурную. Разумеется, делать это лишь по необходимости, когда дежурит Дарья Павловна. Таким образом, выход вполне найден, и тактика, принесшая успех в прошлые годы, может быть применена и ныне...

Скрипя на закруглении, подошел трамвай. Успокоенный, я уселся как бы случайно, в чем я даже сам себя уверил, уселся позади красивой девушки в меховом капоре и начал безразлично поглядывать мимо нее в окно. Я никогда не сажусь в общественном транспорте рядом с красивыми девушками. То есть ранее, будучи менее опытным, я садился,

но всегда после этого оставался нехороший осадок, так как я невольно начинал принимать безразличные позы, напрягался, вел себя беспокойно и тревожно. Устроившись же сзади, я мог ее беспрепятственно рассматривать, но делал это как бы хитря сам с собой, поглядывал лишь изредка, остальное же время погруженный в меланхолическую задумчивость, что делало меня в моих глазах недоступным для этой девушки, особенно, если я в таких случаях молчаливо призывал свое «инкогнито», и тогда таинственная, тронутая легким цинизмом улыбка появлялась на моих губах.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Управление наше располагалось далеко, на так называемом железнодорожном пересечении, в часе езды двумя трамваями. За три года моей работы это было уже третье место, куда выселяли управление, и ходили слухи, что должны были выселить в четвертый раз на отведенное ему стационарное место, почти загород, где начинался новый жилмассив. Это меня не пугало, я был уверен, что сегодня меня уволят, и слухи о переезде управления загород, наоборот, были доводом в пользу моего спокойствия по поводу моего увольнения. Когда Михайлов устроил меня сюда на работу, управление располагалось в центре города, где ныне находился огромный дворец спорта. Поначалу ко мне относились хоть и настороженно, но терпимо и начальство, и прорабы-видвиженцы, не понявшие еще, какой я человек.

Лишь спустя дней десять ко мне начали относиться грубо, что здорово испугало, так как я думал, что меня немедленно уволят. Но, может, из-за заступничества Михайлова, который действовал через своего приятеля, меня не увольняли в течение трех лет, хоть грубость эта порой приобретала весьма насмешливый и унизительный характер. Впрочем, начальник управления Брацлавский, седой выдвиженец из бывших кузнецов, лет двадцать уже работавший на ответственных постах невысокого ранга: до управления стройме-

ханизации он был директором маленького авторемонтного завода, так вот, этот Брацлавский невзлюбил не столько лично меня, сколько работника, негодного для выполнения плана. План же при особой специфике нашего управления был делом весьма хитрым и своеобразным, во имя дела требующий нарушения законов и приказов самого Брацлавского, то есть то, что у прорабов именуется личной инициативой. Так, например, при дефиците бульдозеров, которые безбожно ломались, кому-либо из влиятельных генподрядчиков требовалось незаконно выделить бульдозер, который не работал, а лишь дежурил и использовался в качестве трактора для вытаскивания застрявших в грязи самосвалов с грунтом и стройматериалами. Я знал, что некоторые прорабы не брезгают и левыми работами за наличные, которыми они делились с бульдозеристами и экскаваторщиками. Должен сказать, что в условиях отсутствия ритмичности, когда простои сменялись авралами, отсутствия запчастей, путаницы техдокументации, сложными погодными условиями и десятками других всевозможных обстоятельств и отклонений, неизбежных на стройках, подобные нарушения, в общем, шли на пользу производству. Я же боялся и не умел нарушать закон и хоть работал много и тяжело, особенно первые два года, все ж считался плохим работником, что и было, очевидно, в действительности. Ибо хороший работник в России испокон веков тот, кто умеет нарушить закон для пользы дела.

Мои неуспехи радовали некоторых прорабов из выдвиженцев, особенно Лойко, огромного лысеющего парня с тонким бабьим голоском, бывшего экскаваторщика, который относился ко мне даже со злобой. Зав. производством Юницкий злобы на меня не имел, для этого я был в его глазах, наверное, слишком ничтожен, но он любил надо мной подтрунивать.

— Да, — говорил он, показывая свои прокуренные редкие зубы, — на работу его устроил дядя, кормит и одевает мама, техникум помог окончить папа... Учись, Лойко, жить...

А Лойко злобно поглядывал на меня и ругался. Правда, однажды заведующий отделом кадров Назаров, бывший районный прокурор, уволенный за пьянство, человек рябой и одноглазый, относящийся ко мне вполне терпимо, может, благодаря контактам с приятелем Михайлова, сказал Юницкому:

— Родителей у него вроде бы нет, по крайней мере, согласно анкете.

— Ничего, — сказал улыбаясь Юницкий, — это такой народ... Они и с того света ухитрятся... Верно, Цвибышев?

Я натянуто улыбнулся в ответ, презирая себя в душе за эту жалкую улыбку, но извиняло меня перед собой то, что я тогда очень боялся потерять работу. Однако иногда, не на людях, этот Юницкий говорил со мной другим тоном.

— Умей постоять за себя, — говорил он мне, — что ты такой беззубый, ей-богу, прямо смотреть на тебя противно.

Я боялся таких разговоров еще больше, чем насмешек. Мне казалось, что подобными разговорами он может нащупать подлинную причину моего страха и выяснить мое незаконное существование. Впрочем, иногда я огрызался, но в адрес людей, которых я мог не опасаться, которые относились ко мне хорошо и с сочувствием: Свечкова или Шлафштейна. Раз, когда Шлафштейн сделал мне какое-то замечание, я крикнул ему нервно.

— Ясное дело... Ведь я не выпиваю с генподрядчиками как ты... поэтому мне тяжело работать...

— Глупый ты парень, — негромко сказал Шлафштейн и отошел.

Дело происходило в конторе, в присутствии других прорабов и довольно большого числа рабочих. Шлафштейн, конечно, шел на определенное нарушение, также, как и Лойко, как сам Юницкий, как многие из присутствующих здесь экскаваторщиков, слесарей, бульдозеристов. Все это знали, но по неписанным нормам производственной морали, об этом не следовало говорить вслух, так как выраженное вслух, это приобретало форму сигнала о нарушении, то есть

доноса. Каким-то образом, крик мой хоть и привлек внимание, но последствий не имел. Я мучился несколько дней, пока Шлафштейн сам не подошел ко мне и не заговорил так, вроде ничего и не случилось.

Двор, где ныне располагалось управление, я ненавидел и боялся, поскольку здесь все трудности моей нелюбимой работы дошли до предела. Едва завидев его издали, я уже ждал новых бед и гадал какие новые неприятности он мне преподнесет... Двор этот, обнесенный дощатым забором, был довольно обширен и покрыт потрескавшимся асфальтом, в который въелись пятна солярки и мазута. Ранее здесь располагался один из гаражей главстроя и еще с тех времен сохранился дощатый, прокопченный барак — мастерские, барак почище, оштукатуренный — контора, несколько каменных строений, смотровые ямы... Сейчас во дворе то тут то там стояли экскаваторы, скрепера, бульдозеры, разутые, то есть без гусениц, со снятыми ковшами, облепленные снегом. У мастерских переоборудовали большой экскаватор, цепляли ему ковш на тросах, превращая в драгляйн. Вокруг ходили слесаря с черными лицами, в лоснящихся спецовках. Покуривали, посмеивались. Трещала электросварка. Экскаваторщик Чумак кричал главному механику, указывая на стоящего здесь же Ивана Ивановича, бывшего фронтовика, однорукого начальника снабжения.

— Что это за снабженец... Едри его в пупа мать... Он же ничего организовать не способен... Я три дня без подшипников простоял... Начальником снабжения, если на то пошло, должен быть какой-нибудь хороший еврей, деляга, а не эта рязанщина.

— Ты горло не дери, — горячился в общем-то тихий Иван Иванович, — куркуль какой... Бендера... Нация ему не нравится моя... Мы вас защищали...

— А ты меня не защищай, — говорил Чумак, — ты мне подшипники достань.

— А почему у тебя подшипники поплавились? Вот акт составим, — говорил главный механик.

— Ну едри его в пупа, — кричал Чумак, — теперь ты меня уж не заставишь без техосмотра работать.

Я прошел мимо всех этих криков и суеты и вошел в контору.

Планерка еще не начиналась. Из бухгалтерии слышен был стук арифмометров, в расположенном напротив производственном отделе что-то громко рассказывал Юницкий. Я приоткрыл дверь. За столами сидели инженер производственного участка Коновалов и начальник второго участка Литвинов. Как ни тяжела для меня работа на объектах, на линиях, тем не менее, там я себя чувствовал свободнее. В конторе же я попросту ощущал себя дворовой собакой, которую каждый может пнуть. Интересно, что даже своего тщеславия, даже своего «инкогнито», я здесь не ощущал, словно его и не было, того тщеславия, тайного, конечно, которое я ощущал в библиотеке, или даже явного, которое я ощущал у Бройдов. За три года я ужасно себя скомпрометировал и унизил, так что сама мысль о протесте, который может привести к потере единственного источника моего существования, получаемой здесь зарплаты, сама мысль о протесте казалась мне дикой. Впрочем, и в конторе некоторые относились ко мне с сочувствием, пусть и не постоянно, временами. Так, секретарша директора, Ирина Николаевна, и Коновалова по-бабьи вздыхали, говорили со мной, пытались за меня заступиться. Правда, как я понял, не всегда и в известных пределах, когда это не грозило их личному благополучию. Коновалова пыталась действовать в мою пользу на Юницкого, а Ирина Николаевна на и.о. главного инженера Мукало. Этот Мукало соответствовал своей фамилии, был толст и похож на рыхлую бабу.

Когда Михайлов устроил меня в управление, Мукало взял меня к себе на участок. Недавно Мукало удалось занять должность главного инженера, к которой, как узнал я от Ирины Николаевны, он давно стремился. Но его до сих пор не утвердили, так как этому якобы препятствует наш начальник Брацлавский. Я погрузился в сеть внутренних конторских взаимоотношений, когда прошлый месяц проработал в конторе, куда меня по протекции Ирины Николаевны устроил Мукало. Сделано было это из желания помочь мне, так как я был слаб здоровьем, замерзал и уставал на линиях, а также не мог сработаться с производственниками. Тут в конторе, в тепле, думали они, мне будет лучше. Но именно этот месяц в конторе и ускорил мое увольнение. На линиях, среди матерщины и грубости, все, однако, было посвободней и не все из случившегося доходило до конторы, многое исправлялось незаметно. В конторе же я постоянно находился перед начальством, и любой мой промах, самый незначительный, сразу служил поводом разноса. Именно в конторе я получил три выговора подряд. Должность мне Мукало выдумал на первый взгляд вполне простую — диспетчер. И как будто бы легкую, даже до обидного легкую. Состояла она, главным образом, в том, что я должен был по телефону обзванивать автопарки и заказывать автосамосвалы под наши экскаваторы на разных объектах. Однако проработав день-другой, я понял, что должность эта не такая уж легкая, а даже наоборот, весьма опасная для человека, которого хотят уволить, и вполне пригодная как последнее испытание... Я даже начал подумывать, что Ирина Николаевна, наверно, за меня хлопотала искренне, но Мукало, который и сам убедился в моей непригодности, махнул на меня рукой, а должность эту придумал по согласованию с Брацлавским. Невзирая на свои с ним разногласия, по вопросу обо мне они, очевидно, сошлись, наконец, в общем мнении. Что и подтвердилось впоследствии. Оказалось, что автопарки принимают заявки почему-то лишь во второй половине дня. Таким образом, первую половину дня я слонялся без дела, что угнетало меня и делало в своих глазах и в глазах окружающих бездельником. Иногда, впрочем, меня использовали в качестве курьера, и это усиливало унижение. Во второй же половине дня я садился на телефон, который работал дурно, с перебоями, и начинал дозваниваться в десятки автопарков. Однако помимо меня туда

дозванивалось множество других организаций. Случалось, мне везло, но чаще всего я тратил много времени, чтоб прорваться к диспетчеру автопарка. Потом оказывалось, что самосвалы нужных нам типов уже розданы... Я просил, нервничал, ругался, доказывал, что нельзя под небольшие экскаваторы БТ посылать огромные МАЗы... После трех-четырех автопарков я изнемогал, нервы сдавали, на лбу выступала испарина, болела голова, болело горло, горели уши от телефонной трубки, ныли руки. Это может показаться смешным, но я уставал от телефонной трубки, она словно наливалась свинцом. Длинные номера телефонов путались у меня перед глазами, были случаи, когда я дозванивался с полчаса в какой-нибудь автопарк, а потом выяснялось, что я уже туда звонил ранее и все заказал. Были случаи, когда я путал и заказывал не то и не туда... В общем, через месяц меня с этой должности убрали... За три года мне не раз приходилось стоять на холодном ветру, на морозе, в плохих сапогах и дурно, неумело намотанных портянках из холодного холостяцкого тряпья, приходилось тонуть в грязи, выбиваться из сил, мокнуть под дождем, но никогда мне не было так тяжело и никогда я так плохо не справлялся со своими обязанностями, как на должности телефонного диспетчера. Так что Мукало придумал мне последнее испытание довольно умело как хороший законный повод окончательно утопить.

Впрочем, перед тем, как убрать с должности диспетчера, он вызвал меня к себе в кабинет, наверно, опять под воздействием Ирины Николаевны, долго смотрел на меня, по-бабьи вздыхая, и сказал наконец:

— О-хо-хо... Уволить бы тебя надо по закону... Да куда ж ты денешься, кому ты нужен... Кто тебя на работу возьмет...

Вместо Мукало на участке теперь работал Коновалов, брат Коноваловой из производственного и зять Брацлавского. Мукало вызвал Коновалова и направил меня вновь на участок, попросил подключить временно к Сидерскому.

Сидерский умелый прораб и ко мне он относился неплохо. Коновалов согласился. Он был как будто бы начитанный парень и иногда разговаривал со мной о литературе и книгах, хотя я никогда не выказывал свое «инкогнито», свою тайну, и подобные разговоры Коновалова меня даже удивляли. Однако Брацлавский, натура прямая, не сентиментальная, чисто производственная натура, решил, видно, раз и навсегда избавиться от меня, и Коновалову, как я узнал, влетело за то, что он принял меня на участок обратно. Не прими, я висел бы в воздухе без должности, находясь в распоряжении непосредственно конторы, причем с тремя выговорами за развал работы диспетчерской, что облегчало мое увольнение.

Я узнал о всех этих делах после того, как Коновалов неожиданно перестал разговаривать со мной о литературе, а, наоборот, начал ко мне придираться и искать повод, чтобы отчислить с участка. Дела мои стали совсем плохи, даже Ирина Николаевна перестала мне покровительствовать, и я окончательно понял, что меня должны уволить со дня на день, возможно, на сегодняшней планерке... Открыв дверь производственного отдела, я поздоровался и спросил, когда планерка. Юницкий ответил мне достаточно мягко и без враждебности, Коновалова приветливо кивнула, а Литвинов спокойно, делово поздоровался. Литвинов был начальник чужого участка, и у нас с ним было шапочное знакомство, вражды ко мне он никогда не чувствовал. Успокоенный и даже обрадованный такой встречей, я пошел далее по коридору. Опасность могла исходить из двух мест: из производственного отдела и из приемной начальника. Первую опасность я уже миновал благополучно, в секретарскую же входить не решался, желая продлить подольше спокойствие.

Я остановился в коридоре у свежей стенгазеты «Механизатор», выпущенной к женскому празднику 8 Марта. В центре был цветной снимок первого искусственного спутника земли, а под ним стихотворение Ирины Николаевны. Я прочел: «Ленин. Смотрю, портрет Ильича, улыбка, взгляд пря-

мой. Он мог все то замечать, что не умел другой. Он верил в Россию и в нас, живущих на светлой земле. Победы космических трасс он видел еще в Октябре».

Безграмотные стихи эти меня еще более успокоили и настроили на комический лад, как всегда успокаивало и вселяло бодрость, когда я видел чью-то глупость или нелепость, не опасную мне.

Далее в стенгазете был целый раздел «Что кому снится».

Я не стал читать, мимо прошли Свечков и Лойко в теплых прорабских тулупах и в валенках с прорабскими папками. Я пристроился к ним, чтоб войти в секретарскую не в одиночку, а производственной группой. Я как-то мгновенно сообразил, что войдя к начальнику группой, особенно с опытными и уважаемыми Свечковым и Лойко, я словно придам себе вес и уменьшу не известные еще мне неприятности, которые я, однако, предчувствовал, надеясь, впрочем, что предчувствие мое ложное. Свечков приветливо положил мне руку на плечо, а Лойко отвернулся и не поздоровался.

— Где ты такой тулуп достал, — спросил я Свечкова, с которым был на «ты».

— Раньше выдавали, — сказал он, — лет пять назад, в счет зарплаты... И валенки... А в грязь надо яловые сапоги с двойной байковой портянкой... Разве в твоем пальтишке и туфельках устоишь на объекте? Я б дуба дал...

— Да он там и не бывает, — сказал Лойко, не глядя на меня, — он в конторе отирается...

— Ну почему, ты, Костя, не прав, — миролюбиво сказал Свечков, — помнишь, Гоша, как мы с тобой в грязи тонули на Кловском спуске... Когда девятиэтажный закладывали...

Мы вошли в секретарскую. Ирина Николаевна глянула на меня мельком, холоднее обычного.

«Плохой признак, — с тревогой подумал я, — впрочем, у нее много работы, она занята».

Ирина Николаевна печатала, быстро, механически ударяя по клавишам. В углу у телефона примостился Райков, новый человек, которого взяли вместо меня на должность

диспетчера. Райков был из отставных военных, и прислал его сюда на работу райком партии. На Райкове аккуратно сидел военный китель с черными техническими кантами. Райков должность диспетчера из должности «мальчика на побегушках» в короткий срок поставил на солидную основу. Через партком он добился в свое распоряжение мотоцикл с коляской и объехал все автопарки, лично познакомившись с диспетчерами и с секретарями парторганизаций автопарков. Правда, постоянно оставить мотоцикл в своем распоряжении ему не удалось, мотоцикл был занят на участках, возил Мукало, а когда выходил из строя управленческий трофейный «оппель» — и самого Брацлавского. Но в экстренных случаях Райков мотоцикл получал. Подобное даже в голову прийти не могло, да меня и слушать бы не стали. В первой половине дня, когда я не знал, куда деть себя, и посему использовался не по назначению курьером, Райков занялся по собственной инициативе черчением графиков и схем. Твердым, аккуратным почерком бывшего саперного офицера, он подписывал эти схемы и графики и развешивал их в производственном отделе, кабинете главного инженера и в парткоме, куда его сразу выбрали зам. секретаря и пророчили в секретари, поскольку нынешний секретарь и зав.отделом кадров Назаров пил.

Схемы и графики эти на производство существенного влияния не оказали, но внутри конторы они придавали работе управления известную наглядность и серьезность, хоть и не соответствовали подлинному положению дел, которые при своеобразии и специфике работ чужды были преднамеренного планирования, а даже наоборот, давали хорошие результаты именно при личной инициативе и даже известном самотеке. Однако, несмотря на это, а может, и благодаря этому, графики были полезным нововведением, т.к. работе управления, разбросанной среди сотен котлованов, а подчас и вовсе не закрепленной на местности, как, например, уборка и вывоз грунта, такой работе придавался осязаемый характер, пусть даже не вполне соответствую-

щий действительности. Таким образом, Райков за две недели завоевал авторитет, какой не снился мне и за три года.

Впрочем, Свечков называл эти графики цветными картинками и глупыми декорациями. Я первоначально не понимал, почему он так возмущается и невзлюбил Райкова почти так же, как Лойко ненавидит меня. Тем более, что Райков человек более защищенный, чем я, с хорошей биографией, партийный, бывший майор. Зла он никому не желает, со мной, например, вежлив, на вы. Однако, если Свечков его слишком допечет, он может ему и отплатить по-настоящему, как отплатил бы любой человек своему обидчику, как отплатил бы и Лойко, если б имел возможность. Позднее я начал понимать, что Свечков в отличие от меня любил свою работу, болел за нее душой, невзирая ни на что, и считал меня человеком более полезным, чем Райков, которого даже вслух раз обозвал умелым бездельником...

Из секретарской вели две двери, справа, обитая кожей, к Брацлавскому, слева, более простая, крашеная масляной краской, к Мукало.

— Цвибышев, — поздоровавшись, сказал мне Райков и, кажется, устало опустил телефонию трубку на рычаг. Я воспринял эту его усталость с некоторой эгоистической удовлетворенностью. Значит, не такой уж я никуда негодный, и при всем своем умении и инициативе, Райков тоже устает и мучается с этими телефоннымми заказами.

— Цвибышев, — сказал Райков, — вас Коновалов ищет, зайдите, он у Мукало.

У меня тревожно екнуло в груди. Предчувствия сбывахлись. С тех пор, как Коновалов поплатился за свою снисходительность ко мне, он мог разыскивать меня лишь с единственной, неприятной для меня целью, пока еще мне не ясной. С колотящимся сердцем вошел я в кабинет, стараясь предугадать причины неприятности, чтоб хоть как-то организовать свою защиту и поэтому мысленно перебирая в памяти свое поведение и свои поступки, которые могли стать известными. В частности, одним из последних проступков был мой отъезд с дальнего объекта, малопосещаемого начальством, на три часа ранее срока. Тот день был удивительно удачным, и я с радостью провел его в библиотеке за чтением. Но на беду, Коновалов мог именно в тот день проконтролировать меня...

Войдя в кабинет, я поздоровался. Мукало сидел за столом, смотрел исподлобья. На жирном лице его была даже некоторая обида и раздражение. На приветствие мое не ответил. Коновалов, нескладный, с висящими тонкими усиками, в потертом кожаном пальто не по росту, смотрел на меня в отличие от Мукало, взгляд которого был вял и медлителен, с какой-то бойкой подвижной неприязнью, поворачивая то ко мне, то к Мукало свое сухое, калмыцкого типа лицо.

— Ты был у Юницкого, — быстро спросил он меня.

У меня тут же сложилось в голове мое оправдание: почувствовал себя дурно, даже потерял сознание. Поэтому вынужден был уехать с объекта раньше срока. Должен заметить, что подобные казусы случались со мной чрезвычайно редко, однако и впрямь с головокружением и потерей сознания ненадолго, буквально на полминуты. Раз, даже на планерке Ирине Николаевне пришлось растирать мне виски. Тогда мне было стыдно, ныне же это происшествие могло пригодиться для придания моему обману правдивого вида.

— Я к Юницкому заходил, — ответил я предварительной нейтральной фразой.

— И он тебе ничего не сказал? — спросил Коновалов.

— Нет, — ответил я, все более тревожась, раздумывая не уволили меня заочно.

— Странно, — снова быстро повернулся Коновалов к неподвижному Мукало.

— Пойдем, — сказал он мне.

Мы вышли в секретарскую, а оттуда в коридор. Планерка, видимо, должна была начаться еще не скоро, так как в конторе по-прежнему царила тишина, слышались лишь отдельные звуки из бухгалтерии и производственного отде-

ла. Основная масса прорабов, да и сам Брацлавский, пожалуй, еще не приехали с объектов.

— Что случилось, Петя? — интимно понизив голос, спросил я Коновалова, когда мы остались с ним наедине в коридоре. Это был дерзкий и, в то же время унизительный ход с моей стороны, на который я отчаявшись решился. Ранее беседуя со мной о книгах, он называл меня по имени, называл его пару раз тогда по имени и я. Ныне, когда отношения наши приобрели форму преследователя и преследуемого, он называл меня только по фамилии, а наедине со мной вовсе не разговаривал. Переходя на доверительно-интимный тон, я делал попытку если не перетянуть его в союзники, то во всяком случае, доказать, будто верю, что главная опасность для меня исходит не от него, а от неких внешних факторов и намекал также на свою осведомленность в тех неприятностях, которые он, Коновалов, из-за меня испытал. Но Коновалов либо сделал вид, что не понял моего шага к нему навстречу, либо открыто не принял такой шаг, я не разобрался в оттенках его действий.

— Сейчас, Цвибышев, ты все поймешь, — громко и с плохо скрытой угрозой сказал он мне, открывая двери производственного отдела.

— Вот он, герой, — сказал Коновалов Юницкому, кивая на меня.

— Знаешь что, Коновалов, — сказал Юницкий, — разбирайся-ка ты в этом деле сам... А то еще его дядя меня по загривку, — добавил он, глядя на меня улыбающимися глазами и показывая прокуренные зубы.

Улыбнулась и Коновалова, и Литвинов. Слегка улыбнулся и сам Коновалов. И вдруг я почувствовал, что улыбаюсь тоже жалкой улыбкой в ответ на унижающую меня шутку. Помимо моей воли сработал инстинкт самосохранения. Я почувствовал, что перевод ситуации в шутливую плоскость, пусть даже за счет моего достоинства, является выходом из положения и, может быть, даже Юницкий умышленно это сделал, чтоб прийти мне на помощь.

— А что случилось, Петя, — спросил у Коновалова Литвинов, почти той же фразой, какую задал Коновалову я.

— Да вот, у этого деятеля в Кончей Заспе на объекте работал БТ «Белоруссик»... Вчера его сняли, перебросили на другой объект, а диспетчера он не предупредил... Туда шесть самосвалов заказаны на вторую смену. Они придут, а экскаватора нет... простой за наш счет...

Не знаю, что со мной произошло, я вдруг сам услышал свое учащенное дыхание. Я привык к несправедливостям, но это была наглая, бесстыдная ложь от начала и до конца, которая возмутила меня до того, что я даже забыл о том, что подлинный мой проступок и обман, преждевременный отъезд с дальнего объекта остался нераскрытым. Во мне произошел странный перелом, и я чуть ли не на глазах у всех преобразился.

— Это неправда, — крикнул я (я хотел крикнуть: ты врешь, Коновалов, но в последнее мгновение все ж сдержался), — это неправда, — повторил я, — во-первых, это не мой объект, а Сидерского... Я был там всего раз, помогая Сидерскому... Во-вторых, слышишь ты, во-вторых, — тут я не мог сдержаться, — это наглая ложь... То, что я не предупредил... Наоборот, меня не предупредили, сняли экскаватор... Я слышу об этом впервые... Это обязанности Райкова предупреждать и меня, и автопарки... Я, когда работал диспетчером... — Говорил я несколько бессвязно, и все смотрели на меня с тревожным любопытством. Кроме Коновалова, который потемнел лицом, так как этот неожиданный бунт самого бесправного в управлении ставил под сомнение его авторитет.

— А ну, немедленно отправляйся в Кончую Заспу и не возвращайся, пока не переправишь самосвалы на другие объекты, — сказал он мне.

— Не поеду, — твердо и решительно сказал я. Тут уж складывалась своеобразная ситуация. Воля на волю. Чья крепче. Как говорится, «на характер» шло дело. Юницкий, Коновалова и Литвинов смотрели на нас, особенно на меня,

с некоторым даже оттенком спортивного интереса.

— Немедленно отправляйся, — не очень громко, но глядя на меня в упор калмыцкими своими глазами, сказал Коновалов, вкладывая в этот напор всего себя, поставив на карту свой авторитет так, что я вдруг понял, что для этого человека в данную секунду важнее и серьезнее в жизни ничего нет, чем заставить меня поехать в Кончую Заспу. Не заставь он меня ехать, он, начальник участка, зять Брацлавского, меня, на которого позволяет себе повышать голос даже уборщица управления, тетя Гарпына, не заставь он меня поехать, завтра же об этом будут рассказывать как об анекдоте, так что авторитету Коновалова будет нанесен серьезный удар... А ведь этот Коновалов когда-то мне делал добро... И от этих мыслей что-то во мне сломалось, что-то обмякло во мне... Я повернулся и пошел к дверям, ничего не сказал, но, очевидно, по ссутулившейся моей спине все поняли, что я сдался и воля Коновалова одержала верх. Юницкий и Литвинов захохотали так громко, что я обернулся, хотя мне не хотелось показывать мое лицо в тот момент. Я понял, что оно удивительно ничтожно по сочувствующему взгляду, который бросила на меня Коновалова. На брата же она посмотрела с негодованием.

— Доволен, — сказала она ему, — клоун, петрушка...

Почему она назвала его клоуном, не знаю, может, у Коновалова была такая кличка в семье, но сестра, видно, настолько была возмущена, что не постеснялась назвать брата так при всех. Я б на его месте вспылил, он же не обратил внимания и сказал мне даже с некоторой мягкостью, впрочем, едва уловимой.

— Три самосвала перебросишь на улицу Ветрова, деревообделочный завод... А три — Саперное поле, десять.

По улице Саперное поле жила семья Чертог, где я останавливался, приехав в этот город. Правда, жила она в противоположном конце, в трехсотых номерах... Это была длинная улица в старой части города, сплошь застроенная небольшими домиками. Кончая Заспа, куда мне сейчас предстояло ехать, находилась в другой стороне. Это был совершенно необжитый район, где предстояло строить новый современный жилой массив со стадионом, крытым бассейном и широкоэкранным кинотеатром. Однако пока это сплошная песчаная пустошь с редкими соснами, и лишь проходящая вдали железная дорога несколько оживляет пейзаж. Между тем, мороз набирал силу и достигал, пожалуй, градусов десяти. Дело еще усугублялось тем, что оделся я не на объект, а на планерку, то есть не надел под свитер байковой фуфайки и не надел сапог, правда, прохудившихся, но при намотанной портянке дававших гораздо более тепла, чем туфли, даже надетые на двойной носок. Правда, выйдя из управления и направившись к трамвайной остановке, я несколько утешился тем, что избежал планерки, где всегда чувствовал себя крайне неловко, и смогу теперь провести время не под взглядами начальства, а принадлежа самому себе. Ветер к тому же утих, и мороз я ощутил на улице гораздо менее сильно, чем предполагал в помещении. Тут же, очень кстати, выплыла совершенно забытая мной от мытарств радостная мысль о предстоящем вечере у Бройдов, в семье, где меня любили. Так что настроение мое вовсе улучшилось, и я даже подумал о поручении Коновалова как о невольной своей удаче, которую лишь ныне, после всех треволнений сумел оценить.

Трамвай подошел очень быстро. Я сел и поехал. Ехать мне предстояло с тремя пересадками: два трамвая и пригородный автобус, а от автобуса еще пешком метров восемьсот...

ГЛАВА ПЯТАЯ

Настоящий холод я почувствовал, именно когда пересел на пригородный автобус. В трамваях, набитых битком, меня даже в жар бросало и начала одолевать какая-то вялость. Однако едва я вышел на трамвайном закруглении, как под свитером у меня сразу стало сухо и холодно. Здесь у конеч-

ной остановки высились последние дома-новостройки, а далее начиналась нетронутая дачная местность. Дачи и дома отдыха стояли среди запорошенных снегом сосен, изредка мелькала какая-либо заснеженная скульптура. Коновалову я соврал. Был я здесь не раз, а три раза. С Сидерским я приезжал на самосвале и два раза на пригородном автобусе, за свой счет. Поскольку объекты наши разбросаны были по всему городу, прорабам управление выдало проездные билеты. Однако поездки на загородные объекты не оплачивались. Правда, людей посолидней: Мукало, Юницкого, Коновалова возил управленческий мотоцикл, у Литвинова и Шлафштейна вообще имелись собственные мотоциклы, и они получали за проездной билет компенсацию. Такие же опытные прорабы, как Сидерский, Свечков, Лойко договаривались с шоферами и за две-три приписанные фальшивые ездки те возили их на объект и с объекта.

Я как-то тоже попробовал пуститься на подобные нарушения. Я договорился с шофером, тот привез меня на объект, сделал один оборот с грунтом и исчез до конца смены, когда приехал подписывать у меня путевку за полный рабочий день. Я подписал, поскольку опасался скандалов и разглашения моего проступка. Но после этого вступать в незаконные контакты с шоферами прекратил, предпочитая ездить на общественном транспорте. У меня была примета нужной мне остановки: скульптура оленя, и чуть в глубине от шоссе круглая зеленая беседка. Я спрашивал у кондукторши, но боясь, как бы она не перепутала или сказала невпопад, контролировал ее ответ приметами. Вообще на мало знакомых маршрутах я бываю крайне недоверчив и беспокоен, и окружающая местность внушает мне тревогу. Такое было и с маршрутом к общежитию первое время, пока я не привык к нему за три года настолько, что ныне он кажется мне домашним и родным. Я знаю там каждую мелочь и, когда, имея время, хожу пешком к центру, то узнаю даже отдельные булыжники на мостовой. Впрочем, привыкаю я сравнительно быстро и, например, глядя ныне из

подмерзшего окна автобуса, уже вижу не сплошь чужое, а узнаю знакомый поворот с плакатом о защите леса, железные ворота пионерлагеря, лыжную базу... Тем не менее, некоторая тревога не покидает меня, так как все это еще не твердо и наряду со знакомыми мелькают чужие, незнакомые куски пейзажа. Особенно я встревожился, когда мимо пронеслась скульптура оленя, даже вскочил. К счастью, оказалось, что это не тот олень. Наконец, я благополучно выхожу на Кончей Заспе. Название странное, я все не соберусь у кого-нибудь спросить. Может, искаженное татарское, оставшееся со времен монгольского ига. Под городом есть несколько таких местностей с татарским названием, например, Кагарлык, что переводится как «место, проклятое для татар»...

Смотрю на часы. Успел я вовремя. Самосвалы второй смены приходят не раньше трех, придется, пожалуй, даже с полчаса подождать...

За городом ветер и метель. Мои олень и беседка густо облеплены снегом. Я сгорбился, поднял воротник и пожалел, что на мне вместо финской шапки нет сейчас какой-нибудь плохонькой ушаночки. У финской же моей шапки хоть и опускаются наушники, однако сделаны они изнутри по-кустарному, крайне неряшливо и портят вид. Так что я предпочитаю терпеть, тем более, что первоначально приходится идти мимо какого-то дома отдыха, и я часто встречаю в лесу раскрасневшихся от мороза женщин. Вторая беда, огибая дом отдыха, я почувствовал сильные запахи с преобладанием жареного лука.

Жареный лук я не бог весть как люблю, разве что приправой к картошке. Однако для голодного человека запах его чрезвычайно губителен, поскольку обладает способностью терзать голодный желудок, способностью, не сравнимой с запахами даже самых вкусных блюд. Разве что жареный гусь может сравниться по запаху с жареным луком. Без запаха лука я совершенно не ощущал голода, теперь же голод усиливал мороз, а мороз усиливал голод. Так что я не вы-

держал и опустил свои неумело скроенные суконные наушники. Первоначально колючее сукно, к тому ж в нескольких местах пересеченное грубыми рубцами, неприятно терло уши и шею, но постепенно уши набухли, зачесались, стало теплей и желудок тоже успокоился. Я ускорил шаг, чтоб не дать одеревенеть ступням ног, и поскольку дом отдыха давно остался позади и я был в лесу один, то несколько раз переходил на бег, отдавая себе отчет, что зрелище это далеко не спортивное, а скорей нелепое, так как бежал я сгорбившись, на негнущихся ногах, с замерзающими на ресницах слезами от мороза. Наконец, впереди послышался гудок и шум проходящего поезда, обрадовавший меня, поскольку подтверждалось, что я иду правильно. Вскоре лес кончился и передо мной открылось поле, за которым и находилась железная дорога. Поле это предназначалось под застройку новым современным жилмассивом. Кончая Заспа, однако, в настоящее время представляла зрелище весьма странное и неприятное живому человеку. У меня была нелепая привычка, лежа на койке, в тепле, после приятного ужина, наевшись вдоволь хлеба с колбасой и напившись чая, перед сном иногда вспоминать подобные мертвые местности, виденные мной недавно или в прежние, даже отдаленные годы, и при этом вздрагивать, ощущая опасность. Здесь было именно мертво, иначе не скажешь. Снег лежал неглубоко, не знаю, почему, может, из-за песчаного грунта он быстро стаял во время февральской оттепели. Сейчас снег располагался клочками на оледеневшем песке, производившем весьма холодное, до дрожи впечатление, гораздо более холодное, чем вид снега. Наверно, по контрасту, так как для меня, например, песок еще с детских времен связан был с летом и теплом. Именно из-за ледяного песка я понял это, местность казалась мне мертвой. Смерзшаяся глина или камни, которые припорошены снегом, производят весьма естественное зимнее впечатление. Мысли эти представились мне интересными, и я решил их пока запомнить, а позднее записать и прочесть у Бройдов. Таким образом, я придал своим мрачным, тяжелым для души впечатлениям, весьма приятную концовку. Эта способность же выручала меня в, жизни, и может спасала от гибели, так как я заметил, что стоило мне записать происшествия и обстоятельства не то что неприятные, но даже безвыходные, как становилось легче, и подчас мне даже удавалось как-то извлечь себя из-под ударов судьбы и спасти, как я уже говорил. Но, зная это, я почему-то прибегал к подобному методу не всякий раз и даже не часто, скорей, как-то внезапно и по обстоятельствам, мне непонятным, при весьма определенном состоянии души, зависящей от десятков или тысяч неуловимых и, может, весьма случайных явлений. Дневника же я не вел никогда, да и вряд ли календарные записи его были способны бороться с моими бедами...

Поборов, таким образом, на этот раз душевный страх и смятение, я не мог, тем не менее, преодолеть и избавиться от телесных страданий, которые становились весьма ощутимы и, мне кажется, в какой-то степени также способствовали исчезновению душевных мук. Очень скоро я превратился в весьма простой и цельный организм, не имеющий возможности растрачивать силы на душевные терзания, а полностью всей своей жизнью направленный лишь на одно: на изыскание способов согреться... У противоположного края поля «Белоруссик» успел прокопать начало траншеи под водопровод во многих местах, впрочем, уже полуобвалившуюся.

Я прыгнул туда, надеясь укрыться от ветра, но траншея сковывала мои движения, не защищая меня от мороза, и к тому ж я мог прозевать самосвалы. С трудом выкарабкался я снова наружу, ушибив обо что-то ладонь, но, главное, разодрав перчатку (перчатки были на мне хорошие, двойной вязки). Вылез я из траншеи очень вовремя, поскольку вдали показались самосвалы. Обрадованный концу своих мучений, я хотел побежать им навтречу, однако, сумел удержать себя и солидно, по-прорабски, ждал их, широко расставив

ноги. Я мог бы выйти к шоссе, и тогда шоферам не пришлось бы буксовать по оледеневшему песку, но ждал здесь, поскольку шоферы находились в моем распоряжении. Со мной случались такие минуты наслаждения властью. Поэтому я любил работу на линии, где молодые неопытные шоферы и экскаваторщики не замечали неуверенности и бесправия, постоянно присутствующих на моем лице и ощущаемых в моих жестах.

— А где остальные? — спросил я переднего шофера, подавляя возникшее беспокойство, так как из шести пришло только два самосвала.

— Задержались на заправке, — сказал шофер, — что-то я экскаватора не вижу.

— Поедете на Ветрова, — жестко скомандовал я, не обращая внимания на его вопрос, — деревообделочный завод...

Подъехал второй самосвал. На меня пахнуло теплом и вкусным запахом кабины: клеенки и бензина, в котором, тем не менее, ощущалось что-то съестное.

— В чем дело? — спросил второй шофер в кубанке.

— На Ветрова нам ехать, — ответил первый шофер.

— Да, — то ли спросил, то ли подтвердил шофер и перевел на меня веселый взгляд, скользнув по туфлям и финской шапке, — а ты что-то, прораб, замерз.

Я сразу понял, что этот человек распознал меня. Этот в кубанке ничего более не сказал и вроде даже подчинился моему распоряжению, но неприятный осадок остался после его взгляда и его слов. Точно я хотел выдать себя за другого человека, который замерзает здесь по своей воле, болея душой за порученное дело, а он распознал, что нахожусь я здесь по принуждению. И от этой, казалось, мелочи, мной же выдуманной, едва самосвалы ушли, у меня начался приступ злобы, аналогичный тому, какой испытал я в прошлом году, после унижения от Михайлова. Я схватил валяющийся у траншеи обрывок шланга, подбежал к одинокой сосне и ударил им об ствол...

Это было глупо и ничтожно и, кроме того, неестественно. Оно лишь внешне было аналогично прошлогоднему приступу. Тогда было живое отчаяние, теперь же досада от обычной потери хитрости...

После отъезда двух самосвалов прошел час с лишним, но четыре остальных так и не появились... Помню белесое небо и светлое пятно, где за облаками пряталось солнце... Не знаю, почему и в какой момент, не запомнил, но я вдруг побежал в направлении дома отдыха. Позднее в тепле я понял, что совершил ошибку и в своих страданиях во многом виноват был сам. Конечно, Коновалов поступил со мной несправедливо, даже подло, но он вовсе не желал мне оказаться в подобном положении на грани замерзания, поскольку рассчитывал на мою собственную инициативу или на мою хитрость, в которой был уверен.

Один из самосвалов я мог оставить себе, так поступил бы любой прораб и ждал бы остальные самосвалы в теплой кабине. Но я побоялся пойти на подобные производственные нарушения. Теперь же, не дождавшись остальных четырех самосвалов, доведя себя до изнеможения и не выполнив задания, я бежал в направлении дома отдыха. Я вбежал в калитку, не обращая внимания на собаку (она гналась за мной), толкнул двери кухни, которую узнал по запотевшим окнам, и увидал испуганную женщину в клеенчатом переднике. Я тогда не сообразил, что испугана она именно мной. К счастью, женщина не закричала, хотя была близка к этому, а спросила шепотом:

— Тебе чего?

— Мне попить, — ответил я и уселся на табурет.

И тут меня начало по-настоящему ломать и корежить. Я совершал какие-то резкие движения, выбрасывал ноги, двигал локтями, подергивал головой, финская шапка свалилась с меня и ударилась о цементный пол с каменным звуком. Я дергался, совершенно потеряв чувство стыда, хоть на меня смотрели какие-то молодые женщины. Лишь одна пожилая кухарка или посудомойка не побоялась прибли-

зиться ко мне и дать мне чашку горячего чая. Но я не мог взять, поскольку пальцы мои не гнулись. Поняв это, кухарка сама принялась поить меня сладким и крепким чаем, который совершил чудо, ибо допив кружку всего до половины, я уже понял стыд и позор своего поведения. Я понял, что если замерзший внушал хорошеньким женщинам страх, то, отогревшись, начну внушать смех.

Я, который — особенно когда бываю одет не то чтоб богато, но с вызовом, в вельветовый пиджак, галстук-бабочку — привык к тому, что на улице женщины меня замечали, не мог спокойно с пренебрежением относиться к женскому смеху надо мной и, зная эту свою слабость, понял — надо немедленно исчезнуть. Но тут иная мысль сверкнула — самосвалы!

Производственный страх подбросил меня, и я выбежал из теплой кухни гораздо раньше, чем выбежал бы мучимый лишь стыдом перед женщинами. Я бежал так быстро, точно за мной гнались (за мной действительно гналась собака, но я понял это не ранее, чем добежал до траншеи, когда, обернувшись, увидел эту собаку, убегающую прочь, к дому отдыха).

Самосвалов не было...

« Бог, милый Бог, — сказал я, подняв голову к верхушке одинокой, на отшибе сосны (я не верил в Бога, но иногда, в минуты отчаяния вдруг начинал выпрашивать у него помощи), — милый Бог, сделай так, чтоб самосвалы еще не приходили... А чтоб они пришли сейчас... Через две минуты, через десять минут... Я подожду...»

— Беги на шоссе, — сказал чей-то голос у меня за спиной, — они там... Беги быстрей, они могут уехать...

Я вздрогнул и обернулся... Никого... Мела поземка... Начинало смеркаться... Не раздумывая и не анализируя, я побежал изо всех сил. Оледеневшее шоссе было пустынно, но вдали действительно мигал красный сигнальный огонек. Самосвал только лишь тронулся и осторожно буксовал, выбираясь на проезжую часть, так что у меня еще оставалась надежда его догнать.

— Стой! — закричал я каким-то чужим, бабьим голосом и, размахивая руками, понесся к сигнальному огоньку, балансируя и страшась упасть на оледеневший асфальт, так как тогда б уж точно упустил самосвал, — стой! — кричал я, к счастью, одно лишь слово, поскольку длинные выкрики, которые могли прийти мне в голову, забили бы дыхание и затруднили бег.

Сигнальный огонек выбрался на середину проезжей части, однако я сделал отчаянный бросок и ухватился за холодный железный кузов, рванувшийся из-под моей ладони с равнодушной, нечеловеческой силой.

— Стой! — испуганно выкрикнул я и тут же захлебнулся криком.

Однако мне повезло, шофер услышал, выгнянул из кабины, приоткрыв дверцу.

— Тебе чего? — спросил он.

— Прораб, прораб, — повторял я, тяжело дыша, вскакивая на подножку, цепко ухватившись за дверцу и тесня шофера грудью внутрь кабины.

— Что прораб? — удивленно спросил шофер.

— Я прораб, — ответил я, — где другие самосвалы?..

— Ах прораб, — повторил шофер, — что ж это такое получается, товарищ прораб... Мы уж уезжать собирались... Вон ребята впереди тянутся, сейчас их догоним, они с вами по душам потолкуют...

— Все будет нормально, — сказал я, радостно и успокоенно усаживаясь на сиденье и грея ноги у мотора, — за мной не пропадет...

Шофер поднажал и догнал три других самосвала на повороте.

— Ваня, — улыбнувшись крикнул он, выглянув из кабины, — прораб нашелся... В дороге подобрал...

Самосвалы остановились.

— Что ж это такое получается, — подходя, той же фразой начал Ваня и сунул в кабину голову в теплом танковом

шлеме, — мы с трех часов на объекте торчим... Экскаватора нет, прораба нет... Полсмены прошло... Кто нам платить будет? Мы вон хотели сейчас по пути в автопарк к вашему Брацлавскому заехать... Пусть путевки подписывает...

Он нагло врал насчет полсмены, но я просидел на теплой кухне дома отдыха его приезд с опозданием на три часа и теперь не он был в моей власти, а я был в его власти, и он действительно мог поехать к Брацлавскому, наверно, даже ехал, поскольку по всему видно был опытный производственник и не привык упускать удачные обстоятельства, чтобы сорвать дополнительный куш и покрыть к тому ж халтуру, которой они все эти три часа безусловно занимались.

Один из кузовов самосвалов был вымазан свежей краской, что-то они такое перевозили. Но за три года я также приобрел некоторый опыт, потому не стал уличать его в наглой лжи. Я сам был виноват, что эти «леваки» стали опасны для меня.

— Ребята, — сказал я каким-то даже просительным голосом, — все бывает... Ребята, сами знаете... Задержался на другом объекте... Извините, ребята...

— А нам-то что? — жестоко сказал Ваня. — Нам твое «извините» к путевому листу не подколоть...

— Короче, пусть десять лишних ездок подписывает, — подал голос шофер, кузов которого измазан был «левой» краской.

— Какой там десять, — злобно метнул на него взгляд Ваня, — полностью пусть подписывает... Мы здесь с трех часов торчим... Иначе к Брацлавскому поедем...

— Но, ребята, — просительно, словно разговариваю с начальством, сказал я, — ведь здесь вовсе экскаватора нет... Как же я подпишу...

— Да путевки эти через месяц оплачиваться будут... Они, ты думаешь, контролируют, где, в какой день был экскаватор, а где не был... — сказал Ваня.

— Если б они каждую путевку контролировали, — сказал молчавший до этого шофер моего самосвала, — то не могли б в своих кабинетах в шахматы играть и на футбол срываться...

— у тебя дети есть, прораб? — спросил уже помягче Ваня.

— Есть, — соврал я, чтобы придать разговору плавность и устранить лишние вопросы и закорючки.

— Ну вот видишь, — сказал Ваня, — и у меня есть... твои жрать просят, и мои жрать просят... Правильно я говорю, хлопцы?..

— Время идет, — сказал я, — на Саперное поле десять надо ехать, ребята. Там экскаватор простаивает...

— Мы тебе путевки в кабину дадим, — сказал Ваня, — дорогой оформишь... А Филя тебя прямо к вашему управлению доставит, а потом нас догонит... Ладно, ребята, двинули...

Он, видно, был у них за старшего, вроде бригадира и, в конце концов, поступил не так уж беспредельно плохо по отношению ко мне. Сволочь похуже, имея в своих руках такой козырь — отсутствие экскаватора и прораба, уехала б немедленно, раздула б эту историю и устроила б скандал в управлении, а они все-таки ждали меня, разумеется, не три часа, а минут десять, пятнадцать... Тем более, что в моей несостоявшейся версии я собирался изобразить этих шоферов перед начальством в их истинном дурном свете, что меня, впрочем, не оградило бы от наказания.

Таким образом, подобный оборот дела, то есть моя зависимость от этих шоферов спасала меня от необходимости писать на них рапорт, который всегда, даже при правдивом изложении, попахивал доносом, что было мне неприятно (какой парадокс. О доносах позднее, значительно позднее). Тем не менее, сложись дело по-иному, я был бы вынужден это сделать, чтобы спасти себя, особенно учитывая мое неустойчивое, почти трагическое положение. Сейчас же этот недобрый путь к моему спасению был закрыт и несмотря на то, что передо мной стояла фантастически трудная задача, изыскать нечто иное, отсутствие необходимости писать рапорт-донос, меня радовало...

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Я приехал в управление к концу планерки и долго колебался, входить ли мне в кабинет Брацлавского. В том, что я, не нарушая ритма многочасовой планерки и ее направления, тихо уйду, есть свои серьезные преимущества, но и свои минусы. Мое появление привлечет ко мне всеобщее внимание, досада от нарушения моим появлением слаженного ритма может повлиять на безусловно уставших в многочасовой духоте людей и их досада на необходимость заниматься еще одной, моей проблемой, чего доброго перерастет в желание нервной разрядки, особенно у Брацлавского, человека немолодого, так что я пострадаю на этом весьма серьезно, даже непоправимо, при дополнительных, непредвиденных факторах, которыми всегда полны подобные обстоятельства... Но с другой стороны, мой уход без предупреждения даст козырь Коновалову, сегодня я понял твердо, что главная опасность для меня исходит именно от Коновалова, поскольку ему надо оправдаться перед своим тестем Брацлавским за доброе дело, которое он совершил, взяв меня к себе на участок. Ни сам Брацлавский, ни Юницкий, ни Мукало не вспомнят сегодня обо мне, у них достаточно дел и неприятностей посерьезней, а для Коновалова лично я серьезная неприятность, поэтому он вспомнит.

Если я, в трудных условиях выполнив задание, войду в кабинет Брацлавского, замерзший, уставший, только что вернувшийся с дальнего, загородного объекта, то кто его знает, может, самому Брацлавскому это даже понравится, он работяга, из простых, ценит старательность и любовь к работе и, возможно, так именно это и воспримет. Меня поддержат Свечков, Сидерский, Шлафштейн... Вдруг доброе слово скажет и Юницкий, он человек неожиданный, и это было б здорово... Возможен даже положительный поворот в моей производственной судьбе, какой в свое время произошел со Свечковым... Какой вариант применить:

первый (тихий уход домой... Опасность со стороны Коновалова, но не сегодня, завтра, когда многое может измениться). Или второй (резкий, прямой приход мой с дальнего участка, после выполненного задания... Риск... Идти навстречу опасности, зато вдруг все разом разрешится и станет хорошо). Ах, если б знать обстановку в управлении и на планерке... Ирина Николаевна знает, но молчит, держится официально... Наверно, ей тоже влетело за покровительство мне...

Открылись обитые кожей двери Брацлавского, и вышел Райков.

— Спасибо вам большое, — сказал он мне, — я недавно звонил в автопарк, самосвалы работают на нужных объектах... Знаете, дозвониться днем не мог, а экскаватор-то срочно снял сам Брацлавский и по самому высокому распоряжению... Его во двор президиума Верховного Совета перебросили... Там у нас сейчас три «белоруссика» работают... — Райков разоткровенничался, во-первых, по неопытности, а во-вторых, как я понял, потому что я его здорово выручил, и он ощущал благодарность в мой адрес. Не послушайся я приказа Коновалова, кстати, незаконного, и не поедь (и откажись от поездки) в Кончую Заспу, это пришлось бы сделать самому Райкову, хоть он и бывший майор и прислан на работу райкомом.

— Еще раз вам большое спасибо, — сказал мне Райков и это меня ободрило так, что я решился на второй вариант, то есть идти в кабинет.

Когда Райков, взяв какую-то диаграмму, пошел назад, я вошел с ним. Но едва войдя, я понял, что совершил ошибку, приняв личную благодарность Райкова за всеобщее отношение. В кабинете, как я и предполагал по первому своему варианту, был тяжелый, спертый, прокуренный воздух, и все сидели с усталыми лицами, производившими впечатление невыспавшихся. Мой же внешний вид человека, явившегося со свежего воздуха, уж только этим вызвал у всех невольную зависть и неприязнь. Так что самый первый,

внешний фактор моего плана, сработал как раз в обратную сторону, то есть я не произвел впечатление человека уставшего, производственного, явившегося в кабинет к заседающим в тепле, а наоборот, человека бодрого и удачно проведшего день, явившегося к людям измученным и продолжавшим мучить друг друга. Почему так получилось, не знаю, но несмотря на все недавние волнения и мороз, сейчас, отогревшись в кабине, физически я чувствовал себя хорошо. Войдя я огляделся, ища свободное место, чтоб сесть незаметно, на ходу меняя план и рассчитывая, что Райков своими графиками возьмет все внимание начальства на себя...

Брацлавский сидел во главе стола, крепкоголовый, с седым, курчавым волосом. По правую руку от него сидел Мукало, по левую — Юницкий. Далее, у стола сидели по обе стороны Коновалов и Литвинов. Протокол вела Коновалова.

— Вот, пожалуйста, Иван Тимофеевич, — сказал Коновалов Брацлавскому, едва заметив меня. (В первое мгновение он меня не заметил, разговаривая шепотом с Литвиновым и не обратив внимания на скрипнувшую дверь, думая, что вошел один Райков. Но Литвинов, улыбнувшись, сначала мне подмигнув, толкнул Коновалова и показал на меня).

— Вот, Иван Тимофеевич, явился герой, — как-то даже оживленно, словно имея возможность отвлечься от многочасовых утомительных дебатов, сказал Коновалов, — взял я его на свою голову и теперь не знаю кому подарить... — Юницкий, Мукало, Литвинов и Лойко засмеялись.

— А знаешь, Цвибышев, — сказал вдруг Лойко, — тебя сегодня искали...

И тут я совершил еще одну ошибку. Я знал, что Лойко мне враг. Да он и подтвердил это секунду назад своим смехом. Но положение мое стало сейчас беспредельно тяжелым, а утопающий, как говорится, хватается за соломинку.

Свечков, Шлафштейн и Сидерский, то есть люди, на заступничество которых я рассчитывал, сидели не глядя ни

на меня, ни друг на друга. И вдруг пришла мне в голову дикая мысль, найти поддержку от Лойко. Плохого я ему никогда ничего не делал. Может, и он, замученный совестью из-за своего недоброго ко мне отношения, решил помочь мне в трудную минуту и бытовым обращением ко мне (а все знали, и Брацлавский тоже, что Лойко меня не любит), так вот, бытовым обращением ко мне, может, Лойко захотел сломать стену отчужденности между мной и планеркой.

— Кто меня искал? — посмотрев на Лойко, с доверием спросил я.

— Двое с тачкой, третий с лопатой, — с искренне радостным блеском в глазах, какой бывает после удачной охоты, выкрикнул Лойко.

Грохнул такой смех, что даже секретарша Ирина Николаевна приоткрыла дверь и заглянула.

Смеялись все. Не только мои недруги, но и Коновалова, и Райков. Даже Сидерский и Шлафштейн, правда, не так громко, как, например, сам Лойко, который весь покраснел и держал у глаз платок. Один Свечков сидел насупившись, но молчал. Брацлавский тоже не смеялся, однако едва заметно улыбнулся. Ирина Николаевна, которая непосредственно при шутке не присутствовала, и Коновалова ей все рассказала на ухо, засмеялась позже всех, что снова вызвало некоторое оживление. Я был убит. Я опасался, что мне грозит опасность разноса, жестоких мер, вплоть до увольнения, а меня уничтожали весело, легко, как бы походя и без борьбы, без поддержки, в полном одиночестве.

— Ну, хватит, — сказал наконец Брацлавский, — смешного тут мало... Мы должны освобождаться от людей, которые не любят работу и позорят управление.

— Экскаватор с его объекта ведь сняли, — сказал Коновалов, — а машины на свой объект он не отменил... Представляете, шесть самосвалов впустую...

— Напишите мне, — обернувшись к Коновалову, сказал Брацлавский, — ваши слова я к приказу об увольнении приложить не могу.

Коновалов сказал все хитро и неопределенно. Так что неясно было, а вернее нет, наоборот, даже ясно было и складывалось впечатление, что самосвалы простояли впустую. И Райков молчал. Мне неудобно было самому себя выгораживать, а Райков мог сообщить о том, как я помог ему перебросить самосвалы на другие объекты. Сказать то, что сказал он мне в секретарской... Или хотя бы половину того... Но Райков улавливал общее настроение руководства уволить меня и потому молчал.

— Напишите мне, — снова сказал Брацлавский Коновалову.

И вдруг тот замялся. Надежда на спасение мне начала светить неожиданно с иного конца, не от моих приятелей и покровителей, а от общей бумажно-бюрократической системы, которой все невольно были подчинены.

Коновалов очень хотел избавиться от меня и писал на меня немало рапортов, но этот рапорт, который должен был лечь в основу моего увольнения, остаться как документ, зарегистрированный в отделе кадров, пройти по инстанциям, он писать не решался. Не знаю, почему, может, его смущали слухи о моем дяде-покровителе... Может быть, но все ж не это главное. Его смущал какой-то всеобщий ведомственно-бюрократический инстинкт, требующий избегать личной инициативы в делах предельно неприятных, а таким предельно неприятным делом было в ведомственной системе насильственное увольнение. На такое мог решиться, причем не задумываясь, разве что Лойко, ненавидящий меня не в силу обстоятельств, а телесно... Но Лойко был совсем с другого участка и вообще не обладал никакой юридической властью. Коновалов же, невзирая на свой темперамент, ненавидел меня до определенного предела, не желая отдавать этой ненависти слишком много сил. Коллективный рапорт на меня он бы подписал с радостью.

— Я его пробовал использовать диспетчером, — сказал Мукало, — так он всю работу развалил... Вон Райков еле распутывает...

— Напишите, — обернулся к нему Брацлавский, — напишите мне все это на бумаге... Если у вас бумаги нет, то я вам дам, — добавил он несколько резковато.

Я вспомнил о слышанных мной от Ирины Николаевны противоречиях между Мукало и Брацлавским. Противоречиях, на которых мне не удалось сыграть, хоть я думал в этом направлении.

— Та что ж я буду писать, — ответил Мукало, задетый тоном Брацлавского и переходя на речь с сильным украинским акцентом, — та что ж я буду писать, як будучи диспетчером он формально находился в распоряжении производственного отдела, у Юницкого.

— Вот наша полная обезличка, — сказал Брацлавский, закуривая, — поэтому мы и работаем плохо, не болеем за дело... За что ни возьмись, даже за ерунду, даже за то, чтоб уволить негодного и ненужного нам работника, — и то концов не найдешь...

— Ну это, Иван Тимофеевич, вы преувеличиваете, — встал Юницкий.

Он умел говорить «по правде матке» и не боялся вступать в прямые споры даже с Брацлавским. Надежда моя загорелась еще более. Я повернулся в его сторону, однако он сказал:

— Я давно считаю, что Цвибышева надо уволить, — и сердце мое упало. После этого, внутренне я уже прекратил борьбу, надеясь лишь на обстоятельства.

— Я давно считаю, что он нам не подходит как работник, и тут, Иван Тимофеевич, никакой проблемы нет, — продолжал Юницкий, — но Цвибышев работает в управлении три года, а в распоряжении производственного отдела он был всего месяц и то формально, как правильно сказал товарищ Мукало... Мы его на должность диспетчера не принимали, а устроил его, будем прямо и честно говорить, товарищ Мукало... С товарищем Мукало он на этой должности общался... Товарищ Мукало его и отчислил опять на участок. Как писал Тарас Бульба, чем тебя породил, тем тебя и

убью... — Юницкий улыбнулся. Лойко и Райков засмеялись, а Коновалова покраснела.

— А то, что у Цвибышева дядя в главке, — дополнил Юницкий уже сидя, — так это нас не должно смущать...

— Да причем тут дядя, — раздраженно сказал Брацлавский, — плевать мы хотели на дядю... Пусть они из главка придут и повертятся вместо нас...

Я слышал сплетню, работая диспетчером, о том, что Брацлавского главк уже несколько раз хотел снять, как не имеющего диплома, но у него есть поддержка в среднем звене, в тресте. И эта невольно прорвавшаяся неприязнь к главку, подтверждала правильность подобных слухов.

— Так что же решим по этому вопросу, — спросил Мукало.

— Коновалов должен написать рапорт для увольнения Цвибышева, — сказал Юницкий, — тут двух мнений быть не может...

— Если на то пошло, — встал и Коновалов, — то у меня он работал тоже не больше трех месяцев, поскольку на участке я недавно... А принял его на участок Мукало, который тогда был начальником... А подписал приказ о зачислении в должность прораба Юницкий, вот так... Я смотрел в отделе кадров... Юницкий исполнял тогда обязанность главного инженера, а Иван Тимофеевич был в отъезде...

— Иван Тимофеевич мне этот приказ, кстати, завизировал, бросил с места Юницкий, — так что не в этом дело... Ты по существу говори, Коновалов, а не ссылайся на позапрошлый снег. Вопрос стоит прямо... Кто должен писать начальнику рапорт о необходимости увольнения Цвибышева...

Последнюю фразу он произнес как бы отбивая каждое слово ребром ладони по столу... И тут на меня нахлынуло... Я уже сказал, что внутренне прекратил борьбу еще после первого выступления Юницкого, когда угасла надежда окончательно. Если б меня просто и ясно уволили, я б не нашел в себе смелость даже заикаться в свою защиту. Но

то, что эти люди торговались, именно торговались друг с другом о моей судьбе, не обращая более на меня самого внимания, точно я был какой-то портящей вид кучей мусора, возмутило меня, а возмущение придало мне силы. Никто из этих лиц, имеющих административную власть, не хотел брать на себя столь грязную работу, а Лойко, который жаждал ее выполнить, я видел это по его глазам, не имел на то юридических прав... И я заговорил, заговорил впервые на планерке, звонким, чужим голосом в глубокой тишине, наступившей от неожиданности. И недруги мои, и сочувствовавшие мне, и те, кто были ко мне безразличны, например, Литвинов, в первые мгновения испытали общее чувство — удивление... Думаю, если б вбежал и заговорил вдруг пудель Ирины Николаевны, которого иногда приводила в управление ее дочь, то удивление было бы не большее.

— Три года, — говорил я, — сколько раз по две смены... В мороз да в холод, в дождь... А когда тонул экскаватор на кирпичном заводе, кто рядом сутки... Я даже денежную премию тогда получил (это было неумно, поскольку не соответствовало моей задаче показать постоянное ко мне бездушие). А на Кловском спуске, во время аврала... Вот спросите у Свечкова (это было неблагородно. Я втягивал Свечкова в общую компанию с собой, в то время, как дела мои стали плохи). И диспетчером меня посадили специально, чтобы я сгорел... Думаете, я не понимаю... К Райкову совсем другое отношение, потому что он бывший майор и партийный (это было самое нелепое заявление в моей нелепой речи. Шлафштейн здесь посмотрел на меня и укоризненно покачал головой. К тому ж отныне Райков превращался из человека, по обстоятельствам неплохо ко мне относящегося, в моего врага). И вообще, за что вы издеваетесь надо мной, за что вы невзлюбили меня (это был единственный искренний, идущий от души какой-то евангельский кусок моей речи, который мог бы возыметь действие на колеблющихся и возбудить к активности сочувствующих мне, если б я не допол-

нил этот искренний кусок угрозами и намеками). Это вам так не пройдет, — сказал я, — найдется на вас управа... Ваши махинации, запомните, я не слепой... Подождите... Придет время, — к счастью, спазма перехватила мне горло и я замолчал. Кажется, это заметили, потому что Коновалова заморгала ресницами и вздохнула.

В подобной концовке было, правда, и положительное зерно. Угрозы, исходящие от меня, человека в их глазах ничтожного, выглядели не только смешно, но как это ни странно, могли внести известное беспокойство в тех, кому они были адресованы, хотя бы потому, что эти люди менее всего ожидали подобного от меня. Ошибка же была здесь в конкретности моих угроз, в намеке на разоблачение неких махинаций, который как бы сплачивал против меня недругов и сочувствовавших мне. Я ведь знал, что известные нарушения совершают не только Коновалов, Юницкий или Лойко, но также и Шлафштейн, Сидерский, даже Свечков...

— Садись, Цвибышев, — сказал мне Брацлавский, еще раз доказав свою производственную закалку, — можешь писать куда хочешь, а пока не мешай нам проводить планерку... Действительно, ерунда получается. У нас десятки сложных вопросов, а мы занимаемся Цвибышевым...

Я прошел в угол, где оказался свободный табурет, и уселся подальше от моих бывших друзей: Свечкова, Сидерского и Шлафштейна. Я старался не смотреть на них, да и они не смотрели в мою сторону, занятые производственными делами, обсуждение которых, прерванное моим приходом, продолжалось. Едва усевшись, я сразу понял, что вел себя глупо и мне некого обвинять кроме себя. У меня странная привычка. Как говорят французы, я становлюсь умным тотчас же «на лестнице», то есть через мгновение после совершенной глупости. Сидя в углу, я разобрал мою речь, тезис за тезисом и сделал самые убийственные выводы, которые привел выше. Проанализировав все, я нашел таким образом, что мои друзья не виновны, как раз наоборот, перед Свечковым, например, виновен был я... Никто не имеет права во имя собственного спасения рисковать судьбой приятеля, не получив на то его согласия. Свечков любит свою работу, работает хорошо, начальство его уважает, ежемесячно получает, иногда даже два оклада премиальных... А ведь вначале отношение к нему было такое же, как и ко мне... О том рассказывала мне Ирина Николаевна... Даже стоял вопрос о его увольнении. Но парень сумел доказать свою пригодность и соответствие должности... Недавно он женился, родился ребенок... Какое же право я, человек одинокий, имею требовать от Свечкова каких-то действий в мою поддержку... Если он молчит сегодня, значит, понимает обстановку, сложившуюся на планерке, может, знает нечто, чего не знаю я... Может, выжидает... (все это подтвердилось. Не только Свечков, но и Шлафштейн, и Сидерский, и даже Коновалова, сестра моего главного гонителя, на следующий день ходили к Брацлавскому просить за меня. Я об этом узнал от Ирины Николаевны).

Планерка, между тем, кончилась. Я сидел в дальнем углу и, поскольку не мог выйти первым, переждал, пока вышли все, не желая ни с кем встречаться, даже с друзьями, не взирая на анализ в их пользу. Вопрос обо мне повис, может, благодаря моей нелепой речи, которая какое-то воздействие, тем не менее, возымела. Все приняло неопределенный характер. Являться ли мне завтра на объект (что было мучительно) или получать расчет (что было страшно)? Я вышел в секретарскую.

— Цвибышев, — вежливо и мягко сказала мне Ирина Николаевна, — вас Мукало просил зайти. — Терять мне было нечего, я вошел.

— Присаживайся, — сказал мне Мукало. Он обошел кругом стола и сел напротив меня в кресло, так что обстановка сразу создалась полуофициальная. — Видишь, что творится, — сказал Мукало доверительным, домашним тоном, — они если захотят съесть человека — съедят... Это между нами... Я тебе старался помочь, как мог... Евсей Евсеевич

(очевидно, приятель Михайлова, я же впервые слыхал это имя) Евсей Евсеевич именно мне звонил три года назад насчет тебя... Это еще хорошо, что Брацлавский тогда в отъезде был, а Юницкого я уговорил... Я б на твоем месте пошел к Евсею Евсеевичу и сказал... Такое и такое, мол, дело... Три года мне Мукало помогал... Теперь нет возможности... Он тебя в другое место устроит... Ого... При его положении... Вон, новое управление гидрострой организуется... А лучше всего, если он тебя в проектный институт... Там ты будешь на месте... А тут ты, извини меня, вроде между ног у всех болтаешься... Подай заявление, я тебе обещаю чистую трудовую книжку... Ни одного выговора на запишем... Я сам с Назаровым поговорю... Иначе Брацлавский тебе такое напишет... Уволен за развал работы и все... Тебе и так трудно устроиться на работу, а тут вовсе каюк...

— Когда писать заявление? — спросил я.

— А ты сейчас напиши, — тихо сказал Мукало все также доверительно, глядя мне в глаза.

Я старался отвечать ему тем же, радуясь, что неопределенность позади и выход найден. Надо было торопиться. Меня действительно могли уволить с самой нелестной характеристикой, и это могло повредить даже моим тайным планам поступления в университет. Непонятно было только, как я ранее не понимал и потратил столько сил на, в сущности, ненужную уже и бесполезную свою защиту. Впрочем, то, что я поехал сегодня в Кончую Заспу — хорошо, иначе неприятности, завершающие мое пребывание на этой работе, приняли бы еще более острый характер. Даже Мукало тогда, пожалуй, не помог бы... Я взял бумагу со стола и написал: «Прошу уволить меня по собственному желанию»). Это была глупая формулировка. Надо было написать: «Прошу уволить меня по личным обстоятельствам». Однако Мукало сразу же взял мое заявление, посмотрел и сказал:

— Вот и добре... Завтра же получите расчет (он впервые за три года сказал мне «вы». Я это отметил. «Вы» мне говорили лишь только я устроился, как им казалось, по высоким протекциям). — Возьмите у Ирины Николаевны бегунок.

Я вышел.

— Ну что, — спросила Ирина Николаевна.

— Дайте мне обходной лист, — сказал я.

Она как-то горестно вздохнула, доставая из ящика обходной.

— У вас с собой профсоюзный билет? — спросила она.

— Нет, но у меня все уплачено, — ответил я.

— Я вам верю, — снова вздохнув, сказала Ирина Николаевна и расписалась в графе — председатель месткома. Потом она расписалась пониже, в графе библиотека, которой заведовала по совместительству, но которой никто не пользовался.

Теперь, когда здешняя судьба моя решилась, Ирина Николаевна утратила свой холодный, официальный тон по отношению ко мне и снова смотрела на меня с участием, как некогда ранее, когда она мне покровительствовала.

Я вышел из конторы во двор, освещенный фонарями и вспышками электросварки... У ремонтировавшегося экскаватора высокий слесарь в распахнутой, несмотря на мороз, телогрейке бил молотом-балдой по металлической шайбе. От открытой груди его шел пар. Каждый удар он сопровождал резким выдохом-криком. Гулкий металлический звук лишь чуть ослабевал в воздухе, как слесарь вновь ударом доводил его до полной громкости, не давая угаснуть... По грязному, мазутному снегу, покрывающему комками асфальт двора, я пробрался, лавируя среди бочек, досок и обрезков металла, к воротам. Я шел быстро, чтоб как можно скорее оставить все это позади. Но едва я миновал ворота, как следом выехал грузовик, в кузове которого стояли Юницкий и Литвинов, держась руками за верх кабины.

— Цвибышев, — крикнул мне Юницкий, улыбаясь, — давай подвезем... Если тебе к центру...

Мне надо было к центру и на грузовике я экономил не менее получаса, поскольку от центра шел к нашему общежи-

тию прямой маршрут троллейбуса № 8 без пересадок. Мне предстояло еще переодеться и хоть что-либо перехватить, чтоб не прийти к Бройдам совсем уж голодным и есть вкусный обед, которым меня угостят, с жадностью. Я полез в кузов и сразу же, едва очутился там понял, что не следовало этого делать, хоть я и опаздывал. Предстояло еще минут пятнадцать находиться в обществе этих людей, которые стали мне особенно неприятны сейчас, после того, как я написал заявление и избавился от них. Даже Свечков был бы мне сейчас неприятен, поскольку и он связывал мое воображение со всем этим враждебным мне комплексом. Тем более Юницкий, от робости и неуверенности перед которым я по-прежнему не мог избавиться, очевидно, поняв разумом, но не ощутив еще сердцем, мое новое, независимое положение. И, откровенно говоря, питая некоторую надежду... Не буду кривить душой, из-за этой надежды, а не только из желания сэкономить полчаса, я и полез в кузов... Ибо едва написал заявление, как испытал приступ страха... Ведь вместе с моим унизительным, тяжелым положением, я потерял твердый кусок хлеба...

— Ну что, — улыбаясь спросил Юницкий, — будешь жаловаться на нас дяде...

— Нет у меня никакого дяди, — тихо сказал я, мучительно обдумывая, как бы перевести разговор в доверительное русло.

Может, и хорошо, что я полез в кузов вопреки моему первому впечатлению, подумал я. У Юницкого достаточно власти, и то, что после его выступления против меня, такого резкого, он захотел меня подвезти... Может, именно здесь все и образуется... Утрясется... И я буду потом рассказывать: решил уже, что все кончено, написал заявление... Выхожу, вдруг меня догоняет грузовик...

— Коновалов завтра собирается к тебе на объект, — сказал Литвинов.

Значит, ни Литвинов, ни Юницкий не знают еще, что я подал заявление, — подумал я, пытаясь определить, хороший ли это признак или плохой.

— Я подал заявление, — сказал я.

— Да ну, — искренне удивился Юницкий, — сам подал?

— Уволен по собственному желанию начальника, — сказал Литвинов и рассмеялся...

— По этому случаю надо выпить, — сказал Юницкий, улыбаясь (глядя на меня, он постоянно улыбается), — ты все-таки начинаешь новую жизнь...

Он постучал по верху кабины. Грузовик остановился у обочины. Мы сошли и направились к киоску.

— В разлив у нее нету, — сказал Юницкий, заглядывая внутрь, — придется целую бутылку покупать...

Я ощупью нашел в кармане две бумажки (сегодня я обедаю у Бройдов. Завтра можно обойтись без карамели к чаю и, кроме того, Витька Григоренко получает зарплату и поведет ужинать в честь своего дня рождения. Сэкономленную сумму можно смело вычесть из сейчас потраченной и, таким образом, окажется, что я потерял не очень много, ну два обеда, не более... Их можно вполне компенсировать, несколько урезав траты... Не брать, например, в обед компот... правда, теперь я вечерами не смогу ужинать в общежитии, поскольку вынужден приходить поздно... А ужин на ходу, в общественном месте всегда обходится дороже).

Погруженный в лихорадочное составление финансового баланса ввиду неожиданности и непредусмотренности серьезных затрат я на какое-то время даже потерял Юницкого и Литвинова из виду.

А между тем, Юницкий пил вино прямо из горлышка бутылки, облизывая языком губы.

— Хочешь, — спросил он Литвинова.

— Нет, нет, — сказал Литвинов, — ты меня в это дело не втягивай, я в этом деле не участвую... Чего я вообще в свидетели затесался...

И он пошел назад к грузовику. Юницкий допил вино и отдал мне пустую бутылку.

— Поставь куда-нибудь, — сказал он и тоже пошел к грузовику, — тебе дальше, может? — спросил он обернувшись.

— Нет, ответил я.

Едва грузовик уехал, как я огляделся, подошел к мусорному ящику и бросил туда бутылку. Я стоял невдалеке от одного из любимых моих бульваров. Если пойти по нему вверх и свернуть направо, можно очень скоро дойти до библиотеки. И вдруг, словно я очнулся от кошмара и, как бывает в таких случаях, когда после ночного кошмара мы просыпаемся, обрадовался, что наяву все по-иному, даже негромко засмеялся всем своим глупостям и страхам. В течение дня я вел себя как невменяемый. Я ведь давно уже решил уволиться, это была часть моего плана и на сегодняшнюю планерку шел с таким расчетом. Конечно, такой шаг не прост, кто ж противоречит, и может, то бытовое и мелкое, что сидит во мне, что выпирает наружу, что враждебно моей тайне, моему «инкогнито», моей идее, то бытовое и мелкое и жалкое, что сидит во мне, цеплялось за устойчивость и вселяло в меня страх перед решениями, губящими эту устойчивость. Тут-то и приходят на помощь нам случайные обстоятельства, совпадения, неудачи и опасности, против которых мы боремся из последних житейских сил, но если нам повезет, то боремся безуспешно, боремся неудачно и все это вместе заставляет нас идти той дорогой, о которой мы могли лишь мечтать, если б выиграли бы борьбу с житейскими неудачами и добились бы устойчивости…

Я понял, что сегодня сделал серьезный шаг навстречу своей идее... Идея моя была пока неопределенна, что-то мелькало изредка, и более конкретно, но в разных, часто противоположных ракурсах, и я вел себя по отношению к ней как скупец, не позволяя до поры до времени, даже в минуты душевного надлома, заглянуть внутрь и воспользоваться хоть крохой из моей идеи. Я не покривлю душой, если скажу, что для меня самого пока она была почти такой же тайной, как и для окружающих. Говоря образно, идея моя была чем-то вроде живого нежного существа, не приспособленного пока жить в окружающей меня суровой действительности, и я обогревал ее у себя на груди, не позволяя себе даже взглянуть на нее, а лишь ощущая... Впрочем, ощущения эти я иногда, последнее время позволял себе использовать в бытовой борьбе, о чем уже говорил выше... Это был опасный признак истощения жизненных сил... Но использовал в быту лишь ощущение идеи, а не саму идею, которую, может, потому инстинктивно сам не хотел до поры до времени увидеть и понять… Идея, — это было единственное, где я был математически точен и не совершил ни одного опрометчивого шага... Это я-то, с моим неустойчивым характером. Ощущение идеи мне было ясно: рано или поздно мир завертится вокруг меня, как вокруг своей оси. Но как и в какой плоскости и под каким углом, я не знал и не позволял себе знать, не доверяя своей твердости и умению соблюдать тайну. Одно я знал точно — выпусти я эту идею из своей души раньше времени и она погибнет… Вот чего следовало опасаться…

Борис ХАЗАНОВ

ХРОНИКА О КАРТАФИЛЕ

К числу наиболее поразительных и загадочных изобретений Корнелия Агриппы Неттесгеймского принадлежит проект хроноскопа. Сохранился чертеж этого устройства, имевшего отношение, как показывает его название, к феномену времени. Открытие учёного астролога и чернокнижника предвосхитило один из излюбленных сюжетов научно-фантастической литературы, хотя идея, вдохновившая Агриппу, и в его время была не нова; он мог почерпнуть её в сочинениях Роджера Бэкона, не без основания прозванного «странным доктором», — не говоря уже об Аристотеле и блаженном Августине.

Достоверность источника, из которого следует, что идею удалось осуществить, может быть оспорена. Согласно «Хронике о Картафиле» (большинство комментаторов относит её к 1535 году), прибор был продемонстрирован единственный раз при исключительных обстоятельствах. Около пяти часов пополудни в день, когда Солнце достигло десятого

градуса Тельца, учёный был отвлечён от занятий внезапным стуком в дверь. Сунув милостыню непрошеному гостю, он надеялся таким образом от него отвязаться, но тот отвечал, что пришёл не за этим. В ходе дальнейшего разговора выяснилось, что незнакомец был не кто иной, как тот, чьим именем хронист назвал свой рассказ.

Агриппа потребовал доказательств, что сделал бы каждый из нас на его месте. Какие доказательства, сказал гость, их нет. Старец пятнадцати веков от роду выглядит не старше, чем в восемьдесят лет. «Разве только это...» — добавил он, и оба взглянули на картину над дверью. Хозяин взобрался на стул и стал рассматривать через лупу толпу зевак, обступившую Лобное место, пока не обнаружил фигуру, на которую намекал Картафил. Время от времени он переводил взгляд с картины на гостя, как это делает в наше время полиция, проверяя документы. Когда экспертиза была закончена, Корнелий Агриппа слез со стула. «Хочешь поесть?» — спросил он. Гость покачал бородой. «Ты вообще-то чем-нибудь питаешься?» — «Конечно, — сказал Картафил, — но в данный момент я не голоден».

Агриппе хотелось спросить о многом, например, откуда художник мог знать, как выглядел Вечный жид. Он ограничился одним вопросом. Неужели старик всё помнит? «Не всё, только главное,» — сказал Картафил. Прогнав прочь от своего дома ложного мессию, который попросил поправить криво лежавший на плечах крестообразный брус, Картафил пошёл за толпой, хотя день был жаркий и душный, а он и тогда уже был не молод. Когда всё кончилось, — три виселицы стояли на холме, оцепленном легионерами. — произошла странная вещь. Думая о том, с кем из трёх преступников он разговаривал, когда сидел на крыльце, Картафил возвращался через Верхний город, он знал его как свои пять пальцев, но очутился за городской стеной, возле Змеиного пруда. Поворотив назад, вновь заблудился в лабиринте каменистых улочек и грязных дворов; так повторилось несколько раз. Домой он так и не вернулся.

«Странно, — промолвил Агриппа, — я слышал другую версию». Далее, если верить «Хронике», хозяин вел с посетителем ученый разговор о бессмертии. Строго говоря, отсутствие смерти имплицирует и отсутствие рождения, заметил он. Бессмертие предполагает бесконечность существования в обе стороны. Не умирает лишь тот, кто никогда не рождался, другими словами, тот, кто не сотворен. Не сотворен же единый Бог. В этом, по мнению Агриппы, заключалось слабое место в христианском учении о бессмертии души. «Осмелюсь напомнить, — сказал странник, — что я не христианин. Хочешь ли ты сказать, что и моя жизнь когда-нибудь окончится?» Ученый потер лоб. «Видишь ли, — проговорил он. — Если бы ты был в самом деле бессмертен, как утверждает молва...» — «Разве здесь обо мне знают?» — перебил гость. «Конечно, — усмехнулся Агриппа. — Так вот: если бы ты действительно был бессмертен, это значило бы, что времени для тебя не существует, другими словами, ты не обладал бы никакой памятью о прошлом. Вот почему я спросил, помнишь ли ты, что с тобой было... Для тебя не должно было бы существовать ни прошлого, ни настоящего, ты жил бы как во сне. Я усматриваю здесь еще одну неувязку в нашем учении о Боге, точнее, о взаимоотношениях Бога и человеческой истории. Вечность Бога имплицирует беспамятство». — «Оставь своего Бога в покое! Ты не ответил». — «Да, — сказал Агриппа. — Да, я думаю, что твой путь будет окончен». — «Когда?» — «Я думаю, — сказал Агриппа, — что это произойдет, когда с тебя будет снято проклятье. Как только рухнет Тот, кто обрек тебя на скитания». — «Он не рухнет, о чем ты говоришь? — буркнул гость, завесившись седыми бровями. — Они подкупили стражу и ночью тайком похоронили его, чтобы потом рассказывать, что он попрал смерть, воскреснув из мертвых. И таки да, он попрал смерть! Если бы его не казнили, он рано или поздно разоблачил бы сам себя, его поклонники первыми отвернулись бы от него. А казнь превратила его в святого, в мученика, в пророка. Мертвому можно

приписать все что угодно. Можно даже объявить его богом ...» — «Если ты прав, то лишь в том смысле, что после того как он умер, он уже не может умереть во второй раз. Смерть, так сказать, условие его существования. И все-таки, — сказал Корнелий Агриппа, — он рухнет».

В этом месте автор «Хроники о Картафиле» (вероятнее всего, сам Агриппа) делает пространное отступление, живописуя муки совести, которые испытал впавший в ересь ученый, прежде чем раскаялся и вернулся в лоно церкви. Смысл отступления ясен — предупредить гнев и раздражение возможного читателя по поводу дальнейшей беседы. Агриппа разъясняет гостю, что окончательное поражение — он употребляет слово «падение», casus, словно имеет в виду буквальное падение с креста, — окончательное поражение Распятого произойдет тогда, когда завершится путь Вечного народа. Ибо христианство существует лишь до тех пор, пока жив народ, который его породил и который служит для него вечным упреком. Гибель этого народа будет последним и окончательным посрамлением нашего святого учения — гибелью христианства. «Я думаю, — добавил Агриппа сокрушенно, — что этого не избежать».

«Вот, вот, — внезапно оживился Картафил, которого это странное пророчество даже как будто обрадовало, — ради этого я и пришел!»

«Ты бы хотел знать подробности?»

«Нет, — ответил Картафил, — будущее меня не интересует. Мне важен факт».

«Как! — сказал Корнелий Агриппа. — Тебе неинтересно знать, что случится с твоим народом? Могу сказать. Его сожгут в печах. Всех соберут в одно место, вместе с ветхими стариками и грудными детьми, и сожгут. И Он будет среди них — если Он в самом деле воскрес. Ведь в конце концов Он тоже из вашего племени. Но на этот раз Он умрет окончательно».

«Мне это безразлично, — пробормотал старец. — Меня не интересует, что будет с этим вашим пророком. Тычут мне в глаза...»

«О чем ты?» — спросил Агриппа.

«Да все о том же. Тычут мне в глаза: проклят, проклят. А в сущности, должны были бы мне сказать спасибо. Ведь я единственный, кто его видел. Какие у вас есть доказательства? — сказал Картафил. — Никаких. Слухи, сплетни, рассказы не заслуживающих доверия людей, не говоря уже о том, что и они по большей части записаны с чьих-то слов... А я живой свидетель. Единственный, кто видел его своими глазами и может сказать, что он, по крайней мере, существовал, кем бы он ни был...»

Долгая речь утомила старца. Взор его потух, лысая загорелая голова свесилась на грудь. Спустя немного времени легкий храп нарушил тишину. Агриппа встал и начал ходить по комнате.

«Кхм, — произнес Картафил. — На чем мы остановились?»

«Мы говорили о будущем...» — сказал Агриппа.

«О будущем. Кому оно нужно, это будущее? У того, кто тащит на своих ногах, словно разбитую обувь, полторы тысячи лет, нет сил загадывать будущее. Но меня утешает то, что я слышу. Я был бы тебе чрезвычайно признателен, если бы ты мне назвал хотя бы только цифру. Сколько мне еще осталось?»

Сомнение приличествует науке, как девушке — стыд. Помедлив, глядя в пол, ученый назвал цифру.

Вечный жид сказал:

«Ну что ж, это во всяком случае меньше, чем мне пришлось прожить. Бог даст, как-нибудь дотерплю. Дотерплю как-нибудь... Туда, сюда...» Речь его снова перешла в невнятное бормотанье, и хозяин подумал, что придется устраивать старика на ночлег. Но прошло немного времени, странник ожил. И даже произнес, как ни в чем не бывало, бодрым голосом следующий монолог.

«Не обращай внимания, любезный Агриппа, — сказал он, — если время от времени я выключаюсь из нашего чрезвычайно интересного разговора. Это случается и с людьми моложе меня... Видишь ли, я страдаю бессонницей, порой не сплю несколько месяцев подряд. И лишь такой кратковременный отдых позволяет мне восстанавливать силы. Во всяком случае, я сохраняю над собой контроль и, надеюсь, еще не впал в слабоумие. А иногда я вижу сны. Из-за того, что мой сон некрепок, мои сновидения необычайно ярки, так что если бы я каждый раз видел во сне одно и то же, я, пожалуй, не мог бы решить, какой из двух миров реален: мир моего бодрствования или мир видений!»

«Любопытная мысль, — отозвался Агриппа. — Но, кажется, ты хотел объяснить, чему я обязан честью твоего визита».

«Я к тому и клоню. Quid sit futurum eras, fuge quaerere...* видишь, и я кое-что помню. Как ты полагаешь: можно доверять снам?»

«Если ты имеешь в виду то, что народное суеверие называет вещими снами, то мое мнение именно таково: это суеверие. Однако я думаю, что поэт говорил не о разгадывании снов».

«А о чем же?»

«Он имел в виду научное предсказание будущего и... предостерегал против неосторожных прогнозов».

«Понимаю, — сказал Вечный жид. — Ты жалеешь о том, что был чересчур разговорчив. Выдал тайну... Успокойся. С меня достаточно знать, что проклятие будет снято. Странно, — продолжал он, — я пришел издалека, а ты даже не спрашиваешь меня ни о чем! Ты бы мог воспользоваться этим случаем хотя бы для того, чтобы проверить, не обманывает ли тебя твое, э-э... волшебное стекло, вот этот бычий глаз...»

Старик указал корявым пальцем в угол, и здесь, собственно, начинается главная часть рассказа. Следует признать, что она не вполне вяжется со всем предыдущим. Это даже подало повод некоторым исследователям считать, что мы имеем дело с контаминацией двух текстов. Из разговора со знаменитым философом и чародеем пришелец, как мы только что слышали, узнает о том, что его странст-

* «Что завтра будет, лучше не спрашивай».

виям наступит конец. В этом состоит логическое ядро рассказа, независимо от его достоверности, — или, если угодно, его художественный смысл: желание измученного старика, прослышавшего о том, что Агриппа владеет тайной будущего, узнать, когда, наконец, ему будет даровано успокоение. И он получает ответ: когда погибнет его народ. Ибо проклятье, которое произнес над ним Иисус, оказывается и проклятьем, произнесенным над христианством.

Здесь можно усмотреть намек на главный парадокс легенды о Вечном жиде: он приходит, чтобы сообщить как единственный живой очевидец, что Спаситель был не тот, за кого он себя выдавал, но самое явление легендарного скитальца есть непрерывное, длящееся много веков и неумирающее свидетельство о Христе. Некоторые склонны видеть в этом противоречии парадокс самого еврейства.

Не избежал противоречий, как легко заметить, и автор «Хроники о Картафиле». Чтобы ослабить впечатление от пророчества Агриппы, автор вкладывает в уста гостя слова о том, что будущее его не интересует. Выходит, Картафил явился вовсе не за тем, чтобы узнать, что его ожидает? Он цитирует Горация (что вовсе уж странно в устах палестинского еврея), чтобы напомнить Агриппе — а вернее, читателю, — что цель его визита иная. Какая же? Подобных несообразностей немало в рассказе хрониста. Думается, что им можно дать только одно объяснение. Историческое известие незаметно для самого летописца съезжает на колею искусства. Перед нами любопытный феномен борьбы художника с действительностью; побежденной оказывается действительность.

Гость показывает пальцем на угол комнаты, точнее, на углубление вроде алькова, наполовину задернутое занавеской. Ах, вот в чем дело.

И тут внезапное подозрение закрадывается в душу Корнелия Агриппы. Он понимает, что стал жертвой наваждения и обмана. Мало ли было проходимцев, выдававших себя Бог знает за кого, за Бутадеуса, за Рюбецаля, за бессмертного странника, который чуть ли не видел своими глазами пожар Трои! Кто может лучше знать цену этим рассказам, чем муж науки? Поглядывая на гостя, Агриппа прикидывает соотношение сил: бродяге по меньшей мере семьдесят, но кто же не знает, что старики любят притворяться немощными. Вышибить окно и звать на помощь? Чернь ворвется в дом. И без того молва называет его чернокнижником.

Гость раскашлялся. «Ты угадал, — прохрипел он, — именно ради этого я здесь. — Наступила пауза. Он продолжал: — Нет, я не сомневаюсь, что твое стекло показывает правду, иначе зачем бы я стал тебе докучать? Но не думай, что я хочу выведать, что меня ждет. Я уже сказал, мне на эти подробности наплевать».

«Это было бы все равно невозможно», — заметил Корнелий Агриппа.

«Почему?»

«Это связано с принципом действия аппарата. Точнее, с природой времени».

«Но как же тогда... Откуда же ты...?»

Автор «Хроники» пишет, что Агриппа преодолел страх, не вполне понимая, как ему это удалось.

«Откуда я знаю, что будет через четыреста лет? — сказал он. — Я пришел к этому выводу путем вычислений. Будущее содержится в настоящем, как свойства треугольника в его определении. Можно также сказать, что будущее записано в настоящем, как музыка записана в нотах. Не спрашивай меня о композиторе; быть может, единственно достоверное, что мы о нем знаем, это то, что он существует... Звездное небо и океан истории — вот великая партитура будущего», — сказал Агриппа и, откинув занавес, показал своему гостю сооружение, о котором хронист говорит, что его необычайность не бросалась в глаза.

Картафил сказал: «Я многому был свидетель, я видел столько, что человеческая память не может это вместить, даже если бы это была память юноши. И моя жизнь тонет в прошлом, как эта комната погружается в сумерки. Но тебе

достаточно зажечь в ней лампаду, я имею в виду светоч твоей удивительной науки, и вещи и лица вновь откроются взору. Покажи мне лучшее из того, что видели мои глаза. И я пойду, я засиделся...»

Бледное сияние поднимается, как пар, от стекла. Внутри растет полупрозрачный кристалл, и наступает момент, когда кажется, что кристалл висит в воздухе перед стеклом. Изобретатель предупреждает, что это всего лишь оптический эффект.

«Правду говорят о тебе, о да, — промолвил Картафил. — Не зря я тащился за тридевять земель... Эти стены из розового и желтого камня, двери кипарисового дерева, резные херувимы, пальмы и цветы, эти ряды колонн справа и слева от входа... Веришь ли, я все это видел!»

«Ты и сейчас видишь,» — усмехнувшись, сказал Агриппа.

«Да, но ведь этого больше нет».

«Что значит — нет?» — возразил ученый.

Меркнет свет, все кончилось, но ведь и то, что великое творение рук человеческих исчезло с лица земли, могло быть иллюзией. В комнате уже совсем темно, слышен стук колес за посветлевшими окнами. Пахнет пылью и чем-то напоминающим запах после грозы. Несколько времени проходит в обоюдном молчании. А затем стекло или, может быть, зеркало начинает опять светиться. Светлый пар поднимается от стекла. Висит в воздухе наполненный янтарной смолой, жидким огнем октаэдр, и когда глаза привыкают к сиянию, становится видно, что это солнце с безмерно широких небес заливает огнем Иудейскую долину. «Не довольно ли, — раздается голос Агриппы, — не устал ли ты, Агасфер?»

«Я устал», — отвечает старец.

«Это рискованный опыт! Тебе придется быть соучастником того, что происходит. Только так ты сможешь увидеть прошлое».

Картафил кашляет и кивает лысой головой.

«Хорошо, ты скажешь мне, когда будет невмоготу. Отодвинься, освободи место...»

Дед, кряхтя, тащит кресло в угол.

«Но я отсюда ничего не увижу».

«Увидишь. Я увеличу кристалл».

Реплики гостя (мы опускаем здесь, как и в других местах, большую часть пространного диалога) позволяют лишь догадываться о том, чего автор не договаривает. Можно предположить, что чудеса, продемонстрированные Агриппой, — храм Соломона, по общему мнению, превосходивший все созданное человеческими руками, и пейзаж, который больше чем любое другое место на земле мог напомнить Эдем, — не утолили жажду странника пережить заново лучшие мгновения своей долгой жизни. Оставалось нечто, затерянное в подвалах памяти вечного старика, что он надеялся отыскать с помощью чародея.

Стекло остыло, требуется время для того, чтобы с его поверхности начал испаряться еле заметный свет. Патриарх в своем кресле кажется умершим. Что-то происходит в глубине, кристалл висит как бы по обе стороны стекла, словно предмет и его отражение в зеркале, но отраженным нужно считать то, что ближе к нам. Следовательно, мы находимся по ту сторону зеркала. Мы сами — чье-то отражение. Подобные явления известны, что и позволяет объяснить рассказ хрониста с позиций современной оптики и стереометрии мнимых изображений. То, что предстало глазам зрителя, есть следствие физических законов, но также образ, созданный им самим, ибо «игра лучей в кристалле стала частью его внутреннего зрения»: своеобразное подтверждение слов Корнелия Агриппы о том, что всякий созерцающий стекло должен превратиться из наблюдателя в соучастника, иначе говоря, прошлое не есть нечто существующее вне нас, и его истина — это мы сами.

Чародей поглаживает щеки и подбородок, почти лишенные растительности, между тем как смолистый октаэдр, словно медленно зреющий плод, висит посреди комнаты. «Я обязан еще раз тебя предупредить...» — произносит Агриппа.

«Я обязан тебя предупредить, — повторил он, не обращая внимания на протестующий жест того, кто сидел в кресле, — это опасно. Ты скажешь, что тебе нечего боятся, но и ты не защищен от безумия... Перед тобой нечто дерзновенное, нечто такое, что представляет собой отступление от мирового порядка, подобно тому, как ты сам — отступление от мирового порядка. Видишь ли, меня давно соблазняла мысль воспроизвести в эксперименте то, о чем говорит Августин: id quo esse aut cogitari melius nihil potest, то есть «то, лучше которого ничего не может быть и невозможно себе представить». Имеется в виду абсолютное, субстанциональное и неизменяемое бытие, и если ты вспомнишь о том, что такого рода бытие он считает прерогативой Бога, то поймешь, сколь опасно было мое предприятие... Абсолютное бытие есть не что иное как вечность, актуализированная в настоящем, другими словами — вечно длящееся настоящее. В рамках такого бытия не существует событий, которые безостановочно проваливаются в яму прошлого. Событиям возвращается их первоначальный смысл; вдумайся в это слово: со-бытие, нечто сосуществующее, а не исчезающее. Ты видел Храм: несмотря на то, что он сгорел и был разрушен, он существует вечно; он исчез во времени, но стоит целый и невредимый в вечности. Я иду путем, противоположным тому, которым следует большинство философов и богословов. Как и они, я отправляюсь от общих истин, исхожу из теории; ибо это царский путь всякого исследования. Но они используют умозаключения для доказательства бытия Божия, например, ссылаются, вслед за Ансельмом, на необходимость совершенного бытия, чтобы отсюда заключить, что Высшее существо не может не существовать; они доказывают Бога, как Эвклид — свои теоремы. Я же, напротив, исхожу из аксиомы существования Бога, чтобы умозаключить, что абсолютное, неразрушимое и не исчезающее в воронке времени бытие есть такая же несомненная реальность, как реальны мы с тобой. Как человек науки я исхожу из убеждения, что все, что реально существует, в принципе может быть воспроизведено. Но, — внимание, Картафил, я возвращаюсь к тому, с чего начал, — но создав модель такого бытия, я столкнулся с явлением, которое, по-видимому, имеет огромное философское значение (и, несомненно, будет оценено, когда теология из чисто умозрительной дисциплины превратится в экспериментальную науку), однако в моих собственных опытах поставило меня на грань опасности, перед которой бледнеют все ужасы наших дней. Итак, не буду тебя пугать, хотя вряд ли есть что-нибудь, способное внушить тебе страх, — скажу прямо: моя, так сказать, лабораторная вечность, воссозданная в этом кристалле, едва только я сумел ее актуализировать, начала продуцировать собственное время! Позже, листая Confessiones, поистине бессмертную книгу, я нашел объяснение этому чудовищному феномену. Извини, но я вынужден снова сделать несколько необходимых разъяснений. Августин задается вопросом, почему Бог не сотворил мир раньше, чем он сделал это на самом деле. Его ответ так же прост, как и неожидан. Потому что, с точки зрения божественного, абсолютного бытия понятий «раньше» или «позже» не существует: абсолютное бытие, как мы уже сказали, существует вне времени. И далее он говорит, что невозможно представить себе, чтобы творец предшествовал времени, ибо это означало бы, что и творец соотносится с временем, иначе говоря, подчинен ему. Что же из этого следует, как не то, что творец по необходимости создал наш временный мир, что он, ежели на то пошло, был обречен исторгнуть из себя этот мир, сущий во времени? Ибо в противном случае Бог существовал бы до мира, а это противоречит исходной посылке — его пребыванию не «до» и не «во время» преходящего времени, а вне его. Другими словами, абсолютное и неизменяемое бытие не может не порождать время, Диву даюсь, как я мог упустить это из виду».

«Ты видел, вернее, ты мог бы видеть, если бы я вовремя не прервал сеанс, как Храм начал гореть, как солдаты тащили осадные лестницы, до тебя могло донестись их тя-

желое дыхание и хриплая брань. Это и есть то, о чем я говорю... В кристалле родилось и потекло время. Вот отчего я должен был прекратить демонстрацию, прежде чем ты это заметил. Увидеть прошлое может лишь тот, кто восстановит его как элемент вечности, как достояние абсолютного бытия. Но проклятие вечности состоит в том, что она неустанно сеет драконьи зубы времени. И я обязан тебя предостеречь. Я знаю, — продолжал Агриппа, — о чем ты просишь, знаю, кого ты хочешь увидеть перед уходом, но имей в виду: как только она появится, время возникнет и потечет в кристалле. А так как ты не останешься сторонним зрителем, это второе время увлечет и тебя. Тебе захочется жить и действовать... Действовать в определенном смысле... Ты, должно быть, уже не помнишь, что значит желание обладать. Ты забыл, что это такое... Ты вспомнишь об этом! Ты запылаешь от страсти! Желание, которое тебя охватит, будет сильнее всех вожделений, какие тебе когда-нибудь приходилось испытывать, вернее, все вожделения, давно угасшие, разом воскреснут в тебе, ибо то, что ты увидишь, еще менее сделает тебя способным остаться простым созерцателем, чем зрелище Иудейской долины. Красота убивает, друг мой Картафил...»

«Но меня нельзя убить, — сказал гость сокрушенно. — Я бессмертен...»

«Тем хуже. Ты будешь жарится на адском огне, не сгорая. На огне вожделения. И никакими способами, ни даже сам с собой ты не сможешь его остудить. Так же, как не сумел бы и я...»

«Да?» — удивлся Картафил.

«Обо мне ходят всякие толки... Например, ты можешь услышать, что на меня набросился дьявол в образе черного пса с огненными глазами и причинил мне увечье, которое несчастный Абеляр в истории своих бедствий называет жесточайшим и позорнейшим. Это вздор. Бедный пудель пал жертвой народного суеверия. Представляешь себе, они убили его палками; они сами, если на то пошло, не лучше

дьявола. Дьявол простонародья... Но я в самом деле не мужчина, кошель мой пуст. Видишь ли, я принадлежу к касте обладателей знания. Как человек образованный ты должен знать предписание Талмуда: простолюдин может спать с женой каждую ночь, а ученый — только раз в неделю. Ученому моего ранга вообще не следует спать с женщиной. Но этого мало. Знание требует радикального отказа от любви, иначе женское тело покажется целым миром, а мир — подобием женского тела».

Кристалл растет и постепенно растворяется в воздухе.

«Величайшая насмешка над человеческим естеством, — донесся голос Агриппы, — состоит в том, что с годами человек теряет способность соединения, но не избавляется от желания. Он жаждет, но не имеет уст, чтобы утолить жажду. Как Тантал, он умирает от голода, но у него нет сил вкусить от висящих плодов. Вглядись внимательней».

«Я ничего не вижу».

«Терпение. Сосредоточься».

«Но я в самом деле ничего не вижу. Я уже и кристалл не вижу».

«Это потому, что ты внутри кристалла».

Когда некоторое время спустя Агриппа окликнул гостя, ответа не было; старец сидел, расставив ноги в сандалиях, в глубокой задумчивости, и смотрел в пол.

«Ты спишь?»

«Нет. Я вспоминаю. Вернее, пытаюсь припомнить, о чем именно я вспоминал».

«Видишь ли ты кристалл?»

Вечный жид поднял голову.

«Еще один?» — спросил он.

«Да. Сейчас они совместятся. Внимание, Картафил. Не пытайся встать, не двигайся. Ни в коем случае не вставай. Смотри в одну точку. Дай глазам привыкнуть к слабому свету. Теперь осторожно перемещай взгляд, не отходя далеко от точки. Перемещай взгляд кругами.»

«На ложе моем искала я того, которого любит душа моя. Искала и не нашла...»

«Что это?» — сказал Картафил.

«...Встану же я, пойду по городу, по улицам и площадям, и буду искать того, которого любит душа моя.»

Прошло несколько долгих минут, прежде чем нищий бродяга, справившись с собой, заговорил, вперяя взгляд в пустоту:

«Не имеет никакого значения, сплю я или бодрствую. И даже не имеет значения, жив ли я вообще. Да, ты был прав... и если ты и вправду якшаешься с сатаной, да будет благословен твой покровитель. Теперь я помню. Нам было обоим по пятнадцати лет, и родители наши были двоюродные братья. И дома наши были рядом, и совсем близко, на одном склоне находились наши виноградники. И сад моего отца был отгорожен стеной от их сада. Я вспомнил. Все остальное, поверь мне, не имеет никакого значения».

«Встретили меня стражи, обходящие город. Не видали ли вы его?»

«Кто это, — сказал Вечный жид, — восходящая от пустыни как бы столбы дыма? Я чую запах мирры и ладана».

«Черна я, дочери иерусалимские, но красива. Не смотрите на меня, что я смугла: это солнце опалило меня. Братья поставили меня стеречь виноградники, — своего виноградника я не уберегла».

«Запертый сад — сестра моя, невеста, запечатанный источник. Поднимись, ветер, повей на сад мой, и польются его ароматы».

«Я сплю, а сердце мое бодрствует. Вот голос моего возлюбленного: отвори мне, сестра моя, голубица моя; голова моя вся покрыта росой, кудри — ночною влагой. Но уже скинула я хитон мой, как же мне опять надевать его, вымыла ноги, как же мне марать их? Я сплю, и плоть моя спит во мне».

«Пришел я в сад, невеста моя! Отвори, голова моя покрыта росой, я продрог».

«Я встала, и с перстов моих капала мирра на ручку замка. Отперла я, но возлюбленный мой повернулся и бежал прочь»

«Сильна, как смерть, любовь, и я испугался, что умру».

«На ложе моем ночью искала я того, которого любит душа моя, искала и не находила его, звала, но он не отзывался... Заклинаю вас, дочери иерусалимские, если вам повстречается возлюбленный мой, скажите ему».

«Прекрасна ты, возлюбленная моя, любезна, как Иерусалим, грозна, как полки со знаменами. Очи твои, словно черные озера. Уклони очи твои от меня, потому что они волнуют меня».

«Голос возлюбленного моего! Вот он идет. Друг мой похож на серну или на молодого оленя. Вот он стоит у нас за стеною, заглядывает в окно, мелькает за решеткой. О, если бы ты был мне брат, сосавший грудь матери моей! Я целовала бы тебя на улице, у всех на виду, и никто бы не осуждал меня. Что яблоня между лесными деревьями, то возлюбленный мой между юношами. Подкрепите меня вином, освежите меня яблоками, ибо я изнемогаю от любви».

«Кто эта, блистающая, как заря, грозная, как полки со знаменами? Прекрасна ты, возлюбленная моя, и волосы твои, как стадо коз, сходящих с Галаада. Как половинки граната, щеки твои, и зубы — как стадо овец, выходящих из купальни».

«Мой возлюбленный сошел в сад свой! Левая рука его у меня под головой, а правая обнимает меня».

«О как прекрасны ноги твои в сандалиях, округление бедер твоих, как ожерелье, живот твой — круглая чаша. Запах от ноздрей твоих, как от яблок, уста твои — вино. Этот стан твой похож на пальму, и груди твои — на виноградные кисти».

«Левая рука его у меня под головой, правая ласкает меня.

Братья поставили меня стеречь виноградники — своего виноградника я не уберегла».

«Два сосца твоих — как два козленка, как двойни серны. Чрево твое — ворох пшеницы. Положи меня, как печать, на сердце твое, как перстень, на руку твою. Прими меня, как усталого путника, в шелковистые травы, долог был мой путь, ступни мои ноют, язык жаждет от зноя».

«Будь осторожен, не затопчи моих лилий. Раздвинь их посохом своим. Жаждой своей утоли мою жажду».

«Прекрасно раздвоение ног твоих, как дымок из чащи, поднимается от них свежий аромат, изливаясь, ласкает ноздри. Прекрасна ты вся, и кожа твоя, словно кожица абрикоса».

«Соком зари забрызгал возлюбленный лепестки лилий. Капли крови на моих лепестках. Я привстала, чтобы отпереть возлюбленному моему. Пусть взойдет его семя в моем саду».

«Как любезны ласки твои, сестра моя, невеста. Сотовый мед каплет из уст твоих, и благоухание кожи твоей подобно запахам Ливана. Груди твои стоят, как башни. Глаза твои, как черные озера. Живот — как чаша слоновой кости. Раздвоение ног твоих — прохладный источник».

«Отперла я возлюбленному моему, а он повернулся и ушел. Заклинаю вас, дочери иерусалимские, если вы встретите возлюбленного моего, скажите ему: я изнемогаю от любви...»

«Я вспомнил, — прошептал Картафил. — А все, что было потом, не имеет значения».

Радость открытия испытывает редакция, предлагая читателю поэму Тимура Кибирова «Сквозь прощальные слезы». Произведение это — особого рода, особого жанра. И об авторе его можно говорить как о человеке особого таланта, оценить который и предлагается читателю. Радует же оно нас не только своей пронзительной, обжигающей силой, когда голос поэта, его слезы и смех вырываются словно из самого чрева современной России, но и светлым ощущением неизбывности, неиссякаемости ее талантов.

Тимур КИБИРОВ

Людмиле Кибировой

СКВОЗЬ ПРОЩАЛЬНЫЕ СЛЕЗЫ

«Когда погребают эпоху,
Надгробный псалом не звучит,
Крапиве, чертополоху
Украсить ее предстоит.
А после она выплывает,
Как труп на весенней реке, —
Но матери сын не узнает,
И внук отвернется в тоске.»

Анна Ахматова

ВСТУПЛЕНИЕ

Пахнет дело мое керосином,
Керосинкой, сторонкой родной,
Пахнет «Шипром», как бритый мужчина,
И, как женщина, — «Красной Москвой».
(Той, на крышечке с кисточкой), мылом,
Банным мылом, да банным листом,
Общепитской подливой, гарниром,
Пахнет булочной там, за углом.
Чуешь, чуешь, чем пахнет? — Я чую,
Чую, Господи, нос не зажму —
«Беломором», Сучаном, Вилюем,
Домом отдыха в синем Крыму!

Пахнет вываркой, стиркою, синькой,
И на ВДНХ шашлыком,
И глотком пертусина, и свинкой,
И трофейным австрийским ковром,
Свежеглаженным галстуком алым,
Звонким штандыром на пустыре,
И вокзалом, и актовым залом,
И сиренью у нас на дворе!
Чуешь, сволочь, чем пахнет? — Еще бы!
Мне ли, местному, нос воротить! —
Палитурой, промасленной робой,
Русским духом, ебать-колотить!
Вкусным дымом пистонов, карбидом,
Горем луковым и огурцом,
Бигудями буфетчины Лиды,
Русским духом, и страхом, и мхом,
Заскорузлой подмышкой мундира,
И гостиницей в Йошкар-Оле,
И соляркою, и комбижиром
В феврале на холодной заре,
И антоновкой ближе к Калуге,
И в моздокской степи анашой,
Чуешь, сука, чем пахнет?! — и вьюгой,
Ой, вьюгой, воркутинской пургой!
Пахнет, Боже, сосновой смолою,
Ближним боем да раной гнилой,
Колбасой, колбасой, колбасою,
Колбасой — все равно колбасой!!
Неподмытым общаговским блудом,
И бензином в попутке ночной,
Пахнет Родиной — чуешь ли? — чудом,
Чудом, ладаном, Вестью Благой!
Хлоркой в пристанционном сортире,
Хвоей в предновогоднем метро,
Постным маслом в соседской квартире
(Как живут они там впятером?
Как ругаются страшно, дерутся...)
Чуешь — Русью, дымком, портвешком,
Ветеранами трех революций,
И еще — леденцом-петушком,
Пахнет танцами в клубе совхозном
(Ох, напрасно пришли мы сюда!)
Клейкой клятвой листвы, туберозной
Пахнет горечью, и никогда,

Навсегда -- канифолью и пухом,
Шубой, Шубертом... Ну, заебал!
Пиром духа, пацан, пиром духа,
Как Некрасов В.Н. написал!
Пахнет МХАТом, и пахнет бытовкой,
Люберецким дурным кулаком,
Елисеевским и Третьяковкой,
Русью пахнет, судьбою, говном.
Черным кофе двойным в ЦДЛе
Врешь ты все! — ну, какао в кафе.
И урлой, и сырою шинелью
В полночь на гарнизонной губе.
Хлорпикрином, заманом, зарином,
Гуталином на тяжкой кирзе,
И родимой землею, и глиной,
И судьбой, и пирожным безе.
Чуешь, чуешь, чем пахнет? — Конечно!
Чую, нюхаю — псиной и сном,
Сном мертвецким, похмельем кромешным,
Мутноватым грудным молоком!
Пахнет жареным, пахнет горелым,
Аллергеном — греха не таи!
Пахнет дело мое, пахнет тело,
Пахнут слезы, Людмила, мои.

ГЛАВА 1

«Купим мы кровью счастье детей»
П. Лавров

Спой же песню мне, Глеб Кржижановский!
Я скозь слезы тебе подпою,
Подскулю тебе волком тамбовским
На краю, на родимом краю!
На краю, за фабричной заставой
Силы черные злобно гнетут.
Спой мне песню, парнишка кудрявый,
Нас ведь судьбы безвестные ждут.
Это есть наш последний, конечно,
И единственный, видимо, бой.
Цепи сбрасывай, друг мой сердешный,
Марш навстречу заре золотой!
Чтоб конфетки-бараночки каждый
Ел от пуза под крышей дворца —
Местью правой, священною жаждой
Немудрящие пышут сердца.

Смерть суровая злобным тиранам,
И жандармам, и лживым попам,
Юнкерам, гимназисткам румяным,
Толстым дачникам и буржуям!
Эх, заря без конца и без края,
Без конца и без края мечта!
Объясни же, какая такая
Овладела тобой правота?
Объясни мне, зачем, для чего же,
Растирая матросский плевок,
Корчит рожи Европе пригожей
Сын профессорский, Сашенька Блок?
Кепку комкает идол татарский,
Призывая к порядку Викжель,
Рвется Троцкий, трещит Луначарский,
Только их не боюсь я уже!
Я не с ними мирюсь на прощанье,
Их-то я не умею простить.
Но тебя на последнем свиданьи
Я не в силах ни в чем укорить!
Пой же, пой, обезумевший Павка,
И латыш, и жидок-комиссар,
Ясный сокол, визгливая шавка,
Голоштанная, злая комса!
Пой же, пой о лазоревых зорях,
Вшивота, в ледяном Сиваше.
Пой же, пой, мое горькое горе,
Кровь на вороте, рот до ушей!
Мой мечтатель-хохол окаянный,
Помнят псы-атаманы тебя,
Помнят гордые польские паны,
Только сам ты не помнишь себя.
Бледный, дохлый, со взором горящим,
Пой, селькор, при лучине своей,
Пой, придуманный, пой, настоящий
Глупый дедушка Милы моей!
Мой буденовец, чоновец юный,
Отложи «Капитал» хоть на миг,
Погляди же, как жалобно Бунин
На прощанье к сирени приник!
Погоди, я тебя ненавижу,
Не ори, комиссар, замолчи!
Черной молью, летучею мышью
Плачет дочь камергера в ночи!

И поет, что поломаны крылья,
Жгучей болью всю душу свело,
Кокаина серебряной пылью
Всю дорогу мою замело!
Из Кронштадта мы все, из Кронштадта,
На кронштадтский мы брошены лед!
Месть суровая всем супостатам,
Ни единый из нас не уйдет!
И отравленным черным патроном
С черной челочкой Фани Каплан
На заводе, заметь — Михельсона!
разряжает преступный наган.
Эй, поручик, подайте патроны,
Оболенский, налейте вина!
В тайном ларчике ваши погоны
Сохранит поэтесса одна.
Петька Анке показывал щечки,
Плыл Чапай по Уралу реке.
Это есть наш последний денечек,
Блеск зари на холодном штыке!
И куда же ты яблочко катишь?
РВС, ВЧК, РКК.
Час расплаты настал, час расплаты,
Так что наша не дрогнет рука!
И, подвысив звенящие шашки,
Рубанем ненавистных врагов —
Ты меня — от погона до пряжки,
Я тебя — от звезды до зубов.
Никогда уж не будут рабами
Коммунары в сосновых гробах,
В завтра светлое, в ясное пламя
Вы умчались на красных конях!
Хлопцы! Чьи же вы все-таки были?
Кто вас в бой, бестолковых, увлек?
Для чего вы со мною рубились,
Отчего я бежал наутек?
Стул в буржуйке потрескивал венский.
Под цыганский хмельной перебор
Пил в Констанце тапер Оболенский,
А в Берлине Голицын шофер.
Бились, бились, товарищ, сражались.
Ни бельмеса, мой друг, ни аза.
Так чему ж вы сквозь дым улыбались,
Голубые дурные глаза?

Погоди, дуралей, погоди ты!
Ради Бога, послушай меня!
Вот оно, твое сердце, пробито
Возле ног вороного коня.
Пожелай же мне смерти мгновенной
Или раны — хотя б небольшой!
Угорелый мой брат, оглашенный,
Я не знаю, что делать с тобой.
Погоди, я тебя не обижу,
Спой мне тихо, а я подпою.
Я сквозь слезы прощальные вижу
Невиновную морду твою.
Погоди, мой товарищ, не надо.
Мы уже расквитались сполна.
Спой мне песню: Гренада, Гренада.
Спойте, мертвые губы, Грена...

ГЛАВА 2

«Ты рядом, даль социализма...»
Б. Пастернак

Спойте песню мне, братья Покрассы!
Младшим братом я вам подпою.
Хлынут слезы нежданные сразу,
Затуманят решимость мою.
И жестокое, верное слово
В горле комом застрянет моем.
Толстоногая, спой мне, Орлова,
В синем небе над Красным Кремлем!
Спой мне, Клим в исполненьи Крючкова
Белозубый танкист-тракторист,
Спой, приветливый и бестолковй
В брюках гольф иностранный турист!
Покоряя пространство и время,
Алый шелк развернув на ветру,
Пой, мое комсомольское племя,
Эй, кудрявая, пой по утру!
Заключенный каналоармеец,
Спой и ты, перекованный враг!
Светлый путь все верней и прямее!
Спойте хором, бедняк и средняк!
Про счастливых детишек колонны,
Про влюбленных в предутренней мгле,
Про снующие автофургоны
С аппетитною надписью «Хлеб».

Почтальон Харитоша примчится
По проселку на стан полевой —
Номер «Правды» — признались убийцы,
Не ушли от расплаты святой!
И по тундре, железной дороге
Мчит курьерский, колеса стучат,
Светлый путь нам ложиться под ноги,
Льется песня задорных девчат!
На далеком лесном пограничье,
В доме отдыха в синем Крыму
Лейся, звонкая песня девичья,
Чтобы весело было Ему!
Так припомним кремлевского горца!
Он нас вырастил верных таких,
Что хватило и полразговорца,
Шевеления губ чумовых.
Выходи же, мой друг, заводи же
Про этапы большого пути.
Выходи, я тебя не обижу.
Ненавижу тебя. Выходи.
Ах, серпастый ты мой, молокастый,
Отчего ты свободе не рад,
О которой так часто, так часто
В лагерях до зари говорят?
Спой мне ветер про счастье и волю,
Звон подков по брусчатке святой,
Про партийный наказ комсомолу
И про маршала первого спой!
Праздник, праздник в соседнем колхозе!
Старый пасечник хмыкнул в усы,
Над арбузом жужжащие осы,
Гармонист подбирает басы,
Под цветущею яблоней свадьба —
Звеньевую берет бригадир!
Все бы петь тебе, радость, плясать бы
Да ходить в ДОСААФовский тир!
От успехов головокруженье!
Рано, рано трубить нам отбой!
Видишь, Маша, во мраке движенье?
Враг во тьме притаился ночной!
Там в ночи полыхают обрезы,
Там в муку подсыпают стекло,
У границы ярится агрессор,
Уклонисты ощерились зло!

Рыков с Радеком тянут во мраке
К сердцу Родины когти в крови!
За Ванцетти с бедняжкою Сакко
Отомсти! Отомсти! Отомсти!
Вон, гляди-ка ты — два капитана
За столом засиделись в ночи.
И один угрожает наганом,
А второй третьи сутки молчит.
Капитан, капитан, улыбнитесь!
Гражданин капитан! Пощади!
Распишитесь вот тут. Распишитесь!!
Собирайся. Пощады не жди.
Это дедушка дедушку снова
На расстрел за измену ведет.
Но в мундире, запекшемся кровью,
Сам назавтра на нарах гниет.
Светлый путь поднимается в небо,
И пастух со свинаркой поет,
И чудак-академик нелепо
Все теряет, никак не найдет.
Он в пенсне старомодном, с бородкой,
Улыбается, тоже поет.
А потом исполняет чечетку
Славный артеллерийский расчет.
Микоян раскрывает страницы
Кулинарные — блещет крахмал,
Поросенок шипит, золотится,
Искрометный потеет бокал!
Ветчина, да икорка, да пайка,
Да баланда, да злой трудодень...
Спой мне, мальчик в спартаковской майке,
Спой, черемуха, спой мне, сирень!
Спой мне, ветер, веселый мой ветер,
Про красивых и гордых людей,
Что поют и смеются как дети,
На просторах Отчизны своей!
Спой о том, как под солнцем свободы
Расцвели физкультура и спорт,
Как внимают Равелю народы,
И как шли мы по трапу на борт.
Кто привык за победу бороться,
Мою пайку отнимет и жрет.
Доходяга, конечно, загнется,
Но и тот, кто покрепче, дойдет.

Эх ты, волюшка, горькая водка,
Под бушлатиком белая вошь,
Эх, дешевая фотка-красотка,
Знаю, падла, меня ты не ждешь.
Да и писем моих не читаешь,
И встречать ты меня не придешь!
Ну а если придешь — не узнаешь,
А узнаешь — сама пропадешь.
Волга, Волга! За что меня взяли?
Ведь не волк я по крови своей!
На великом, на славном канале
Спой мне, ветер, про гордых людей!
Но все суше становится порох.
И никто никуда не уйдет.
И акын в прикаспийских просторах
О батыре Ежове поет.

ГЛАВА 3

«Я шел к тебе четыре года,
Я три державы покорил».
Исаковский

Спой же песню мне, Клава Шульженко,
Над притихшею, темной Москвой,
Над сожженной врагом деревенькой,
Над наградой и раной сквозной!
Спой, мой дядя семнадцатилетний,
В черной раме на белой стене...
Беззаветный герой, безответный,
Как с тобой-то разделаться мне?
Не умею я петь про такое,
Не умею, комдив, хоть убей!
Целовать бы мне знамя родное
У священной могилы твоей.
Не считайте меня коммунистом!!
И фашистом прошу не считать!!
Эх, танкисты мои, гармонисты.
Спойте , братцы. Я буду молчать.
Пой, гармоника, пой, дорогая.
Я молчу. Только пули свистят.
Кровь родная, я все понимаю.
Сталинград. Сталинград. Сталинград.
Сталинград ведь!! Так что же мне делать?
Плакать плачу, а петь не могу...
В маскхалате своем красно-белом
Пой, пацан, на горячем снегу.

Сын полка, за кого же ты дрался?
Ну ответь, ну скажи — за кого?
С конармейскою шашкой бросался
За кого ты на «Тигр» броневой?
Впрочем, хватит! Ну хватит! Не надо.
Ну, нельзя мне об этом земляк!..
Ты стоишь у обугленной хаты,
Еле держишься на костылях.
Чарка горькая. Старый осколок.
Сталинград ведь, пойми — Сталинград!
Ты прости — мне нельзя про такое.
Про такое мне лучше молчать.

ГЛАВА 4

«Нет Ленина — вот это очень тяжко!»
Е. Евтушенко

Спой мне, Бабаджанян беззаботный!
Сбацай твист мне, веселый Арно!
Подавившись слезой безотчетной,
Расплывусь я с улыбкой дурной.
Спой же песню мне — рулатэ-рула!
Ох уж, рула ты, рула моя!
До свиданья, родной переулок!
Нас таежные манят края!
Все уже позади, мой ровесник,
Страшный Сталин и Гитлер-подлец.
Заводи молодежную песню
Про огонь комсомольских сердец!
Потому что народ мы бродячий,
И нельзя нам иначе, друзья,
Молодою любовью горячей
Мы согреем родные края.
Э-ге-ге, эге-гей, хали-гали!
Шик-модерн, Ив Монтан, хула-хуп!
Вновь открылись лазурные дали
За стеной коммунальных халуп.
Летка-енка ты мой Евтушенко!
Лонжюмо ты мое, Лонжюмо!
Уберите же Ленина с денег,
И слонят уберите с трюмо!
Шик-модерн, треугольная груша,
Треугольные стулья и стол!
Радиолу веселую слушай,
Буги-вуги, футбол, комсомол!

Барахолка моя, телогрейка,
Коммуналка в слезах и соплях.
Терешкова, и Белка, и Стрелка
Надо мною поют в небесах!
Кукуруза-чудесница пляшет,
Королева совхозных полей,
И Пикассо нам радостно машет
Прихотливою кистью своей.
«Ленин» атомоход пролагает
Верный путь через льды и метель.
Только Родина слышит и знает,
Чей там сын в облаках пролетел.
Телевизор в соседской квартире,
КВН, «Голубой огонек».
Спойте, спойте мне, физик и лирик,
Про романтику дальних дорог!
С рюкзаком за спиной молодою
Мы геологи оба с тобой.
Все мещане стремятся к покою,
Только нам по душе непокой!
Опускайся в глубины морские!
Поднимайся в небесную высь!
Где б мы ни были — с нами Россия!
Очень вовремя мы родились.
Так что — бессамэ, бессамэмуча!
Так крутись, веселись хула-хуп!
Все светлее, товарищ, все лучше
Льется песня из девичьих губ!
И в кафе молодежном веселье —
Комсомольская свадьба идет!
Нас, любимая, ждет новоселье,
Ангара величавая ждет!
Юность на мотороллере мчится
Со «Спидолой» в спортивных руках!
Плащ болонья шуршит, пузырится,
Луч играет на темных очках.
Парни, парни! Не в наших ли силах
Эту землю от НАТО сберечь?
Поклянемся ж у братской могилы
Щит хранить на петличках и меч!
Дядю Сэма с ужасною бомбой
Нарисуй мне, малыш, на листке,
Реваншиста, Батисту и Чомбе!
«Миру мир» подпиши в уголке!..

Добровольцы мои, комсомольцы!
Беспокойные ваши сердца
То сатурновы меряют кольца,
То скрипят портупеей отца,
То глядят вернисаж неизвестных,
В жарких спорах встречая рассвет...
Вслед гляжу я вам, добрым и честным,
Ничего-то в вас, мальчики, нет.
Ах, культ личности этой грузинской!
Много все же вреда он принес!
Но под светлый напев Кристалинской
Сладко дремлет кубанский колхоз.
Гнусных идолов сталинских скинем,
Кровь и прах с наших ног отряхнем.
Только о комсомольской богине
Спой мне — ах, это, брат, о другом.
Все равно мы умрем на гражданской —
Трынь да брынь — на гражданской умрем,
На венгерской, на пражской, душманской...
До свиданья, родимый райком!
Над Калугой, Разанью, Казанью,
По-над баней — сиянье знамен!
Бабушка, отложи ты вязанье,
Научи танцевать чарльстон!
Че-че-че, ча-ча-ча, Че Гевара!
Вновь гитара поет и поет!
Вновь гитара, и вновь Че Гевара!
ЛЭП-500 над тайгою встает.
И встречает посланцев столица,
Зажигается вечный огонь.
Ваня Бровкин, и Перепелица,
И Зиганшин поют под гармонь.
Накупивши нарядных матрешек,
Спой, Поль Робсон, про русскую мать!
Уберите же Ленина с трешек! —
Больше нечего нам пожелать!
И до счастья осталось немного —
Лишь догнать, перегнать как-нибудь.
Ну, давай, потихонечку, трогай.
Только песню в пути не забудь.
Ах ты, бессамэ, ах, че гевара!
Каблучки по асфальту стучат.
И опять во дворе нашем старом
Нам пластинка поет про девчат.

Над бульваром хрущевское лето.
Караул у могильной плиты.
И на шпилечках с рыжей бабеттой
Королева идет красоты.
Заводите торшеры и столик,
Шик-модерн, целлофан, поролон.
Уберите вы Ленина только
С денег — он для сердец и знамен!
Ах, орлиного племени дети,
Все мечтать бы вам, все бы мечтать,
Все бы верить, любить беззаветно,
Брюки узкие рвать и метать.
Спой же песню, стиляжка дурная,
В брючках дудочках, с конским хвостом.
Ты в душе-то ведь точно такая.
Спой мне — ах, это, брат, о другом!
Пой же солнцу и ветру навстречу.
Выходи, боевой стройотряд!
Вдоль по улочке нашей Заречной
Улетает восторженный взгляд.
Что ты смотришь, и что ты там видишь?
Что ты ждешь? — не пойму я никак.
Очень Сталина ты ненавидишь,
Очень Ленина любишь, дурак.
Каблучки в переулке знакомом
Все стучат по асфальту в тиши.
Люди Флинта с путевкой обкома
Что-то строят в таежной глуши.
Вьется переходящее знамя
Семилетке салют боевой.
И гляжу я вам вслед со слезами —
Ничего-то в вас нет, ничего!
Трынь да брынь — вот и вся ваша смелость!
На капустник меня не зови!
Но опять во дворе — что же делать —
Мне пластинка поет о любви!
И навстречу заре уплывая
По далекой реке Ангаре,
Льется песня от края до края!
И пластинка поет во дворе!
И покамест ходить я умею,
И пока я умею дышать,
Чуть прислушаюсь — и онемею:
Каблучки по асфальту стучат!

ЛИРИЧЕСКАЯ ИНТЕРМЕДИЯ

Смотрят замки, горы, долы
В глубь хрустальных рейнских вод.
Моцарт, Моцарт, друг веселый
Под руку меня берет.
Час вечерний, луч прощальный,
Бьют на ратуше часы.
Облака над лесом дальним
Удивительной красы.
Легкий дым над черепицей,
Липы старые в цвету.
Ах, мой друг, пора проститься!
Моцарт, скоро я уйду!
Моцарт! Скоро я уеду
За кибиткой кочевой.
У маркграфа на обеде
Я не буду, дорогой.
Передай поклон Миньоне.
Альманах оставь себе.
Друг любезный! Я на зоне
Буду помнить о тебе.
Знаешь край? Не знаешь края.
Где уж знать тебе его!
Там, над кровлей завывая,
Бьются бесы — кто кого!
Там такого мазельвейна
Поднесут тебе, дружок,
Что скопытишься мгновенно
Со своих прыгучих ног.
Там и холодно и страшно!
Там прекрасно! Там беда!
Друг мой, брат мой, ночью ясной
Там горит моя звезда.
Знаешь край? Я сам не знаю,
Что за край такой чудной,
Но туда, туда, туда я
Должен следовать, родной.
Кто куда — а я в Россию,
Я на родину щегла.
Иней белый, ситец синий.
Моцарт, Моцарт! Мне пора.
Кто о чем, а я о бане,
О кровавой бане я...
До свиданья, до свиданья!
Моцарт! Не забудь меня!

Я иду во имя жизни
На земле и в небесах,
В нашей радостной Отчизне,
В наших радужных лучах!
Ждет меня моя сторонка,
Край невыносимый мой!
Моцарт рассмеялся звонко:
«Что ж, и я не прочь с тобой!»
Моцарт, друг ты мой сердечный,
Таракан запечный мой!
Что ты гонишь, дух беспечный,
Сын гармонии святой!
Ну куда тебя такого?
Слишком глуп ты, слишком юн.
Что для русского здорово,
То для немца карачун!
Нет уж! Надо расставаться!
Полно, херц, майн херц, уймись!
Больше нечего бояться.
Будет смерть, и будет жизнь.
Будет, будет звук тончайший
По-над бездною лететь
И во мраке глубочайшем
Луч легчайший будет петь!
Так прощай же! За горою
Ворон каркает ночной.
Моцарт, Моцарт, Бог с тобою!
Бог с тобою и со мной!
Моцарт слушал со вниманьем.
Опечатлился слегка.
«Что ж, прощай. Но на прощанье
На, возьми бурундука!»
В час печали, в час отчайнья
Он тебя утешит, друг,
Мой пушистый, золотистый,
Мой волшебный бурундук!
Вот он, зверик мой послушный,
Глазки умные блестят,
Щиплют струны лапки шустры
И по клавишам стучат!»
Ай, спасибо, Моцарт милый,
Ах, прекрасный бурундук!
До свиданья! До могилы
Я с тобой, любезный друг!

И иду, иду в Россию.
Оглянулся — он стоит.
Сквозь пространства роковые
Моцарт мне вослед глядит.
Машет, машет треуголкой,
В золотом луче горя,
И ему со Вшивой Горки
Помахал ушанкой я.
Гадом буду — не забуду
Нашей дружбы, корешок,
Ведь всегда, везде со мною
Твой смешной бурундучок.
И под ватничком пригревшись,
Лапки шустрые сложив,
Он поет, и я шагаю
Под волшебный тот мотив.

ГЛАВА 5

«Час мужества пробил на наших часах...»
Анна Ахматова

Что ж, давай, мой Шаинский веселый.
Впрочем, ну тебя на фиг! Молчи!
Все закончено. В частности, школа.
Шейк на танцах платформой стучит.
БАМ, БАМ, БАМ! Слышишь, время запело?
БАМ да БАМ, ОСВ, миру мир!
Развитой мой, реальный и зрелый,
БАМ мой БАМ, Копторг да ОВИР.
Ах, мой хаер, заветный мой хаер,
Как тебя деканат обкарнал!
Юность бедная, бикса плохая.
Супер райфл, супер стар, «Солнцедар».
— Что там слышно? — Меняют кого-то
На Альенде — Да он ведь убит?!
Значит на Пиночета! — Да что ты!!
Пиночет-то ведь главный бандит!!
Пиночет. Голубые гитары.
Озирая родную дыру,
Я стою, избежав семинара,
У пивного ларька поутру.
Ах, Лефортово, золотце, осень...
Той же ночью в вагоне пустом
Зуб мне вышибит дембель-матросик,
Впрочем, надо сказать, поделом.

А потом, а потом XXV-й
Съезд прочмокал и XXVI-й,
И покинули хаты ребята,
Чтобы землю в Афгане... Постой!
Хватит! Что ты, ей-богу, Не надо.
Спой мне что-нибудь. — Нечего спеть.
Все ведь кончено. Радость-отрада,
Нам уже ничего не успеть!
Все ведь кончено. Так и запишем —
Не сбылась вековая мечта.
Тише, тише! Пожалуйста, тише!
Не кричи, ветеран-простота.
Город Солца и Солнечный Город,
Где Незнайка на кнопочки жал, —
Все закончено. В Солнечногорске
Строят баню и автовокзал.
В парке солнечногорском на танцах
Твой мотив не канает, земляк!
А в кино юморят итальянцы,
А в душе — мутота и бардак.
Все ведь кончено. Зла не хватает.
Зря мы только смешили людей.
И «Союз-Аполлон» пропылвает
Над черпацкой пилоткой моей.
Мама Сталина просит не трогать,
Бедный папа рукою махнул.
Дорогие мои! Ради Бога!
Ненарошно я вас обманул!
Все ведь кончено. Выкрась да выбрось.
Перестрой, разотри да забудь!
Изо всех своих славных калибров
Дай, Коммуна, прощальный салют!
Змий зеленый пяту твою гложет,
Оплетает твой бюст дорогой —
Это есть наш последний, ну может,
Предпоследний решительный бой!
Рейгономика блещет улыбкой,
Аж мурашки бегут по спине.
Ах, минтай, моя добрая рыбка!
Что тобою закусывать мне?
И могучим кентавром взъярился
(это Пригов накликал беду!)
Рональд Рейган на нас навалился!
Спой мне что-нибудь, хау ду ю ду!

Рональд Рейган — весны он цветенье!
Рональд Рейган — победы он клич!
Ты уже потерпел пораженье,
Мой Черненко Владимир Ильич!
Значит сны Веры Палны — не в руку,
Павка с Павликом гибли зазря,
Зря Мичурин продвинул науку,
Зря над нами пылала заря!
И кремлевский мечтатель напрасно
Вешал на уши злую лапшу
Ходокам и английским фантастам,
И напрасно я это пишу!
И другого пути у нас нету!
Паровоз наш в тупик прилетел,
На запасном пути беспросветном
Бронепоезд напрасно ревел!
Остановки в коммуне не будет!
Поезд дальше вообще не пойдет!
Выходите, дурацкие люди,
Возвращайтесь, родные, вперед.
Все ведь кончено. Хлеб с маргарином.
Призрак бродит по Африке лишь.
В два часа подойти к магазину,
Погляди и подумай, малыш.
Как-то грустно и как-то ужасно.
Что-то будет у нас впереди?
Все напрасно. Все очень опасно.
Погоди, тракторист, погоди!..
Мне б злорадствовать, мне б издеваться
Над районной культуры дворцом.
Над рекламой цветной облигаций,
Над линялым твоим кумачом,
Над туристами из Усть-Илима
В Будапеште у ярких витрин,
Над словами отца Питирима,
Что народ наш советский един,
Над твоей Госприемкою сраной,
Над гостиницей в Йошкар-Оле,
Над растерянным, злым ветераном
Перед парочкой навеселе,
Над вестями о зерно-бобовых,
Над речами на съезде СП,
Над твоей сединой бестолковой,
Над своею любовью к тебе.

Над дебильною мощью Госснаба
Хохотать бы мне, что было сил —
Да некрасовский скорбный анапест
Носоглотку слезами забил.
Все ведь кончено. Значит — сначала.
Все сначала — Ермак да кабак,
Чудь да меря, да мало помалу
Петербургский, голштинский табак.
Чудь да меря. Фома да Емеля.
Перелесок. Пустырь. Буерак.
Все ведь кончено. Нечего делать.
Руку в реку. А за руку — рак.

ЭПИЛОГ

Господь, благослови мою Россию,
Спаси и сохрани мою Россию,
В особенности — Милу и Шапиро.
И прочую спаси, Господь, Россию.
Дениску, и Олежку, и Бориску,
Сережку и уролога Лариску ,
Всех Лен, и Айзенбергов с Рубинштейнами,
И злую продавщицу бакалейную.
И пьяницу с пятном у левой выточки,
И Пригова с Сухотиным, и Витечку,
И Каменцевых с Башлачевым Сашечкой,
И инженера Кислякова Сашечку,
А.И., А.Ю., А.А. и прочих Кобзевых,
И бригадира рыжего колхозного,
Сопровского, Гандлевского и Бржевского,
И Фильку, и Сережку Чепилевского.
Благослови же, Господи, Россию!
В особенности, Милу и Шапиро,
Шапиро и Кибирову Людмилу!
И Семушку с Варварой, и Семеныча,
Натаныча, Чичко и Файбисовича,
С. Хренова, Булатова, Васильева,
И Туркина, и Гуголева сильного.
Сестренку, папу, маму и покойников,
И бабушку, и Алика с Набоковым,
И Пушкина, и Н. и В. Некрасовых,
И рядового Масича атасного,
Малкову, и Борисову прелестную,
И ту, уже не помню, неизвестную,
Спаси, Иисус микрорайон Беляево!
Ну, а Черненко как же? — Да не знаю я!

Ну и Черненко, если образумится!
Спаси, Иисусе, Родину неумную!
И умную спаси, Иисусе, Родину!
Березки, и осины, и смородину!
Благослови же, Господи, Россию,
В особенности Милу и Шапиро,
Шапиро Мишу и Шапиро Иру!
Олежку, и Сережку и так далее.
И Жаннку, и Анжелку и так далее!
Сазонова сержанта и так далее!
И Чуню, и Дениску и так далее!
В особенности — Англию с Италией,
Америку и Юлю с Вероникою!
Спаси, Иисусе, Родину великую!
Спаси, Господь, неловкую Россию,
И Подлипчук, и Милу, и Шапиро,
И ветерана в стареньком мундире!
Спаси, Господь, несчастного Черненко!
Прости, Господь, опасного Черненко!
Мудацкого, уродского Черненко!
Ведь мы еще глупы и молоденьки,
И мы еще исправимся, Иисусе!
Господь! Прости Советскому Союзу!

Москва, 1987

* Рукопись пришла по каналам самиздата и печатается без разрешения автора.

ПУБЛИЦИСТИКА. СОЦИОЛОГИЯ. КРИТИКА

Владимир СОЛОВЬЕВ

ГЛАСНОСТЬ: ПИР ВО ВРЕМЯ ЧУМЫ

Дело вовсе не в том, как оценивать демократические сдвиги в СССР — положительно или отрицательно, но в самом принципе оценки. Там, где поверхностный наблюдатель ждет мгновенных и однозначных результатов, происходит на самом деле живой, сложный и парадоксальный процесс, и исход его неизвестен.

И что остается нам (несмотря на тамошнее происхождение), все-таки сторонним, наблюдателям очередного акта русской драмы? Подобно Хору в древнегреческой трагедии, сочувствовать протагонисту Михаилу Горбачеву, который взял на себя Гераклов труд по расчистке Авгиевых конюшен последней на земле империи? Либо, поместив нынешнего кремлевского лидера в контекст русской истории, попытаться понять историческую миссию, которую он выполняет?

«Мы живем в веке историческом; потом в веке историческом по превосходству», писал полтора века назад Александр Бестужев-Марлинский. Он имел ввиду, что история была всегда, свершалась всегда, но прежде ходила неслышно, будто кошка, подкрадывалась невзначай, как тать. А теперь история не в одном деле, но и в памяти, в уме, на сердце у народов. «Мы ее видим, слышим, осязаем ежеминутно; она проницает в нас всеми чувствами. Она толкает вас локтями на прогулке, втирается между вами и дамой вашей в котильон... Мы обвенчались с ней волей и неволею, и нет развода. История — половина наша, во всей тяжести этого слова».

Надеюсь, никто не заподозрит меня в историческом детерминизме, а тем более фатализме. Просто в историческом свете события и люди выглядят совсем иначе, чем в политическом, то есть в каждодневном мелькании на телевизионном экране, на обложках журналов, на первых страницах газет.

Можно, конечно, впасть в банальность — «Умом Россию не понять...», но во-первых, для веры в нее не разыщет даже эмоциональные основания самый страстный русофил. Ни тем более критиканствующий либерал, или балансирующий где-то промежду ними нынешний генсек. А во-вторых, с моей точки зрения, как раз наоборот — только умом она и постигаема. Даже странно, что самый умный русский поэт именно умственно спасовал перед страной, в которой так мало жил, но которой так фанатично был предан. А посему обратимся к другой, не менее затасканной цитате Тютчева и возьмем ее в качестве «рабочего» эпиграфа: «Счастлив, кто посетил сей мир в его минуты роковые...» Вряд ли русский процесс так уж сильно затронет остальные пять шестых земного шара — будем надеяться, что вообще не затронет. Но что для России «роковые минуты» уже наступили — несомненно, хотя в историческом времени минуты могут тянуться годами, а затянуться, так даже на десятилетия.

Сейчас уже очевидно, что Горбачев получил от своих предшественников империю в самом что ни на есть печальном состоянии — экономическом, идеологическом, демографическом, каком угодно, Что бы ни твердили американские правые, коммунистическая идеология там так и не привилась. В любой стране мира, включая США, легче найти ее адепта, чем в СССР, где в коммунистические лозунги больше не верит никто, ни новый «кремлевский мечтатель», ни человек с улицы. Точно так же сомнительны чисто «меркантильные» утверждения Пентагона о военном паритете обеих сверхдержав: экономический кризис в Советском Союзе настолько безнадежен, что ни о каком соревновании с США не может быть и речи. Фактически СССР сошел с мировой арены в качестве равного партнера — и не только США, но и Запада в целом.

Брежнев пытался заморозить процесс разложения империи — Горбачев, напротив, обнажил процесс гниения, чем и привел в ужас население, которое в своей массе предпочитает жить без этого гнетущего знания. Пытаясь с помощью децентрализации укрепить Россию экономически, Горбачев на самом деле расшатывает ее политически. Но и экономические результаты его реформ более, чем сомнительны. Народ уже сейчас недоволен и предстоящим повышением цен, и очередями за исчезающими продуктами и товарами первой необходимости. Об очередях за водкой я уж не говорю — моя теща привезла мне, к примеру, бутылку «Пшеничной» из Ленинграда, простояв за ней четыре с половиной часа.

Любопытно, что первое поражение Горбачев потерпел именно в борьбе с «зеленым змием», с чего, собственно, и началось его правление. Даже его сторонники полагают, что он перегнул палку, хотя и признают, что национальная болезнь русских приняла характер эпидемии и ведет к физической и духовной деградации нации. Неся огромные бюджетные издержки (порядка 10 миллиардов рублей в год), Кремль сократил производство алкогольных напит-

ков на 33-34 процента, на что народ незамедлительно ответил увеличением производства самогона на 42 процента, а домашних настоек и того больше — в три раза против прежнего. Результаты этой кампании сугубо отрицательные: потеря государственной монополии на производство алкоголя и превращение сахара и дрожжей в одни из самых дефицитных продуктов. А бороться с производством самогона буквой закона невозможно — города и веси российские опустели бы, да и тюрем не напасешься.

Именно антиалкогольная кампания, обнаружив беспомощность Горбачева, породила бесчисленные анекдоты, самый короткий из которых горбачевское прозвище — «безалкогольная бормотуха». Во многих домах стало автоматическим движением выключать телевизор, как только он появляется на экране. Да и в самом деле, сколько можно жить «планов громадьем», как некогда чуть громоздко выразился Маяковский? Времена уже не те, когда Троцкий одной силой слова вел Красную армию к победам. Горбачеву далеко до Троцкого, да и народ давно не тот: широкие массы консервативны, безынициативны и энтузиазма своих лидеров не разделяют. Анекдот сравнивает перестройку с тайгой: сверху шумит, внизу тишина. Горбачеву легко и быстро удалось избавиться от брежневских клевретов в Кремле, но его «революция сверху» натолкнулась на «сопротивление снизу». Человеческий фактор — главная причина уже обозначившегося даже в официальной статистике экономического фиаско. Сегодня Горбачеву противостоит не только Обломов-бюрократ, но и Обломов-плебс, с которого и взятки гладки. Чего ему ишачить во славу седьмого (если не считать «факира на час» Маленкова, но считать «факира на год» Черненко) советского лидера? «Что он Гекубе, что ему Гекуба?» Две русские истории — государственная и народная, всегда шли отдельно друг от друга, редко пересекаясь. В таких случаях, когда обе стороны недовольны друг другом, и народ лишен права выбора, Брехт советовал правительству избрать другой народ. Скажем, американцы куда бы больше подошли Горбачеву, да только он бы срезался на первичных выборах.

Неудавшаяся попытка Горбачева пробудить русский народ от летаргического сна разбудила, однако, другие народы империи: побочный и крайне нежелательный для Кремля эффект либерализации — возникновение на национальных окраинах империи центробежных, антиимперских, деструктивных тенденций. Насколько непредсказуема их траектория, можно судить хотя бы по тому обстоятельству, что национальные беспорядки начались в совершенно неожиданном месте — в Казахстане, а когда я пишу эти строки, они в самом разгаре в Армении и Азербайджане, и одному Богу известно, в каком районе империи произойдет следующий националистический взрыв. Плюс, конечно, традиционные очаги сопротивления: в Латвии, Литве, Эстонии, на Украине, среди крымских татар, не говоря уж о Восточной Европе и Афганистане.

Здесь (а не в экономике или идеологии) — главная проблема империи-полиглота, где наций больше, чем в ООН, и единственное, что их объединяет, это ненависть друг к другу и особенно к имперской нации — к русским. Судя по последней переписи, русские едва дотягивают до половины населения руководимой ими страны, а к концу тысячелетия, благодаря низкой рождаемости среди славян и высокой среди мусульман, неизбежно окажутся национальным меньшинством. С трудом представимо, но так — русские в роли нацменов.

Но дело не только в количестве, а еще и в качестве. Не желая прослыть русофобом, сошлюсь на русофилов, точнее русофилок, трех московских дам*, накатавших на нацменов во главе с евреями «телегу» в ЦК: «...в настоящее время русские оказались явно в неравноправном положении по сравнению с другими народами. ...среди всех союзных республик Российская Федерация оказалась на последнем месте по всем жизненно важным социально-экономи-

* В.Г. Брюсова, Г.И. Литвинова, Т.А. Пономарева.

ческим, культурным и демографическим показателям, а в ее рамках — русский народ!.. По числу лиц с высшим образованием на душу занятого городского и сельского населения нас перегнали даже бесписьменные в недалеком прошлом чукчи, якуты и другие национальные меньшинства...»

Между прочим, схожая ситуация наблюдается и в США — здешние азиаты, вытесняя прежних фаворитов-«нацменов» (евреев), получают рекордное число научных студенческих премий и стипендий. Они занимают почетные места на музыкальных конкурсах, с блеском продвигаются по службе, и этот феномен занимает, волнует, но не вызывает сопротивления среди коренных американцев.

В основе лежат два противоположных подхода к успеху сограждан — здесь неудачник стремится достигнуть уровня удачника, а там — низвести удачника до собственного уровня. И уж никак не представить, чтобы американец — скажем, англо-саксонского происхождения — объяснял свое отставание от американца азиатского происхождения тем, что де он, «старший брат», отдает свои штаны «младшему». Нисколько не утрирую, а цитирую слово в слово выступление московского писателя Юрия Прокушева в «Литературной газете» (9 марта 1988 г.), где понятие «старшего брата», наконец-то, реабилитировано — вряд ли к удовольствию младших.

Увы, подобное не редкость в эпоху гласности, и не только в полемическом контексте, но и в директивном. «Правда» пишет, что «русский народ принял на себя максимальную тяжесть последних войн, экономических усилий и подъемов. Можно сказать, что он добровольно потеснился, сознательно помогая другим нациям и народностям» (28 марта 1987 г.). Ну, конечно, так сказать нельзя, но мы снизим уровень разговора полемикой с советской прессой. В добавление сошлемся на Виктора Чебрикова, который, обрушившись с грозной филиппикой на советских националистов, шовинистов из «Памяти» даже не упомянул. Когда-то в связи с русскими националистами я обмолвился в том смысле, что власть терпима к оппозиции,

которую рассматривает в качестве своей возможной преемницы, и эта мысль была удостоена многократного цитирования в американской прессе. Сейчас я склонен думать иначе: власти придерживают черносотенцев в качестве запасных игроков, на случай провала нынешнего эксперимента с перестройкой и гласностью.

С другой стороны, конечно, русская идея в качестве противовеса нацменам более убедительна, чем «социалистическое содружество наций» (пустой звук для любого члена этого мнимого содружества). Однако русская идея и рискованнее, и может быть использована только в крайнем случае, когда нависший над империей Дамоклов меч начнет опускаться. Весь вопрос, кому это решать, кто возьмет на себя ответственность и смелость указать руситам точное их время? Кто это время высчитает? «Егорушка», как они ласково величают своего покровителя в Политбюро Егора Лигачева? Премьер РСФСР? Шеф КГБ? Но ведь прибегнуть к помощи русофилов прямо — это не только укрепить свою позицию, но и скомпрометировать ее. Какой советский вождь решится поставить на «русскую карту», похерив «интернационализм», «социализм» и прочие словесные рудименты выдохшейся идеологии?

В том-то и дело, что даже кремлевские покровители русофилов держат их на безопасном расстоянии, и разве что безответственная Раиса Максимовна Горбачева не скрывает своих с ними связей и, по словам академика Лихачева, пользуясь его возрастом и его ленинградской пропиской, превращает возглавляемый им формально Культурный Фонд в филиал «Памяти». Но что возьмешь с бабы-дуры, даже если она Первая Леди! Ее флирт с русофилами — той же природы, что и полдюжины в день переодеваний во время заграничных турне. Это личное клеймо, и оно не только компрометирует генсека, но и его каким-то образом характеризует: она может позволить себе то, что он вынужден скрывать, что у умного на уме, то у пьяного на языке.

Вот как определял принцип многонациональной русской империи Т.С.Элиот: «...так как Советская Россия должна сохранять подчиненность культуры политической теории, успех ее империализма приведет, по всей видимости, к сознанию своего превосходства у того из ее народов, который ее политическую теорию породил; можно, следовательно, ожидать, что, пока существует Российская империя, все больше будет утверждаться господствующая — русская культура, при подчиненных ей национальностях, уцелевающих не как народы с каждому из них присущим культурным своеобразием, но как низшие касты».

Это к вопросу о последней рубашке, которую снимает с себя старший брат и отдает младшему. Другое дело, что держа в подчинении такое количество народов, как в советской империи и ее погранзоне (Восточная Европа, Монголия, Афганистан), любой народ перенапряг бы свои силы. Я бы сказал так: русский народ переоценил свои силы, создавая и приумножая свою империю. Империя — как бумеранг, который не только возвращается, но и сбивает с ног незадачливого хозяина. Что именно сейчас и происходит.

Не в силах преодолеть национально-демографические противоречия, Горбачев своей политикой гласности их вскрыл и обострил. Сигналы о национальном неповиновении приходят отовсюду, даже из Якутии, кто бы мог ожидать! Нацмены вовсе не против объявленной Горбачевым перестройки, но перестраиваться желают на собственный лад: татары Крыма хотят к себе на историческую родину, армяне требуют возвращения Нагорного Карабаха, а прибалты, те вообще хотят отделиться от старшего брата. А чего хотят грузины? Украинцы? Мусульмане?

По сути, по своей исторической миссии, все они являются антагонистами Горбачева. Он хочет укрепить империю и восстановить ее былую мощь и политический престиж. В то время как лидеры национальных движений больше всего желают этому гигантскому анахронизму как можно

скорее исчезнуть с лица земли, как исчезли все его предшественники — от Персидской и Римской империй до Оттоманской и Британской.

Кому в этой ситуации сочувствовать — протагонисту Горбачеву или его антагонистам нацменам? Ну, ладно, советский либерал, может дойти до упрека армянам либо крымским татарам, что те ставят палки в колеса процессу демократизации и укрепляют своими протестами реакционеров-консерваторов. К сожалению, на том же уровне мыслят американские левые, типа Стивена Коэна, с их призывами не только сочувствовать, но и помогать Горбачеву. Помогать — в чем? В укреплении империи? То есть в подавлении национальных свобод? Я уж не спрашиваю — чем помогать: оружием? войсками?

Короче, в историческом свете, миссия Горбачева выглядит совсем иначе, чем в политическом, тем более психологическом. В отличие от Золушки, у него нет в услужении доброй феи с волшебной палочкой, которая помогла бы ему выполнить всю работу по дому за ночь. Но главное — обозначились естественные пределы, которые Горбачев со товарищи перейти не могут. Ибо руководить такой косной, старомодной и противоречивой структурой, как советская империя, вовсе не значит делать то, что хочешь или считаешь нужным. В этом состоит личная трагедия Горбачева, независимо от его качеств, которые могут нравиться, а могут не нравиться.

А политическая его трагедия в том, что противостоит ему не только мафиозная номенклатура, из которой он сам вышел, не только опустившийся, вырождающийся народ, но сама История, которая ему не только не союзник, но смертельный враг. Русская империя склоняется к закату, и ее идеологическая, политическая, демографическая деградация носит исторически неизбежный, фатальный характер. Никакие паллиативы ей не помогут, никакие полумеры не спасут — лечить можно больного, даже тяжело больного, умирающему лечение не поможет, даже если бы у его

постели дежурил более квалифицированный и последовательный эскулап, чем Горбачев. Поговорка о мертвом и припарках была бы здесь как нельзя более кстати.

Впрочем я и не принадлежу к той категории авторов, которые анализ подменяют рецептами. Шопенгауэр в таких случаях говорил о бесстыдстве оптимизма. Я бы сказал, что оптимисты (в отношении горбачевской России) опускают драматизм истории вообще и русской в частности. Циклический характер русской истории также не очень способствует радужным картинкам — не было еще случая, чтобы на смену мало-мальски разумному правителю не пришел деспот либо балбес. Если ко всему этому добавить очевидное ускорение исторического процесса к концу нашего тысячелетия, то нам, как зрителям, можно надеяться на ряд небезынтересных исторических шоу.

Поэтому, как ни парадоксально это прозвучит, реформы Горбачева направлены на то, чтобы остановить историю, — старая славянская мечта, как выразился однажды Мандельштам. Только вряд ли это удастся. Весь вопрос, до какой степени распада успеет дойти русская империя при Горбачеве. В зависимости от этого и следует рассматривать историческую миссию, которую он бессознательно выполняет: субъективно стремится к одному, а объективно способствует совершенно противоположному. Какие только метаморфозы не происходят в политике, почище Овидиевых: любитель-пожарник может оказаться невольным поджигателем.

Горбачевская революция подходит к концу, запутавшись в собственных противоречиях, неразрешимых в рамках существующей империи. Ну, в самом деле, чтобы преодолеть экономический кризис, который много хуже, чем докладывают Горбачеву его советники*, необходимо прежде

* Заключения «команды Б» на дружеской встрече в Гувер Институте: советская экономика — эта шагреневая кожа империи — производительна в четыре раза меньше, чем показывает официальная статистика.

всего демонтировать созданную Сталиным модель «социализма». Робкие шаги в этом направлении сделаны, но ее основные столпы — от партийной номенклатуры и госбезопасности до Госппана и колхозов-совхозов — остались на своих местах. И с точки зрения самой империи, если ее воспринимать как некий физиологический организм, типа живой планеты у Станислава Лема и Андрея Тарковского в «Солярисе», это абсолютно правильно. Ибо демонтаж сталинской модели гибелен не только для кремлевских руководителей, но и для самой империи. Для нее модель эта, собственно, и была создана, и никакой другой модели, взамен сталинской, никто предложить не может.

КГБ сейчас практикует дифференцированный подход к диссиденту. Став более терпимым к социальному, эта организация со всей решительностью расправляется с диссидентом национальным. Выпустив сотню-другую русских диссидентов, власти жестоко преследуют вожаков-националистов — вплоть до смертного приговора руководителю казахского восстания студенту-архитектору Кайрату Рыскулбекову. В этом дифференцированном подходе есть своя логика: критика русскими диссидентами отдельных недостатков может привести к лучшему функционированию империи, в то время как требования националистов — к ее распаду. Это и есть основное, неразрешимое противоречие советской империи: политическая децентрализация и либерализация, в которой жизненно нуждается ее экономика, неизбежно ведет к ее распаду. Ибо дифференцированный подход КГБ — все-таки для разового пользования.

Как заметил блестящий публицист прошлого века Карл Маркс, «народ, порабощающий другие народы, кует собственные цепи». Скованные русским народом цепи — одни из самых прочных и долговечных, но и им сейчас вышел срок...

Когда весной этого года Ереван был оккупирован советской армией, и американские газеты запестрели заголовками, типа «Гласность — не для армян», я вспомнил цинич-

ное высказывание одного царского министра: «Нам нужна Армения, а не армяне». Пусть читатель сам заглянет в справочник и посмотрит, какие полезные ископаемые в этой республике водятся, я уж не говорю о ее военно-буферной роли — по другую сторону границы не только библейский и армянский Арарат, но и Турция, член НАТО...

Можно ли в рамках единой империи установить демократию для русских и лишить ее нацменов, которые, как показали первые годы горбачевской эры, пользуются ею в сугубо эгоистических национальных целях? Ответ мог бы быть положительным, но тогда пришлось бы полностью отказаться от принципа интернационализма. А на это нужна смелость поистине революционная, потому что в СССР нацменьшинств не несколько процентов, как в Китае, а добрая половина населения. Вот почему, кстати, китайские реформы, в отличие от советских, успешны, а в перспективе, в самом начале следующего тысячелетия, Китай опередит СССР по основным экономическим и военным показателям*.

Пророчества не должны превращаться в карканье, и не обязательно быть Кассандрой, предсказывая русское будущее. Но в нашем случае, речь идет не о пророчестве, но о констатации реальности. Если горбачевский эксперимент по насильственному введению демократии ведет к экономическому хаосу и политической анархии, то это значит, что распадающийся имперский конгломерат можно удержать только с помощью административного и полицейского зажима. А Россия — опытное поле, какие только эксперименты тут не производились: от военного коммунизма — к нэпу, от нэпа — к неорабовладельческой модели Сталина и т.д. Иначе говоря, русская история движется не по инерции, а по закону контрастов: ее кидает из стороны в сторону, как маятник или как пьяного.

*Это убедительно, на цифрах, показано в недавнем исследовании Генри Роуэна и Черльза Вулфа «Будущее Советской Империи».

Монтень писал, что те, кто наносят первый удар по государству, первыми оказываются погребенными под его руинами. Вот и Рейган нашел Горбачева «смертельно испуганным», когда встретился с ним в Вашингтоне в конце прошлого года. В Госдепартаменте заключают пари — одни считают, что он продержится не больше двух лет, другие дают ему три года. Я не могу сказать, что меня очень занимает личная судьба Горбачева, ибо горбачевская эпоха подходит к концу, независимо от того, останется он у власти либо будет смещен и объявлен козлом отпущения за хаос, в который вверг страну. Оба варианта возможны, займемся первым, потому что он требует разъяснения.

Сравнительно недавно, в связи с потоком писем читателей о провале перестройки, Виталий Коротич добился аудиенции у Горбачева, и тот отсоветовал ему эти письма публиковать в «Огоньке». Более важно, однако, то впечатление, которое Коротич вынес от этой встречи: «Словно бы Горбачев уже не у дел, и роль у него сугубо церемониальная — будто уже и не генеральный он секретарь, а Председатель Президиума Верховного Совета...» Значит, и роль генерального секретаря можно свести если не на нет, то к минимуму — так, кстати, было в закатные годы правления Брежнева и все 13 месяцев правления Черненко.

Осведомленные москвичи шутят, что сейчас в Кремле два генеральных секретаря — один почетный (Горбачев), а другой реальный (Лигачев). Да и сам «Егорушка», похоже, не склонен скрывать, что дислокация в Кремле изменилась в его пользу. В интервью Мишелю Тату из «Ле Монд» он прямо заявил, что Политбюро доверило ему руководство Секретариатом — случай беспрецедентный во всей 70-летней Советской истории. Весной этого года, после газетной схватки между «Советской Россией» и «Правдой» распространились слухи о падении Лигачева, но, как оказалось, с помощью этих слухов его противники пытались добрать то, чего им не хватало в действительности — победы над консерваторами в Политбюро. Даже если Горбачеву удастся

избавиться лично от Лигачева, как ему быть с остальными Лигачевыми — в аппарате, в КГБ, в армии, повсюду, имя им легион! Как ему быть с Чебриковым? С угрюмым русофилом Воротниковым? Наконец, с тем «мистером Икс», который займет место Лигачева и станет «номером два» в партии и в стране? Если быть последовательным, то Горбачеву следует распустить партию, которую он возглавляет, но тогда он останется полководцем без войска. Фазиль Искандер сказал, что Ельцин — трагическая фигура: он хотел из множества брежневских лилипутов сотворить одного Гулливера. То же самое с Горбачевым, только поле его деятельности не Москва, а вся страна — ситуация и вовсе безнадежная.

Снятие Ельцина в Москве многие считают «началом конца» и сравнивают его с падением Хрущева и концом хрущевской оттепели. В народе говорят, что «Горбачев сам себе в лицо плюнул», пожертвовав своим самым смелым последователем. Даже сторонники Горбачева, которые считают эту жертву неизбежной (иначе слетел бы он сам), признают, что после этого «жертвоприношения» в Горбачеве «что-то сломалось, он стал, как все». А московские остряки прозвали его «два шага вперед, один назад», а его речи-марафоны — «сказками о правде». Впрочем, и речи Горбачева с осени прошлого года заметно изменились, стали более умеренными и уклончивыми, а по коренным вопросам — о Сталине, о демократии, о перестройке, о национальном вопросе — (этой бомбе замедленного действия) — половинчатыми, компромиссными, а то и ретроградными. Муссируют слухи, что на очереди на вылет еще несколько «ельциных»: одни называют Коротича, иные Яковлева из «Московских новостей», третьи тоже Яковлева, но другого, который член Политбюро и архитектор гласности, этого пира во время чумы. Не исключено, что эти слухи распространяются их врагами, которые желаемое оформляют под действительное. Больше других они ненавидят именно Яковлева из Политбюро, считают этого крестьянского сына евреем и масоном — будто бы он вступил в ряды «вольных каменщиков» в бытность свою студентом Колумбийского университета.

Положим, слетят не эти «ельцины», так другие. Но что это за революция, которая так решительно избавляется от своих сынов, революционеров дела (таких как Ельцин), предпочитая им революционеров на словах, или как их называют в Москве, «фальшивых якобинцев»? «Гласный так гласный, лишь бы согласный» — а что если эта формула Леонида Лиходеева ключ к горбачевской эпохе? И что же такое сам Горбачев, который в кризисные моменты открещивается от собственных деклараций и жертвует самыми рьяными своими сторонниками?

Хотя правлению Горбачева всего три года, в нем уже четко обозначились два периода. Первый — это радикализация под влиянием его ближайших советников и под нажимом со стороны либеральной, хотя и эклектичной интеллигенции. Второй — отступление Горбачева от принятой им программы радикальных реформ — под давлением политической реальности, партийного и полицейского аппарата, консервативно настроенных коллег в Политбюро и ничего не получающего от перемен народа.

Горбачев занял высший имперский пост, когда необходимость в реформах остро ощущалась на всех уровнях советского общества. Волею судеб, он оказался во главе «революции», которая вскоре однако натолкнулась на сопротивление человеческого материала и запуталась в собственных противоречиях. Не в силах справиться с прошлым, прежде всего, со сталинизмом, эта «революция из Кремля» стала откатываться назад: вместе с нею — Горбачев. Революционер в революционное время, он становится оппортунистом, когда наступает реакция. Из полководца Горбачев превратился сначала в знаменосца, а потом в знамя — в символ надежд, которым не суждено сбыться.

Вот почему изменение кремлевского курса в обратную сторону вовсе не обязательно связывать с падением Горбачева.

Весь вопрос — как далеко может Горбачев зайти в своих превращениях, где он остановится? А это, в свою очередь, зависит от того, когда, на каком этапе, его противники сочтут его жертвоприношения достаточными, чтобы стать его сторонниками.

Есть анекдот о том, что после перестройки будет перестрелка, а после перестрелки — перекличка. Перестрелка уже началась — со снятия Ельцина, но еще не закончилась. Уцелеет ли в ней Горбачев, и кто проведет перекличку — любопытно, но не настолько, как судьба самой империи, управлять которой в разбуженном состоянии намного труднее, чем когда она находится на транквилизаторах. Загнать выпущенного джина обратно в бутылку неимоверно сложнее, чем держать бутылку в закупоренном состоянии. Вот почему возврат к «брежнему» бюрократическому правлению уже невозможен. Перед распадом империи на ее сцену, несомненно, выйдут «спасители отечества» с силовыми приемами, правой идеологией, возможно, шовинистически окрашенной. Но все это уже и не так важно с исторической точки зрения, Появление младотурок будет значить вовсе не спасение, а неизбежный конец этого политического анахронизма, который задержался на исторической сцене, как Майя Плисецкая — на балетной. Так, во всяком случае, было в истории прежде: к крайним мерам прибегают тогда, когда они уже не могут помочь.

ГЛАСНОСТЬ КАК НАДЕЖДА НА БУДУЩЕЕ

Комментарий редакции

Трудно не согласиться с рядом положений, высказанных в статье В. Соловьева. Подкупает, прежде всего, сам подход автора к теме, когда он не просто живописует факты и декларирует свое отношение к событиям в СССР, но предлагает их интересный и обстоятельный анализ. Вряд ли оспоримо, что сталинская империя переживает процесс распада, что «протагонист Горбачев», как он назван в статье, «обнажил процесс ее гниения», что его реформы предстают как мощный катализатор ее гибели. Нельзя не видеть и неудач Горбачева, — прежде всего в области экономической — не замечать бесконечных и плохо преодолеваемых трудностей, стоящих на его пути. Но перед нами не только оценка создавшегося в стране положения — автор ставит вопрос, как и чем обернется сегодняшний день для будущего СССР? И что значит в этом смысле горбачевская либерализация? Благо она или зло, если мы заглянем в завтрашний день? Предлагаемые нам размышления исполнены глубокого пессимизма. Мы ощущаем в статье почти эсхатологический настрой, особенно, когда заходит речь о черносотенных силах России как о «запасных игроках», на случай провала политики гласности. Провал этот в системе рассуждений автора выглядит как аксиома, не требующая доказательств. Попробуем трезво оценить этот прогноз и зададимся все тем же вопросом: возможен ли в СССР приход к власти русских шовинистов? Да, возможен. Как и возможны рецидивы сталинизма, или, скажем, победа консервативных сил, которые довольно решительно противостоят Горбачеву. Возможны разные варианты развития, и какому-то из них трудно отдать предпочтение: прогнозировать будущее России в условиях ее крайне противоречивой ситуации — дело весьма рискованное. В этой ситуации даже сами разговоры о будущем СССР, которым несть числа на Западе, выглядят не более, чем спекуляциями. И уж в любом случае, эти спекулятивные прогнозы не могут быть критерием — тем более единственным и главным критерием — в оценке происходящего сегодня.

Конечно, демократизация советского общества идет непоследовательно, с оглядкой на прошлое, с желанием сохранить нетронутой социально-экономическую структуру страны. Общество продолжает раздирать жестокий экономический кризис. Уровень жизни большинства населения остается нищенским. Все неотступнее на повестку дня встает вопрос о коренных реформах, связанных с отказом от ленинско-сталинской модели социализма. И хотя Горбачев не проявляет никакой решимости пойти на этот шаг, можно ли на этом основании умалять значение осуществляемой им демократизации? Значит ли, что мы не должны приветствовать свободу мнений на страницах советской печати? Или все большую свободу творчества? Или право людей на свободное выражение мыслей? Спору нет, мы не знаем, как это обернется в будущем: история изобилует примерами, когда на смену самым светлым надеждам приходили черные дни в жизни народов. И история России в этом смысле не исключение. Но свобода и демократия не могут оцениваться лишь прагматически, лишь с точки зрения их влияния на будущее страны. Они сами по себе — высшая ценность в жизни человека. И, если людям стало легче дышать, если они имеют возможность говорить то, что думают, если Советский Союз становится все более открытой страной, то это само по себе заслуживает широкой поддержки, независимо от того, каким нам представляется «исторический результат» этих перемен.

В своей статье Владимир Соловьев показывает, какую угрозу для советской империи несут национально-демографические противоречия. На национальных окраинах, то там, то здесь вспыхивает недовольство, растет брожение умов, со всех концов страны идут сигналы о неповиновении. Но и здесь невозможна предлагаемая нам однозначная оценка событий. Конечно то, что миллион армян вышли на улицы, требуя присоединения Нагорного Карабаха, можно расценить как тревожный симптом для империи. И требования крымских татар тоже один из симптомов. Так же, как и растущее недовольство жителей Прибалтики. Но сказать только это — значит сказать половину правды. Ибо другая половина состоит в том, что у нас на глазах, впервые в истории сталинской России, ее народы открыто, или почти открыто, пытаются выразить свою волю. Их пробуждение сопровождается угрозами и преследованиями со стороны властей. Еще ни один из протестов не принес их участникам победы, но сама возможность выйти на улицу и не оказаться поставленными к стенке (как это происходило при Сталине и его преемниках), возможность быть выслушанными на высших уровнях государства или даже принять решение, которое могло бы определить судьбу целого народа (как это произошло в Нагорном Карабахе), — не является ли все это свидетельством демократических перемен, которые должны найти поддержку в мире?

Всякий другой подход, сколь бы исторически логичным он ни казался, будет отражать лишь одну сторону происходящих процессов. Проникнутый апокалипсическими страхами перед историей, но лишенный человеческого содержания, он вряд ли будет поддержан в самой сегодняшней России. «Русская империя, — пишет Владимир Соловьев, — склоняется к закату, и ее идеологическая, политическая, демографическая деградация носит исторически неизбежный, фатальный характер. Никакие паллиативы ей не помогут, никакие полумеры не спасут — лечить можно больного, даже тяжело больного, умирающему ничего не поможет, даже, если бы у его постели дежурил более квалифицированный и последовательный эскулап, чем Горбачев».

Если бы все проблемы сегодняшней России сводились к теме «Горбачев и империя», если бы будущее страны целиком зависело от ее правителей, то возможно пессимизм автора и был бы оправдан. Но в том-то и дело, что русская тема сегодня выглядит несравненно шире, чем она выглядела еще вчера. Идя на демократические шаги, власти уже выпустили джинна из бутылки и вряд ли в состоянии загнать его обратно. Вместе с демократизацией рождается новая психология людей, которую нельзя отменить никаким Постановлением ЦК, никакой директивой сверху. В результате процессы, происходящие в СССР, все больше выходят из-под контроля ее правителей, и сегодня трудно представить, к чему они в конце концов приведут: только ли к развалу империи, принесшей столько горя народам России, или и к рождению нового общества, готового решительно свести счеты с прошлым.

Андрей СИНЯВСКИЙ

СВЯТОЙ ПАЛАЧ

Первоначально понятие «новый человек» или «коммунист» включало все самые прекрасные свойства. Это как бы человек во всей человеческой полноте, которая, наконец, раскрылась вследствие революции. Старейший пролетарский поэт Ф.Шкулев в стихотворении 1919 года с декларативным названием «Я — коммунист» писал:

Люблю я зори, воздух чистый
И голубые небеса,
Журчанье речки серебристой,
Родные нивы и леса.

Люблю желанную свободу,
Немую тишь и бури свист,
Погожий день и непогоду...
Я коммунист, я коммунист.

Но для того, чтобы созерцать природу и любить «голубые небеса», «зарю», «воздух» и прочее — не надо быть коммунистом. Истинный «коммунист» (или «новый человек») понятие куда более узкое и более точное. Здесь надо обладать

Глава из книги «Основы советской цивилизации».

немногими, но максимально развитыми свойствами.

Во-первых, это безграничная преданность высшей цели, которая состоит в построении идеального общества на земле. То есть — фанатическая вера в идею коммунизма.

Во-вторых, решительный переход от идеи к действию. «Новый человек» не мечтатель, а деятель и практик.

И, в-третьих, новый человек обязательно выступает как представитель массы или класса, который через него и осуществляет свой идеал. Новый человек никоим образом не одиночка. И даже если, допустим, в каких-то обстоятельствах ему приходится действовать одному, все равно психологически он ощущает связь с коллективом, который незримо стоит за ним. Этот коллектив называется «партия», «класс» или даже «весь советский народ», который в идеале состоит или должен состоять из «новых людей». Поэтому «новый человек» выполняет не свое собственное, а непременно большое, «общее» дело.

Отсюда — самый страшный человеческий грех, с точки зрения «нового человека», состоит в личном эгоизме или индивидуализме, в стремлении людей жить для самих себя, а не ради всеобщего счастья. А поскольку большинство людей на свете живет практически для себя и каждый думает и заботится в первую очередь о собственном благе, перед «новым человеком» возникает задача радикальным образом переделать саму человеческую природу и вытравить из нее этот «первородный грех» личного эгоизма. «Первородный грех» ярче и нагляднее всего персонифицируется в понятии «буржуй». Ибо «буржуй» откровеннее и больше всего живет для себя, притом за счет других, за счет пролетариата, что и находит выражение в капиталистической собственности.

Буржуй, помимо прочего, это явление психологическое и, можно даже сказать, повсеместно распространенное, универсальное, связанное с общечеловеческой природой. Поэтому и с ликвидацией буржуазии в сознании людей продолжают оставаться так называемые «буржуазные пережитки». Эти буржуазные пережитки проявляются в чем угодно — в индивидуализме, в лени, в разврате, в свободе, в присутствии каких-то некоммунистических идей и взглядов. Но суть этих пережитков одна, и потому они называются «буржуазными», — эта суть заключается в личной корысти, в личном интересе и вообще в личности человеческой, коль скоро она в чем-то расходится с общим делом. Отсюда необходимость подавления всего личного в других людях и в себе самом. Отсюда недоверие и даже ненависть нового человека к самому понятию «личность». Ибо личность это как бы недорезанный буржуй, сидящий внутри каждого из нас.

И такая новая порода людей действительно возникала. Наиболее отчетливо она проявляла себя в героизме, без которого немыслим «новый человек». В идеале героический подвиг «нового человека» не должен был приносить ему никакого личного успеха, никакой корысти и должен даже оставаться безымянным. В документальной книге о Чапаеве Фурманов рассказывает, что в некоторых дивизиях во время гражданской войны бойцы и командиры отказывались получать ордена и мотивировали свой отказ так: либо всем давайте ордена, либо никому не надо. Разумеется, такой идеализм был невыгоден самой власти. Потому что орден это тоже частица воспитательной работы по выделыванию людей новой породы. И ордена очень скоро внедрили, и орденами невероятно гордились и гордятся советские люди. Но первоначальный отказ получать ордена говорит нам, как развито было сознание и чувство равенства в начале революции.

Но самым актуальным учебником жизни для молодых людей советской эпохи разных поколений считался роман Николая Островского «Как закалялась сталь». Этот воспитательный роман имел тем больший успех, что был автобиографическим, и речь шла не о выдуманном герое, а о вполне реальном человеке с героическим прошлым и настоящим. К тому же сам акт написания романа был тоже в

известном смысле героическим. Писал его автор, ранее никому не известный, тяжелобольной, прикованный к постели, слепой. И по самой идее романа его написание было последним долгом человека в борьбе за коммунизм, последней пользой, которую он мог принести обществу.

Но вот, примерно через тридцать лет после романа Островского, Александр Солженицын как бы откликнулся на него и на идею нового человека — рассказом «Случай на станции Кречетовка». Внутренняя полемика с романом Островского угадывается уже в названии рассказа. Герой Островского Павка Корчагин начинал свой героический путь со станции Шепетовка. А Солженицын изображает сходную по звучанию станцию — Кречетовка, где в роли дежурного помощника коменданта поставлен молоденький лейтенант Зотов. Действие происходит поздней осенью 1941 года, в момент панического отступления советских войск. Через станцию проходят эшелоны с фронта и на фронт, так что у помощника коменданта Зотова работы по горло. Через станцию проезжают и те солдаты, что вышли из немецкого окружения. Среди них бывший артист Тверетинов, доброволец из ополчения, отставший от своего эшелона, человек без документов (все документы они уничтожили, попав в окружение). Он просит посадить его в какой-нибудь поезд, чтобы добраться до Москвы. Зотов испытывает глубокую симпатию к этому интеллигенту, беседует с ним, хочет от всей души помочь и вдруг по нелепому подозрению решает, что перед ним переодетый немецкий диверсант. И он его арестовывает. «— Что вы делаете! Что вы делаете! — кричал Тверетинов голосом гулким, как колокол. — Ведь этого не исправишь!» Рассказ заканчивается тем, что Тверетинов бесследно исчезает в недрах НКВД, а Зотов потом всю жизнь не может его забыть.

Но ведь Зотов — и в этом главная удача и новое слово Солженицына — человек совсем не жестокий, только воспитанный на идеалах революции и на советских романах. О нем сказано, что он не имел никакого имущества и в

принципе не хотел иметь никогда, еще мальчишкой мечтал воевать в Испании, всю жизнь болел интересами только общего дела. Он и сейчас мечтает погибнуть на фронте. «Зотов совсем не хотел уцелеть с тех пор, как началась война. Его маленькая жизнь значила лишь — сколько он сможет помочь Революции».

Сама идея и даже термин «новый человек» высказаны впервые не Революцией, а Религией. Христианство, например, предлагает верующему совлечь с себя «ветхого человека», то есть очиститься от греха, и с помощью Божией стать «новым человеком». Только эти люди сами себя никогда не называют «новыми людьми», а почитают себя грешниками, все доброе и святое, что они совершают, адресуя Богу, который через них и творит свою волю.

«Новые люди», созданные революцией, тоже принадлежат к религиозному типу сознания. Тут и фанатическая вера в коммунизм, и идея жертвы, которая приносится «новым человеком», и отказ от собственной, личной выгоды, и даже от собственного «я». Но при этом странная трансформация происходит с нравственностью. Она не то чтобы отменяется, но ставится на второе и подчиненное место. Она подчинена интересам класса, интересам общего дела. Поэтому вводится особое понятие — «коммунистической морали».

Выступая в 1920 году перед комсомольской молодежью и направляя ее в будущее, Ленин говорил: «...Наша нравственность подчинена вполне интересам классовой борьбы пролетариата...»

Из этого основополагающего высказывания Ленина по вопросам этики, естественно, вытекает, что человеку все дозволено, все нравственно, если это служит интересам рабочего класса и пользе дела. Нравственно и убить, и украсть, и солгать... Но только, разумеется, делая все это не для себя. Ленин, например, учил западных коммунистов, как надо проникать в рабочие профсоюзы и захватывать их под свое руководство. Необходимо, учил Ленин, «в слу-

чае надобности пойти на всяческие уловки, хитрости, нелегальные приемы, умолчания, сокрытие правды, лишь бы проникнуть в профсоюзы» («Детская болезнь левизны»).

Странно после всего этого слышать от умирающего Ленина, что у Сталина «нет элементарной честности, самой простой человеческой честности...» (Л.Троцкий).

Эко спохватился!

Интересно сравнить психологию коммуниста с психологией террориста-эсера, которая, несмотря на кровавые акции, куда более нравственна и традиционна, с точки зрения норм высокой революционной этики, сложившихся еще в прошлом столетии у революционеров-народников.

В 1912 году вышла любопытная повесть В.Ропшина «То, чего не было». Это повесть о терроре и о психологии террориста из партии эсеров. Она написана на личном опыте: Ропшин — литературный псевдоним известного революционера Бориса Савинкова. И вот Ропшин-Савинков устами своего героя задает себе вопрос, на который сам же потом отвечает. Как совместить необходимые для революции убийства и другие грехи с понятиями о нравственности? Ведь если эти понятия исчезнут в человеке — революционер превратится просто в убийцу.

«Когда я в партию поступал, я думал, что все решил... Почти все так думают. Насилие? Во имя народа дозволено и насилие. Ложь? Во имя революции дозволена ложь. Обман? Во имя партии дозволен обман. А теперь вижу, что не так это просто... Что ж, или цель в самом деле оправдывает все средства? Или в самом деле позволено все?..»

Нет, по мнению автора и героя этой повести, никакая высокая цель не оправдывает все средства. Ни интересы народа, ни интересы партии, ни интересы революции не делают убийство или насилие нравственным: «Да, нужно лгать, обманывать, убивать, но не надо говорить, что это позволено, что это оправдано, что это хорошо, не нужно думать, что ложью приносишь жертву, убийством свою душу спасаешь. Нет, надо иметь смелость сказать: это дурно, жестоко и страшно, но неизбежно... Да, неизбежно... Террор не только жертва, но и ложь, но и кровь, но и стыд».

И еще у него мелькает мысль, интересная для нас в историческом отношении. По долгу конспиративной работы ему приходится общаться с дворниками и с извозчиками, которые его поражают отсутствием всякой морали и какой-либо высшей цели в жизни. И он думает: «Мы боремся, отдаем жизнь... А вот эти... Супрыткины (Супрыткин — фамилия извозчика, — А.С.)... придут и нас победят... Победят великолепною тупостью, сытым брюхом, глупым самодовольством, сапогами, гармоникой и деревянной уверенностью в себе...»

В конечном счете, можно сказать, это и произошло. Супрыткины победили революционеров-интеллигентов. Большевиков-ленинцев еще нельзя назвать супрыткиными. Но они, в отличие от старых революционеров народнического склада, уже обладают деревянной или железной уверенностью в себе и в безусловной правоте своего дела. И поэтому, в принципе, не испытывают раздвоения между совершаемым грехом насилия и нравственностью, как это испытывает герой Савинкова. Поэтому, между прочим, большевики оказались сильнее эсеров, несмотря на свою малочисленность и громадное большинство крестьянства, которое после революции поддерживало эсеров. Эсеры были уничтожены как враги революции. И Савинков это предчувствует. Его герой выслушивает следующую нотацию со стороны твердокаменного оппонента: «Знаете, ваша точка зрения — плохая, да, плохая. Это точка зрения тех, кого побеждают. Я скажу: точка зрения романтиков».

Это верно, хотя мы знаем, что и большевики бывали романтиками. Но только не романтиками нравственности, как это было свойственно старым революционерам. При всех террористических актах, которые те совершали, они сохраняли старомодный (и в этом смысле романтический) взгляд, что убивать это нехорошо. И поэтому не считали, что цель

оправдывает все средства. А вот Ленин считал — и поэтому, в частности, победил.

На повесть Ропшина-Савинкова тогда же откликнулся в журнале «Заветы» лидер партии эсеров Виктор Чернов — статьей «Этика и политика». В этой статье он ставит ту же проблему, что и Савинков в своей повести: как сочетать нравственные нормы с действиями революционера, который необходимо вынужден нарушать эти нормы, если уж ввязался в настоящую революционную борьбу? Революционер не может обладать, говорит Чернов, нравственным максимализмом Льва Толстого с его теорией непротивления злу насилием. (Или, добавим от себя, каким обладает — религия. С таким нравственным максимализмом нельзя убивать.) Но революционер обязан пуще зеницы ока сохранять этический минимум, который и служит границей революционному насилию и является гарантией, что истинный революционер не превратится в убийцу или в деспота.

В статье об этике и политике Чернов старается наметить нравственный минимум или этический кодекс революционера, законы которого тот не вправе нарушать. Это, я бы сказал, весьма важный кодекс, который впоследствии и был нарушен большевиками: «Революционный деспотизм (с точки зрения этического кодекса революционера, — А.С.) стоит на такой же доске, как и деспотизм контрреволюционный. Мстительный инстинкт ею (революционной этикой, — А.С.) отвергается равно, исходит ли он от угнетателей народа или борцов за его освобождение. Гонения против идеи для него равно противны, будет ли эта идея отсталой или передовой».

Все подобные рассуждения Ленин называл гнилым буржуазным либерализмом, который опаснее самого страшного врага. И понятно: для того, чтобы победить, нужно было отказаться от всех норм общечеловеческой этики и придать ей классовый, партийный характер.

Это совсем не значит, что новый человек был безнравственным. В чем-то он превосходил нравственностью обыч-

ных средних людей. Допустим, жил не для себя, а для общего блага, для всех или, точнее выражаясь, для наших. Но при всем том нравственность его была изуродована сознанием, что убийство врагов — это не зло, а добро, а зло, наоборот, — это милосердие или сострадание к врагам.

Вот поэтический документ революционной эпохи — книга стихов весьма посредственного и сейчас забытого пролетарского поэта Василия Князева «Красное евангелие», написанная в 1918 году и в том же году выдержавшая несколько изданий. Это был, по существу, кодекс коммунистической морали, изложенный стихами и призванный заменить Евангелие. Автор формулировал основные законы этики в роли, как он себя называл, Второго Христа. Не нужно думать, однако, что поэт Князев старался лично себя как-то возвеличить в качестве новоявленного мессии. Он выступает не от собственного имени, а от лица всей победившей революции.

Народ, внимай словам пророка:
Прочь от предательских дорог!
Нет в битве гибельней порока,
Чем милосердия порок!

Впоследствии, в 30-е годы, самый широкий резонанс в советской прессе и в судебной практике приобрел знаменитый лозунг Горького: «Если враг не сдается — его уничтожают». Но Горький, по крайней мере, чисто формально предполагает «если не сдается», если продолжает борьбу. А у Князева мы имеем более точный и страшный призыв: убивайте и тех, кто просит пощады. Добивайте раненых, закалывая штыком, а пленных — расстреливайте.

Никого не берите в полон —
Пулю в лоб возрождающим трон!

Или:

Блажен незнающий пощады
В борьбе с противником своим!

Эти «красные заповеди» вызвали обратную, нравственную реакцию со стороны русской интеллигенции в лице

лучшего ее представителя — В.Г.Короленко, который был связан с революционно-народнической традицией, сам побывал в царской тюрьме и ссылке, но отличался тем, что выступал за всех обиженных, независимо от партий. И вот этот интеллигент-праведник восстал против Октябрьской революции и против новой коммунистической морали. Восстал чисто нравственно, из соображений этики. Уничтожить Короленко советская власть не могла, поскольку он обладал громадным авторитетом — не только большого писателя, но совести русской интеллигенции. Поэтому в спор с Короленко вступил сам Луначарский, наиболее либеральный и культурный представитель правительства. Спор этот выразился в виде переписки между Луначарским и Короленко, которая, разумеется, ни к чему не привела, а только выразила разные позиции спорящих сторон — между общечеловеческой этикой Короленко и коммунистической моралью Луначарского.

Короленко вскоре умер, а Луначарский написал в честь его некролог, под названием «Праведник», где, отдавая дань Короленко, продолжал с ним спортить на тему — можно ли проливать неограниченно кровь и как это согласуется с нравственностью. «Праведники в ужасе от того, что руки наши обагрены кровью. Праведники в отчаянии по поводу нашей жестокости… Праведник никогда не может понять, что любовь «жертв искупительных просит», да не только жертв со своей стороны (это-то праведник поймет), а и принесения в жертву чужих...»

Луначарский здесь выражается несколько высокопарно, но подразумевает вполне конкретное явление, и право, и мораль революции — неограниченного насилия. В той же статье в честь Короленко Луначарский произносит фразу, мне кажется, весьма примечательную для понимания морального кодекса коммунизма и психологии «нового человека»: «...Праведничество, сама незапятнанность одежды, несомненно включает в себя нечто, глубоко неприемлемое для революционных эпох».

Не знаю, подозревал ли Луначарский, о чем он говорит. Но он говорит о том, по сути, что новый человек должен быть запятнан кровью, чужой кровью, которая и есть высший знак его праведности. В итоге нравственный кодекс революционера-праведника превращается в нравственный кодекс палача и доносчика. И беда не в том, что палачи и доносчики появились в невообразимом количестве откуда-то извне, как нечто противоположное «новому человеку» с его героизмом и аскетическим отречением от собственного «я». Беда в том, что сам этот «новый человек», чтобы быть новым, стал палачом и доносчиком. Запятнанность кровью из случайности переросла в историческую — и более того — в психологическую необходимость.

Новая этика свой конкретный идеал или образец нравственности нашла в личности Дзержинского, председателя ВЧК. Чекисты занимались борьбой с внутренней контрреволюцией. То есть, практически, самой низкой и грязной работой — арестами, допросами, расстрелами, обысками, изъятием ценностей, слежкой, организацией сети доносчиков и шпионов, сети тюрем и лагерей. ЧК — это самое страшное орудие диктатуры, наводившее ужас на всю Россию. А Феликс Эдмундович Дзержинский — это первый и главный палач в новом государстве, показавший себя в самом кровавом и беспощадном блеске. И вот главному палачу и тюремщику в системе новых этических ценностей достается роль самого высокого нравственного образца. Это может показаться на первый взгляд извращением, какой-то патологией нового общества. Но если вдуматься в нравственный кодекс коммунизма и в психологию нового человека, ничего патологического или противоестественного в этом нет. Ибо высшая мораль и состоит в том, чтобы отдать себя без остатка служению идее и обществу, переступив во имя долга все мыслимые границы личной или общечеловеческой нравственности. В этом смысле Дзержинский, взяв на себя функции главного палача, стал святым подвижни-

ком и воплощением добродетели. Роль палача не снижает, а увеличивает его моральный престиж.

Революционер — если взять это понятие в аспекте русской традиции — это человек, который на себе испытал царские казни и тюрьмы. Революционер — это дворянин революции. Он достиг совершенства и благородства, пройдя весь этот опыт, и больше всего на свете возненавидел казни и тюрьмы, в отрицание которых он и борется и живет. А теперь этому дворянину революции — необходимо совершить новый подвиг — самому стать палачом и тюремщиком. Это, как тогда казалось, временная и печальная необходимость, самая важная однако. Все убивали всех, но верховным убийцей, организатором казней и тюрем, должен был стать человек кристальной чистоты души. И, запятнав ее кровью, он становился в глазах почитателей поистине великим страдальцем. Он приносит себя на заклание революционной космогонии, созданию нового мира и нового человека.

Отсюда неожиданное сближение Дзержинского — с самим Христом. И тот и другой приносят себя в жертву во искупление грехов человечества. Но Христос, как мы знаем, искупает человеческий грех своей смертью и воскресением. А новый святой, Дзержинский, берет на себя грехи в виде массовых убийств и мучительств, которые он совершает во имя установления Царства Небесного на земле. В итоге в советской иконографии Распятый Бог подменяется Святым Палачом.

Надо сказать, что сам Дзержинский в качестве нравственного образца революции был подготовлен к этой роли всей своей жизненной судьбой и психологией. Насколько мы можем судить объективно об этой таинственной личности, Дзержинский обладал рядом достоинств. Сам по себе, по-видимому, он не был жестоким человеком, но отличался душевной чистотой и благородством. Более того, по складу характера Дзержинский это религиозный психологический тип. Известно, что до 16-ти лет он был очень религиозен,

был убежденным христианином-католиком и даже собирался стать ксендзом или монахом. Однажды его старший брат Казимир, который не верил в Бога, спросил, как он представляет себе Бога. И юный Дзержинский ответил: «Бог — в сердце, — и указал себе на грудь. — Да, в сердце! И если я когда-нибудь пришел бы к выводу, как ты, что Бога нет, то пустил бы себе пулю в лоб. Без Бога я жить не могу».

Существовала даже легенда, что и будучи председателем ВЧК Дзержинский продолжал в душе оставаться католиком и между казнями и ночными допросами втайне молился Пресвятой Деве Марии. Очевидно, это выдумка. Но, как это иногда бывает, выдумка чем-то соответствующая психологической натуре Дзержинского. А именно, свою юношескую религиозность он превратил в религиозность революционную и пламенную веру в Бога перенес на коммунизм.

Помимо того, Дзержинский любил природу, цветы. Был, что называется, поэтической натурой. И что нам особенно удивительно — страстно любил детей. Вот отрывок из его письма к сестре 1902 года, когда 25-летний Дзержинский был уже убежденным социал-демократом: «Не знаю почему, я детей люблю так, как никого другого... Я никогда не сумел бы так полюбить женщину, как их люблю, и я думаю, что собственных детей я не мог бы любить больше, чем несобственных... Часто, часто мне кажется, что даже мать не любит их так горячо, как я...»

Это нам опять-таки кажется какой-то невероятностью. Человек, который больше всего на свете любит детей, превышая даже материнскую любовь, — становится в конце концов палачом. Но на таких переворотах и построена революционная этика. Самый любящий и самый чистый — Дзержинский — должен больше всего убивать. Потому что для него это жертва, которую он приносит детям. А дети — это наше будущее, это коммунизм. Любовь к детям Дзержинский пронес через всю жизнь. И, занимаясь расстрелами, попутно организовывал детские дома и колонии

для беспризорных. После гражданской войны, помимо роли главного чекиста, наркома внутренних дел, Дзержинский занимал еще важные хозяйственные посты. Но, по свидетельству жены Дзержинского, мечтал об одной должности, хотя, увы, до нее не дожил. Он мечтал, что когда-нибудь со временем все свои полицейские и хозяйственные посты он сменит на один — народного комиссара просвещения и всего себя отдаст детям и воспитанию молодежи. Не правда ли прекрасная перспектива — в духе коммунистической нравственности — главный палач в роли воспитателя?! В роли творца нового человека.

Наконец, Дзержинский обладал еще одним качеством, которое позволило ему стать нравственным эталоном революции. Это натура необыкновенно деятельная, энергичная, отдавшая себя с юности практической борьбе. Поэтому он очень рано был арестован, и два десятилетия до революции — это для Дзержинского время арестов, побегов, подполья, ссылок и длительного тюремного заключения. В общей сложности в тюрьмах и ссылках он провел одиннадцать лет, притом порою в довольно тяжелых условиях — одиночного заключения и каторги. И если больше всего на свете он любил детей, то больше всего на свете ненавидел тюрьму. Он лучше многих других большевиков изучил тюрьму и знал ее изнутри. Для самого Дзержинского вся революционная борьба — это в первую очередь разрушение тюрьмы — в узком, прямом значении этого слова, и в самом широком, социальном смысле.

И этот человек из ненависти к тюрьме после революции стал первым тюремщиком и основателем тюремной системы, какой, пожалуй, еще не знала история. Это не было для Дзержинского изменой своему идеалу — идеалу свободы, — но было конкретной борьбой за этот идеал. На пост Председателя ВЧК был поставлен человек с ореолом тюремного мученика и репутацией праведника. Этого человека нельзя было заподозрить ни в садизме, ни в личной корысти, ни даже в особом пристрастии к тюремно-полицейской работе. Он занимался кровавым делом не из любви к искусству, а по самой тяжелой и крайней политической необходимости, исполняя задание партии. Но делал и исполнял беспощадно, проявляя исключительную энергию и волю. Дзержинского величали и величают «рыцарем революции». И это ему подходит. Ибо слово «рыцарь» предполагает как бы соединение пламенной веры, душевной чистоты, внутреннего благородства и несгибаемой силы и воли к действию.

Аскетический антураж — иногда подлинный, а иногда показной, декоративный, — вообще характерен для первых революционеров. Он призван был подчеркнуть, что у человека, отдавшего себя делу революции, нет ничего своего или почти ничего. В 1918 году, уже находясь на посту председателя ВЧК, Дзержинский писал жене, что вся его жизнь проходит «в огне борьбы. Жизнь солдата, у которого нет отдыха, ибо нужно спасать горящий дом. Некогда думать о своих и о себе. Работа и борьба адская. Но сердце мое в этой борьбе осталось живым, тем же самым, каким было и раньше. Все мое время — это одно непрерывное действие, чтобы устоять на посту до конца...»

Он действительно стоял на посту до конца, и работал до последней минуты, и умер сравнительно рано, в 1926 году, 48 лет отроду, умер внезапно, от разрыва сердца. Смерти Дзержинского его товарищи придавали символическое значение, говоря, что вся его жизнь была революционным горением и он сгорел на работе, отдав свое сердце — революции.

Дзержинский еще при жизни пользовался большим авторитетом в партии. Он был чуть ли не единственным человеком в партии, который мог оказывать влияние на самого Ленина. Помимо деловых качеств, Дзержинский, очевидно, привлекал Ленина тем, что претворил до конца на практике ленинскую теорию насилия, ни перед чем не останавливаясь и в то же время соединяя эту холодную жестокость с личной нравственной безупречностью. Так возник в исто-

рии советского общества культ святого палача Дзержинского. Этот культ чрезвычайно важен и для государства в целом, и для развития карательного, чекистского аппарата в особенности. Но не менее он важен с нравственно-воспитательной точки зрения: Дзержинский становится примером нового человека, достойным всяческого подражания. Ведь Ленину подражать невозможно. Ленин слишком велик и уникален в системе коммунистических ценностей. Ленин — гений, каких не знала мировая история. И не всем же быть гениями, не всем же быть вождями и политиками такого калибра. А вот «рыцарей революции» нужно много. И Дзержинскому можно и нужно подражать. Поэтому Маяковский в поэме «Хорошо» пишет:

Юноше, обдумывающему житье,
решающему — сделать бы жизнь с кого,
скажу не задумываясь: Делай ее
с товарища Дзержинского.

Если мы вдумаемся в рекомендательные строчки Маяковского, нам станет не по себе. Ведь подражать рекомендуется не кому-нибудь, а палачу. Следовать примеру Дзержинского для советского юноши означает — пожертвовать чистотой души и стать, если надо, чекистом, доносчиком, шпионом, палачом. Ибо в этом переступании через себя, через собственную индивидуальную совесть — и заключается высшая революционная мораль. А ведь Маяковский сам был человеком очень нравственным, чистой и нежной души. Но вместе с тем, как истинный революционер, он понимал, что путь в прекрасное будущее лежит через кровь и грязь. И чтобы в мире навсегда исчезло всякое насилие, нужно совершить величайшее насилие — и над самим собой, и над другими людьми. Чтобы повсюду разрушить тюрьмы, нужно сначала построить новую большую тюрьму, которая исправит человечество. И для всего этого нужны — Дзержинские...

Следует заметить, что в таком понимании этики Маяковский был далеко не одинок. Сошлюсь на стихотворение

Багрицкого, также посвященное Дзержинскому, — «ТВС», — написанное в 1929 году. Речь идет о больном поэте, страдающем туберкулезом (сам Багрицкий тяжело страдал астмой и, по сути, это стихотворение о самом себе), который страшно устал и весь мир ему отвратителен, а надо работать, и нет сил. И вот ему на помощь — в туберкулезном жару и бреду — является призрак Дзержинского:

Жилка колотится у виска,
Судорожно дрожит у век.
Будто постукивает слегка
Остроугольный палец в дверь.

Надо открыть в конце концов!
«Войдите!» — И он идет сюда:
Остроугольное лицо,
Остроугольная борода...

Это приходит Дзержинский и, садясь на постель к больному, начинает его учить и наставлять. И Дзержинский говорит Багрицкому голосом века, советской современности:

А век поджидает на мостовой,
Сосредоточен, как часовой.
Иди и не бойся с ним рядом встать.
Твое одиночество веку подстать.
Оглянешься — а вокруг враги;
Руки протянешь — и нет друзей;
Но если он скажет: «Солги» — солги,
Но если он скажет: «Убей» — убей.

В советской литературе и в быту писателей в 20-е и 30-е годы наблюдается странное и необычное для истории литературы явление: дружба писателей с чекистами. С чекистами, как с друзьями и ценителями литературы, общались — Маяковский, Багрицкий, Светлов, Луговской, Бабель, Горький. О чекистах как особой и новой породе людей писали многие авторы. Тут чувствуется своего рода внутреннее влечение литературы к людям этого типа, этой профессии, облеченным какими-то высшими и таинственными полномочиями. Тут чувствуется некое сродство душ и принадлежность к советской элите — доверенных писателей и ответственных чекистов. И те, и другие в своей

работе имеют дело с человеческим материалом, с разнообразной и сложной психологией, требующей определенной тонкости и проницательности, умения читать в человеческих сердцах. Перед теми и другими стоят задачи по исправлению человечества, у одних словом, у других — делом. Одни, писатели, — это «инженеры человеческих душ»; другие, чекисты, — это своего рода «хирурги человеческих душ». А нравственные преграды для общения с чекистами у советского писателя, да и вообще у настоящего советского человека, отсутствуют. Ибо предполагается, что чекисты и есть самые нравственные люди, рыцари без страха и упрека, стоящие на страже завоеваний революции. Как учил еще Дзержинский своих сотрудников, чекист должен обладать тремя основными качествами: у него должно быть пламенное сердце (т.е. вера и готовность на все), холодная голова (точный расчет) и чистые руки (чекист не имеет права преследовать личные выгоды). А то, что эти чистые руки запачканы кровью, никого не смущало, поскольку моральные заповеди чекист преступал лишь в интересах общего дела, и это нравственно возвышало в глазах общества: чекисту труднее, чем всем. Как говорит Багрицкий о Дзержинском:

О мать революция! Нелегка
Трехгранная откровенность штыка...

В 1927 году поэт Михаил Светлов написал одно из лучших своих стихотворений — «Пирушка», где изображается романтическое ночное застолье. Поэт участвует в пирушке на особом элитарном уровне, в узком кругу командиров Красной Армии и чекистов. Они пьют за 17 год, за гражданскую войну и будущие бои и походы. Застольем владеет атмосфера душевной разнеженности и восторженности, как это случается нередко в подобного рода мужских компаниях. Но удивительно, что восторг и нежность обращены главным образом на те жестокости и насилия, которые совершали эти красные командиры. И потому к восторгу и нежности примешивается скорбная нота: ведь это же печальная историческая необходимость — жечь города, убивать и мучить. Автор обращается к одному из присутствующих:

Расскажи мне, пожалуйста,
Мой дорогой,
Мой застенчивый друг,
Расскажи мне о том,
Как пылала Полтава,
Как трясся Джанкой,
Как Саратов крестился
Последним крестом...

Видать, от этого застенчивого товарища пришлось солоно многим русским городам.

Но самый первый, главный и восторженный тост поэта обращен к председателю ЧК —

Пей, товрищ Орлов,
Председатель Чека!
Пусть нахмурилось небо
Тревогу тая
Эти звезды разбиты
Ударом штыка,
Эта ночь беспощадна,
Как подпись твоя.
Пей, товарищ Орлов,
Пей за новый поход!
Скоро выпрыгнут кони
Отчаянных дней,
Приговор прозвучал,
Мандолина поет,
И труба, как палач,
Наклонилась над ней...

Вот это братание поэтов с палачами, поэтизация тяжелой чекистской работы, культ насилия и чекизма, отрицание нравственных заповедей во имя высшей, коммунистической морали, — все это плохо кончилось и для поэтов, и для народа, и даже для многих палачей.

Незадолго до гибели Бухарин, будучи в Париже в 1936 г., в частном разговоре высказывал тяжелейшие сомнения по поводу всего направления советской истории и партийного курса. Предчувствуя собственную гибель, Бухарин испытывал своего рода ностальгию по забытой общечеловеческой нравственности. А ведь тот же Бухарин в 20-е годы требовал переделать коренным образом, в коммунистичес-

ком духе, саму психологию человека и находил в этом главную задачу советского общества: «Плановая подготовка новых людей». К середине 30-х гг. эта плановая подготовка была закончена. И вдруг Бухарин вспомнил о нравственности. Его собеседник в Париже (Б.Николаевский) был настолько удивлен, что спросил: «Николай Иванович, вы, кажется, уверовали в десять заповедей?» Бухарин ответил: «Они не так уж плохи — десять заповедей». В одной этой реплике Бухарина, по сути дела, — признание ущербности всей системы воспитания советских людей, всего морального кодекса коммунизма. Но было поздно вспоминать о библейских заповедях. Да никто о них и не вспоминал, кроме людей, поставленных перед лицом смерти. А «новый человек» был уже сотворен. И этот «новый человек» повторял, как попугай, другую заповедь:

Но если он скажет: «Солги» — солги,
Но если он скажет: «Убей» — убей...

Причем этот многозначительный «он», диктующий убить и солгать, с течением времени заметно упростился. Это уже не XX век, не время, не историческая необходимость, а лично товарищ Сталин, отдававший такие приказы. Проще того: «он» — это вышестоящий начальник, который лучше знает, что требуется в данный момент от советского человека. В результате нравственный императив революции, призывавший на сделки с совестью, преобразовался в обычный конформизм. А «новый человек» обернулся заурядным служакой, угодливым рабом, механическим исполнителем чьих-то приговоров...

Эрнст Неизвестный

ГЕНИЙ НА РЫНКЕ ИСКУССТВ

Что такое искусство? Есть ли ответ? Ответов много — они принадлежат философам, критикам, социологам, но я позволю себе начать с того, какое определение искусству дал американский суд.

Историю эту мне рассказал бывший директор американского музея «Модерн арт», человек, которого называют отцом американской фотографии, Эдвард Стайхен. Дело было связано с иском Стайхена к таможенным властям, которые не разрешили ему ввести без пошлины в Америку небольшую абстрактную скульптуру Бранкузи. Вообще, по американским законам предметы искусства, ввозимые из других стран, не облагаются налогами. Но, по-видимому, то, что вез Стайхен, меньше всего отвечало представлениям таможенников об искусстве. И хотя налог, который ему предложили уплатить, не был велик, сам вопрос в глазах Стайхена имел принципиальное значение. Поэтому дело и дошло до суда, который вынес следующее решение: «Предметом

изобразительного искусства может считаться любой объект, который его создатель считает искусством и при наличии еще одного человека, который соглашается с тем, что это искусство».

На первый взгляд, перед нами типичный образчик судебной казуистики, вроде бы даже лишенный смысла. Какой-то, скажем, графоман малюет на холсте нечто невообразимое и под восторженные похвалы жены или любовницы, объявляет себя творцом искусства. Но как часто бывает в правосудии, нечто, кажущееся на первый взгляд нелепым и алогичным, оказывается исполненным глубокого смысла. Да, наш графоман объявит себя Ван Гогом или Рафаэлем и пусть даже будет признан таковым его подругой жизни (то есть налицо второй человек, подтверждающий его гениальность), но он так и останется никем, пока не получит признания общества. Однако самое важное тут другое, что каждому человеку в этой стране дано право взять в руки кисть или резец скульптора и вступить на стезю искусства. В этом смысле решение по иску Стайхена являло собой великий триумф свободы искусства. Свобода эта дается всем. Никто не ограничен в праве дерзать и доказать свою гениальность. Все остальное зависит от личности художника. Общество снимает с себя ответственность — ответственен сам создатель.

В СССР насчитывается 14 тысяч художников. Что их отличает от прочих смертных? Одно-единственное: что они — члены Союза художников, Союзного или Республиканского, или разных там МОСХОВ, ЛОСХОВ, РОСХОВ и, появись за их пределами трижды Пикассо или Сальвадор Дали, они так и останутся никем. Рафаэль, не вовлеченный в Союз художников, ничего не значит и никому не нужен.

В одном Нью-Йорке 470 тысяч художников, то есть в тридцать с половиной раз больше, чем во всем СССР. И это только американцев, то есть людей с паспортами Соединенных Штатов, а сколько художников-эмигрантов, легальных или нелегальных?

Что же отличает американского художника от всех прочих смертных? В Нью-Йорке, где нет никаких творческих союзов? Где никто за них не ответственен? Никто и ни на что их не наставляет? Отличает их то, что они назвали себя художниками и готовы это доказать на рынке искусств. Ведь из 470 тысяч, вышедших на рынок, за счет искусства кормится меньше одной десятой. Думаю, что в этих двух цифрах заключен глубокий драматизм ситуации: необычайное напряжение и небывалая по остроте борьба художника за то, чтобы выжить и утвердить себя на рынке искусств.

Возникает и другой вопрос: откуда за короткий период появилось столько художников, столько людей, претендующих на причастность к искусству, на интеллектуальность, а зачастую и на гениальность? Начнем с того, что в Америке, в течение трех технических революций, было высвобождено гигантское количество людей, занимавшихся раньше физическим трудом. Сорок процентов фермеров еще недавно кормили 60 процентов населения Америки. Сегодня, как мы знаем, лишь два процента кормит все население страны. И произошло это на протяжении только одного поколения. Где же остальные тридцать восемь процентов? Часть, вероятно, ушла в бизнес, часть — в армию, кто-то в медицину, кто-то в юриспруденцию, но все эти люди не составляли большинства. Большинство, как не трудно понять, не имело ни желания, ни упорства, и главное денег, чтобы получить образование и подняться на верхние интеллектуальные этажи общества. И вот самым легким в этих условиях оказалось объявить себя «интеллектуалом» — писателем, поэтом, художником, — записав в налоговой декларации: «писатель-сэлфимплоймент» или, скажем, «художник-сэлфимплоймент» — ничего прочего, чтобы стать «интеллектуалом» в этой стране не требуется.

Мы можем лишь догадываться, как протекала эта «интеллектуальная революция», сколько самолюбия, страстных надежд, ущемленных амбиций ринулось в эту «брешь», какое море дилетантов перемешалось с профессиональными художниками, какая армада психопатов провозгласила себя непризнанными гениями, сколько псевдоинтеллектуалов оказалось рядом с людьми действительно высокого духа.

Все это и определило обстановку на рынке искусств, где в мутном, грохочущем потоке графомании все труднее отличить дилетанта от творца, новатора от просто вульгарного провокатора, творца гениальных провокаций от его жалких имитаторов.

Любой художник претендует на личностную исключительность и, куда чаще, чем кажется окружающим, верит в собственную гениальность. Неспособность доказать это рождает у него душевную ранимость, несоразмерные амбиции, он впадает в депрессию, становится истеричным и готов отрицать все и в первую очередь саму окружающую его р е а л ь н о с т ь. И очень часто, когда я вижу толпы левых интеллектуалов-художников или писателей, требующих свободы творчества (которой якобы лишило их общество), когда я наблюдаю их бурные манифестации протеста, я начинаю догадываться, что вот таким, модным в наше время образом, они изливают бурлящую в их душах горечь от собственных неудач. Это протест против века, который дал им возможность заниматься тем, что им генетически не свойственно, бунт против судьбы, которая немедленно, как говорится, не отходя от кассы, не сделала из них Микельанджело или Данте. Тут и впрямь есть от чего рехнуться. Ведь для себя, для окружения, для жены или любовницы они уже объявили себя гениями, они страстно уверовали в это и теперь мечут проклятия на общество, которое не готово их признать. Их внешняя революционность, по существу, является позой готовности. Это как в любовных играх, когда протест является призывом: призыв,

обретающий форму протеста. Истерические крики: «Нет!», «Нет!», «Не хочу!» фактически служат страстным зовом: «Я готов! Я готова! Я здесь! Почему ты меня не берешь!»

Приведу одну сценку из моих, теперь уже давних, записок о нью-йоркском рынке искусств, сценку карикатурно-пафосную, но сделанную по первым, очень острым моим впечатлениям и потому, заранее извинившись перед читателем, не стану в ней ничего менять.

«Многие выставки искусства напоминают мне юношеский онанизм, цинизм испуганности жизнью, поверхностное юношеское прыщавое остроумие, любование собственной свободой переростка, дитяти, который смело сказал маме, что не будет есть кисель на третье. Вот один смелый, в очках, натаскал камней на паркетный пол в прекрасное помещение, не доступное для других. И без ритма, без какого-либо визуального напряжения просто набросал их на паркет. Дамы, смокинги, шампанское, коллекционеры, кино. А он независимый и гордый, студенческие ушки горят: «Да, знаете, протест. Концепция протеста. Антиэстетика. Не хотите ли шампанского? Извините, оставлю вас — критик из «Арт Америка» пришел». И это в минуты, в те самые минуты, когда твои же сверстники, вместе с камнями летят взорванные и падают — кто на землю, кто в океан, кто в болото, а кто и на паркет. Я видел камни от взрывов на паркете в Вене и Будапеште, и видел камни, упавшие на паркет дворцов, я сам взрывал эти камни. И поверь, что камни эти выглядели более драматично, в них было больше напряжения и искусства, потому что их бросала горькая судьба. Эти камни разламывали социальные и спиритуальные силы, а не жалкие импотентные концепции коммерческого успеха. Посмотри на камни, которые дьявол бросает сегодня, если до тебя не долетело эхо прошлых каменных игрищ. И устыдись, и научись бросать камни. Бросай так, чтобы в них слышался вопль камней, а не шелест нейлоновых ляжек богатых старух, боящихся отстать от моды. Бросая же камни, помни, что есть время бросать камни, а есть время собирать их».

По-человечески, может быть, и жалко этих неудачников и протестантов в искусстве. Но социальные процессы, идущие в мире, не считаются с нашими эмоциями. И сегодня рынок искусств есть единственный и высший судья, которому художник выносит на суд свой товар. Другого судьи просто нет. Другие судьи от лукавого, подстать тем, кто разбрасывает камни под шелест нейлоновых ляжек богатых старух.

Но что значит быть признанным рынком? Когда-то человек, появляясь на свет Божий и получая имя Джона или

Ивана, мог прожить не меняя себя всю жизнь. Он, может быть, и пытался превзойти отца и деда, пытался иметь больше угодий, больше скота, быть более уважаемым, чем предки, но, в сущности, до последнего дня он оставался самим собой, тем самым Джоном или Иваном, которым его нарекли в семье. Все изменилось в наш сверхдинамичный век, уподобивший миллионы людей роботам, выполняющим определенные функции в обществе: человек потерян в этом мире, он ничто, и данное ему в отчем доме имя — это только знак, который ничего не значит до тех пор, пока не произойдет его второго рождения, и мир не узнает о нем. Это второе рождение человека происходит как социальное крещение. В действительности его признают личностью лишь тогда, когда пресса, телевидение или радио объявят на весь мир, что на земном шаре появилась такая-то замечательная звезда экрана, или такой-то гениальный писатель, или такой-то выдающийся актер. Не родители, но управляющие миром средства массовой информации становятся истинными крестителями человека. Вот за это социальное крещение и идет борьба в мире актеров, ученых, писателей, политиков, проституток, террористов... Любыми способами, дозволенными и недозволенными, вырваться из социального небытия — вот задача задач. Взгляните на графомана, пробивающего рукопись в издательстве — не есть ли это жажда маленького человека быть замеченным, сублимация его протеста против социального небытия? И то же, когда террорист на глазах у мира добровольно подрывается на им же подложенной взрывчатке. И то же, когда я вижу идущего по улице паренька с огромным, включенным на полную мощность приемником, — крик затерявшейся души в дебрях нашего грохочущего и давящего личность века.

Ну, а что же художник? Он-то как раз на авансцене этой жесточайшей борьбы за социальное крещение. Всякий художник — а не только бездарь и нигилист — нуждается в комплиментах и признании публики. А публика — это газеты, это критика, это и есть рынок искусств, на котором

бессовестно хозяйничает буржуа и мещанин. Он-то в конце концов и решит судьбу художника, приобретя или отвергнув его работы. Но способен ли он понять художника? Вот драматический вопрос, который проходит через всю историю искусств и оплачен потом и кровью многих поколений художников. Для буржуа искусство всегда было родом развлечения, клоунадой, услаждающей его часто неразвитый вкус. Для художника оно — способ выражения самого себя, его вывернутая наизнанку душа, крик этой души, на которую всегда было наплевать буржуа.

Так было на протяжении веков, пока в начале 20 века в искусстве не произошло нечто такое, что по своим последствиям сравнимо с Великой Французской революцией. Но, если первая окончилась победой и торжеством буржуазии, то революция, о которой говорю я, повергла буржуа ниц и привела к величайшему триумфу искусства. Ее совершили великие художники авангарда, такие как Пикассо, Дали, Дюшамп. Они навязали буржуа свою волю и приучили его покупать не понятное. И тем самым провозгласили право художника создавать непонятное в искусстве. Это и значило, что отныне художник получил право выражать в своих работах самого себя и больше не был обязан потрафлять дурному вкусу буржуа. Это был вызов свободы, значение которого трудно переоценить. Художники авангарда переиграли буржуа на его собственном поле — на рынке искусств. С их помощью буржуа понял, что проморгал Сезанна, Модильяни, Ван Гога и решил больше не ошибаться. А заодно пришел он к заключению, что не всегда компетентен в том, что создает художник. И если искусство и является коммерцией, то коммерцией особого рода, в которой ему, буржуа, не так-то просто разобраться.

Победа художников авангарда была пиром победителей, во время которого они не могли отказать себе в удовольствии наказать буржуа за его тупость. Дрессируя его, они шли на намеренные провокации, на всякие клоунады и нелепые шоу, заставляя буржуа преклоняться перед ними. Они

выступали как мстители за художника — непризнанного гения, в течение многих поколений угнетаемого и оскорбляемого обывателем.

Однако заслуга мастеров авангарда не только в том, что они отстояли право художника на непонятное, но и в том, что они стали особого рода новаторами, шаманами новой эпохи, которые использовали вечные архетипы, вечные символы, перекладывая их в новые ритмы и в новую музыку технического прогресса.

Это был парадоксальный и диалектически двуединый процесс. Он создавал свободу и несвободу одновременно. И еще более усложнял обстановку на бесконечно напряженном рынке искусств. Дело в том, что бурно происходящий технический прогресс привил потребителю мысль, что все новое является лучшим. И поэтому о предметах духовной культуры стало принято говорить в категориях технического прогресса. Новая картина или, скажем, новое стихотворение безапелляционно признавались лучшими, чем старые. Все, что не было новым, объявлялось критиками рутиной и предавалось анафеме. Художник, который хотел прослыть новатором, должен был ставить рекорды и устраивать для развлечения обывателя провокации, объявляемые последним словом в искусстве.

С другой стороны, на искусство оказывали влияние темпы развития технологии. И подобно тому как каждый сезон на мусорные свалки выбрасывается устаревшая мебель, телевизоры, предметы быта, подобно этому появилась музыка, которая меняется каждый сезон. Рядом со скульптурой, мучительно, годами создаваемой в мраморе и бронзе, стали появляться некие модернистские творения, которые можно было наскоро сляпать из картона, из железок, быстро сварить. Стал рождаться новый поспешный стиль, являющийся, по существу, дилетантской профанацией искусства. Родился новый тип художника — поспешного гения, гения последних пятнадцати минут. От мастеров авангарда он воспринял только одну традицию,

традицию эпатажа и провокации. Но, если Пикассо, Дюшамп и Дали были львами, бросившими вызов обществу, то сегодня иные из авангардистов, для которых все сводится к эпатажу публики, напоминают пуделей, подстриженных под львов.

После сказанного должно быть ясно, отчего так трудно определить подлинные ценности на рынке искусств. Открывается поистине невероятное поле для самоутверждения неудачников, графоманов, самовлюбленных и капризных нарциссов, которые любыми способами рвутся наверх, в телекамеру, в гении, неважно, на сколько времени, пусть даже на пятнадцать минут.

С другой стороны, понятно и то, какой невероятной тяжести работа ложится на плечи подлинного художника. Верно, перед ним открыты все возможности доказать, что он гений. Но такие же возможности открыты перед каждым, кто объявил себя художником, согласно решению по делу Стайхена. И каждый борется, витийствует, вопиет. И рынок искусств превращается в джунгли, сквозь которые приходится пробиваться гению. Это, в сущности, и есть его плата за свободу, дарованную ему судьбой.

Положение можно было бы считать безнадежным, если бы на рынке, о котором мы говорим, не появилась еще одна фигура — я имею в виду владельца галереи, артдилера, продающего искусство. Может показаться странным, почему в эссе, посвященное психологии творчества, я ввожу этот далекий от творчества персонаж, который, может быть, и способен заработать на искусстве миллионы, однако роль его никак не сравнима с ролью подлинного мастера. Но в том-то и дело, что сегодня, на рынке искусств, в ситуации джунглей, которая здесь царит, артдилер — такая же решающая для искусства фигура, как и сам художник. Скажите, как разобраться в сложнейших хитросплетениях этого рынка? В этом бушующем океане страстей? В этой бесконечной мозаике вкусов, стилей, художественных манер и традиций? На этом базаре бриллиантов и не отличимых от них жалких подделок?

Мы живем в век узкой специализации. Человек не лечит себя сам, а идет к врачу, притом к врачу — узкому специалисту, так же, как он не защищает себя сам, а идет к адвокату и по возможности опять же к специалисту. И вот артдилер становится специалистом-экспертом в области искусства, к которому идет покупатель. Отсюда и вытекает его миссия, к слову скажу, миссия во многом творческая. Он не творец произведений искусства, но творец вкусов в искусстве. Он единственный, кто уполномочен рынком вершить над искусством суд и выносить суждения о реальной ценности художника — мастер или не мастер, годится или не годится.

Но на самом деле все обстоит гораздо проще, чем кажется на первый взгляд. Артдилер совсем не видит свою главную цель в том, чтобы вершить на рынке искусств экспертизу, он просто делает бизнес (как делают все остальные бизнесмены в этой стране), стараясь возможно дешевле покупать работы художника и продавать их как можно дороже, получая при этом максимальную прибыль. И художник идет к галерейщику не от прилива любви к нему (какая уж тут любовь, если надо отдать ему львиную долю заработанных денег). И покупатель идет в галерею по необходимости — где же, как не в галерее, ему найти работы художника? Он знает, что покупает его работы втридорога, и все же готов платить галерейщику за то, что тот гарантирует полноценность покупки. Переплачивая галерее, он платит процент за экспертизу. Как видим в этом треугольнике — художник-галлерея-покупатель — нет никаких сентиментов, но лишенный эмоций механизм этого рынка отбирает все-таки лучшее, по крайней мере, если взглянуть на его работу в масштабе времени. И что же в результате? В результате рождаются галереи-суперзвезды. Рядом с гением-художником рождается гений-артдилер, который сам становится творцом гениев на рынке искусств. Он не просто покупает работы художника — сегодня подобные сделки из эпохи первоначального накопления. Галерейщик суперстар вкладывает деньги в художника, в рекламу его работ, в средства массовой информации и, вложив в будущего гения сотни тысяч, пытается заработать на нем миллионы. Публика безгранично верит такому артдилеру — не важно, каким кажется ей данный художник, важно, что он выставляется в галерее Костелли, или в галерее Ауэрбаха, или в галерее Фридмана, и сама галерея превращается в своего рода кабинет алхимика. Мешок с гарбиджем, лежащий у входа в галерею Кастелли, — это только мешок с гарбиджем, но внесенный внутрь галереи, он становится произведением искусства, за которое может быть назначена баснословная цена.

Итак, искусство превращается в крупный бизнес, который, может быть, и не вызывает у нас чрезмерного восторга: что ни говорите, а звон долларов — не лучший аккомпанемент для бессмертных творений гения. Но, как видно, другого механизма развития искусства в свободном мире не существует. Быть может, было бы приятнее, если бы существовал некий высший ареопаг, высший разум, способный отбирать совершенное в искусстве и направлять его к высшим и гуманным идеалам. Но мы знаем, чем чреваты подобные социальные утопии — мечтания о едином, направляющем разуме выливаются в министерства идеологии и союзы художников, способные стать лишь похоронными бюро гениев.

Ефим ЭТКИНД

С ЧЕТЫРЕХ СТОРОН ОГОРОЖЕННЫЙ...

О предсмертной исповеди К.Симонова

В последнее время фигура К.Симонова все чаще появляется в воспоминаниях. Откуда это возрождение интереса к писателю, умершему уже около десятилетия назад? Как романист и драматург Симонов исчез из читательской памяти начисто, как будто его никогда не было: пьесы «Русский вопрос», «Парень из нашего города», «Под каштанами Праги» устарели, как газеты того времени; впрочем, газеты просматривать интереснее, в них содержится хоть какой-то налет достоверности. Симоновские пьесы — чистейшая пропаганда, довольно примитивная иллюстрация партийных постановлений. Проза Симонова, начиная с его повести военной поры «Дни и ночи» и кончая трилогией «Солдатами не рождаются» тоже ушла в прошлое — она не принадлежит даже истории литературы, потому что весьма сомнительна ее принадлежность к литературе как словесному искусству. Кто может сегодня всерьез относиться к роману «Живые

и мертвые», когда рядом высится такая книга о войне, как «Жизнь и судьба» В.Гроссмана?

Другое дело — журналистика К.Симонова и его стихи — они связаны друг с другом и создают образ автора: твердого, немногословного мужчины, деловито курящего трубку, бесстрашного, однако не кичащегося своей храбростью, скромного труженика войны и солдатской газеты. Очень хорошо писал он сам в «Корреспондентской застольной» (1943):

От Москвы до Бреста
Нет такого места,
Где бы не скитались мы в пыли.
С «лейкой» и блокнотом,
А то и пулеметом,
Сквозь огонь и стужу мы прошли.
Без глотка, товарищ,
Песню не заваришь,
Так давай по маленькой хлебнем!
Выпьем за писавших,
Выпьем за снимавших,
Выпьем за шагавших под огнем...

Что и говорить, Симонов был храбрым журналистом: о его неустрашимости рассказывают легенды. По переднему краю он ходил, не сгибаясь — в его веселой отваге был вызов судьбе. Вокруг него один за другим погибали друзья — он остался неприкосновенен, словно в доказательство того, что в самом деле «смелого пуля боится, смелого штык не берет» — так писал его давний приятель Алексей Сурков. Красивый, рослый, чуть тронутый сединой, благородно-импозантный Константин Симонов: таким запомнили его все, кто знал его в годы войны. Его стихи из сборника «С тобой и без тебя», проникнутые тоской по женщине, останутся в антологии русской поэзии: чувство в них подлинное, грусть неподдельная, честь и солдатское достоинство подкупающе искренние.

Незадолго до своей ранней смерти — а надо сказать, что и страшную болезнь Симонов пережил со свойственным ему мужеством, — так вот, за несколько месяцев до конца К.Симонов продиктовал свою последнюю книгу — писа-

тельское завещание, которое он назвал: «Глазами человека моего поколения» и снабдил подзаголовком: «Размышления об И.В.Сталине». Эта книга, теперь появившаяся в журнале «Знамя», в самом деле поражает искренностью, даже, пожалуй, беспощадностью к себе. Автор предисловия к этому тексту, замечательный знаток Симонова Лазарь Лазарев пишет: «Лейтмотив книги Симонова — расчет с прошлым, покаяние, очищение, и это выделяет, возвышает ее над многими мемуарными сочинениями о сталинском времени». («Знамя», 1988/3, стр. 6).

Поглядим, что за покаяние.

Симонов рассказывает о том, как он в середине 30-х годов, совсем еще молодым, двадцатилетним, был приглашен в газету «Известия» к тогдашнему ее главному редактору Н.И.Бухарину. В тот день он написал записку матери: «Милая мамочка, я не приду, меня вызывают ровно на пять часов к Н.И.Бухарину. Зачем — пока не могу тебе сказать, пока это секрет, скажу потом. Сын.» Секрет был простой: он не говорил матери о том, что послал стихи в «Известия», хотел сделать сюрприз. Мать лет десять хранила эту записку, как и все рукописи обожаемого сына, и во время войны отдала. Сын рассказывает: «Записку эту я тогда, в сорок четвертом году, порвал». (стр. 29). Симонов сам комментирует свой поступок: он напоминает нам, что в сорок четвертом году он — обстрелянный на двух войнах подполковник, награжденный орденом боевого Красного Знамени и двумя Сталинскими премиями, автор прославленных стихов, пьес и повестей... А записку, адресованную «милой мамочке» уничтожил: «...ну, а случись такие обстоятельства, что еще тогда, в 36, 37, 38 годах, кто-то заглянул бы в материнский архив и увидел эту записку — пойди объясни по тому времени, что это у тебя за секреты насчет Бухарина».

Казалось бы, мелочь: записка маме! Но ведь испугался собственной юношеской записки всероссийский храбрец, служивший образцом мужества для всех солдат и офицеров Красной армии. И ведь все, что рассказывает Симонов

о себе, так или иначе похоже на это постыдное уничтожение записки, которую любящая мать сохранила в самые 37-е годы, когда, между прочим, были арестованы и сосланы все ее родственники. Героиней-то оказалась старая мама, а сын... «Я ничего не сказал матери, — комментирует Симонов, — только покачал головой. Она в ответ тоже ничего не сказала, только пожала плечами, как бы говоря, что, наверное, она виновата, но привычка оставлять все целым, все, что я ей написал, для нее была сильнее всех других мыслей и опасений» (стр. 29-30).

Так поступил красавец Симонов. Вчитываясь в его исповедь, мы видим, что так он поступал всегда — порою отдавая себе отчет в своей низости, но чаще стараясь оправдать себя. Как, например, пережил он августовские события 1946 года, когда Жданов публично шельмовал Анну Ахматову и Михаила Зощенко? Сначала не заметил, потому что был занят своей повестью «Дым отечества», а потом пришел вот к какому выводу: «...что-то делать действительно нужно было, но совсем не то, что было сделано. О чем-то сказать было необходимо, но совсем не так, как это было сказано». Ниже Симонов поясняет свою мысль: в конце войны, пишет он, и в 46 году, интеллигенции казалось, что «должно произойти нечто, двигающее нас в сторону либерализации.., послабления, большей простоты и легкости общения с интеллигенцией хотя бы тех стран, с которыми мы воевали против общего противника... в общем, существовала *атмосфера некой идеологической радужности,* в чем-то очень не совпадавшая с тем тяжким материальным положением, в котором оказалась страна, особенно в 46 году, после неурожая» (стр. 29).

Итак, благородный поэт и прославленный храбрец даже в 1979 году, незадолго до смерти, оправдывает людоедские, погромные действия 1946 года: все было правильно, только стиль неверный. Громить было надо, только умнее. Вот еще одна, убийственная для Симонова фраза, характеризующая обстановку 1946 года, — причины успеха стихов Ахматовой

и прозы Зощенко: «Во всем этом присутствовала некая демонстративность, некая фронда, что ли, основанная и на неверной оценке обстановки, и на уверенности в молчаливо предполагавшихся расширении возможного и сужении запретного после войны» (стр. 50). Можно ли было ждать другого от К.М. Симонова, который ведь был не просто наблюдателем тех событий, но и участником их? Участником он, правда, стал позднее, в 1954 году, когда на новой проработке Зощенко в Ленинграде говорил (перескажу словами Д. Гранина из «Огонька») «о непреходящем значении постановления насчет «Звезды» и «Ленинграда», оно действует, никаких перемен не будет и дискуссий на эту тему тоже». Д. Гранин замечает по поводу тогдашнего поведения К. Симонова: «у Симонова это бывало: держался, держался, и в самый последний момент скисал, не выдерживал давления...» («Огонек», 1988/6, стр. 11). Гранин до сих пор под обаянием Симонова; ошибка его в этом странном повторе: «держался, держался...» Нет, не так уж и держался. Во всяком случае, с самого начала оправдывал если не самое форму погрома, то — замысел, о котором Симонов пишет, не обинуясь, что цель была «прочно взять в руки немножко выпущенную из рук интеллигенцию, пресечь в ней иллюзии, указать ей на ее место в обществе...» Неужели это вот и называется: «держался, держался...»? Ведь в этой своей предсмертной исповеди Симонов вполне искренне оправдывает ждановский террор.

Другой пример — рассказ о приеме у Сталина в мае 1947 года. Сталин объяснял своим посетителям — Фадееву, Горбатову и Симонову — необходимость борьбы с антипатриотами. У средней интеллигенции, сказал тогда Сталин, «неоправданное преклонение перед заграничной культурой... Эта традиция отсталая, она идет от Петра... Сначала немцы, потом французы, было преклонение перед иностранцами, — сказал Сталин и вдруг, лукаво прищурясь, чуть слышной скороговоркой прорифмовал, — засранцами», — усмехнулся и снова стал серьезным». (стр. 59).

К. Симонов слышал это заявление Сталина в 1947 году, после этого он был свидетелем борьбы с космополитизмом и многого другого, что в конце концов привело к «делу врачей» и оказалось откровенной вспышкой фашизма. Для порядка Симонов осуждает перегибы тех «кампаний», но вот что он пишет о самой сущности, о сердцевине сталинского похода против интеллигенции: «...в самой идее о необходимости борьбы с самоуничижением, самоощущением не стопроцентности, с неоправданным преклонением перед чужим в сочетании с забвением собственного, здравое зерно тогда, весной 47 года, разумеется, было. Элементы всего этого реально существовали и проявлялись в обществе, возникающая духовная опасность не была выдумкой...» (стр. 60). С точки зрения К. Симонова цели были верные, только методы грубоваты. Правильным было постановление об Ахматовой и Зощенко, правильной — борьба с космополитами, да и все остальное было правильно.

Неужели Л. Лазарев именно это и называет «расчет с прошлым, покаяние, очищение...»? Неужели это и есть очищение? Нет, это не «расчет с прошлым», а постыднейшее оправдание худших сторон прошлого — во имя оправдания самого себя. Про К. Симонова написано немало горьких и обличительных строк — но никто про него не написал беспощаднее, нежели он сам. И не думал К.М. Симонов, что, прочитав его предсмертную исповедь, мы отнесем к нему самому стихотворение, которое он считал сатирическим:

Жил да был человек осторожный,
Осторожный до невозможности
С четырех сторон огороженный
Своей собственной осторожностью.

Ведь здесь слово осторожность — синоним трусости, да и низости. Это горько произнести, но это — так. И привела нас к этому страшному выводу предсмертная исповедь К.М. Симонова.

Арон КАЦЕНЕЛИНБОЙГЕН

ЯНОВ ПРОТИВ СОЛЖЕНИЦЫНА

В своей статье «Парадокс Горбачева», опубликованной в 99 номере журнала «Время и мы», я пытался показать, насколько взрывоопасна создавшаяся в СССР ситуация. Грубо говоря, сейчас там действуют три резко выраженные силы: консерваторы — охранители существующего режима, либералы, стремящиеся к его демократизации и реакционеры, мечтающие о приходе к власти русского шовинизма.

Опасна нынешняя ситуация прежде всего тем, что все социальные процессы в СССР происходят в условиях стагнации режима, когда для смены ни на что не способных консерваторов нужны преданные перестройке люди. В таких условиях русские националисты, поддержанные народом, могут добиться большего успеха, чем либералы: они скорее могут прийти к власти.

Именно об угрозе со стороны руских националистов уже в течение ряда лет говорит талантливый русский историк и публицист Александр Янов.

Еще в 1968 году, когда мало кто отдавал себе отчет в опасности русофильства, Янов выступил в журнале «Вопросы литературы» с острой, полемической статьей «Загадка славянофильской критики». Темой разгоревшейся вокруг статьи дискуссии была эволюция славянофилов от либерализма к шовинизму. Уже тогда Янов писал об опасности новоявленных славянофилов, взгляды которых представлял известный литературный критик В. Кожинов. Сегодня, как мы знаем, Кожинов — один из ведущих идеологов русского национализма.

Эмигрировав в 1974 году в США и оказавшись в Америке почти без средств к существованию, Янов поднимает голос против советологического эстаблишмента и восторженных поклонников Солженицына. Солженицын, утверждает он в своей работе «На полпути к Константину Леонтьеву», повторяет путь славянофилов и как политический деятель вполне может занять реакционные позиции.

И вот перед нами новая книга Янова «Русская идея и 2000 год»*. Книга эта является итогом его многолетних изысканий и, вероятно, многолетних размышлений о судьбе России и ее народа, о судьбах русской интеллигенции, о Западе и России, о путях ее развития в преддверии третьего тысячелетия — один перечень тем, поднимаемых Яновым, мог бы занять многие страницы, И, вероятно, одна из наиболее интересующих его, — это тема Солженицына, которая занимает более, чем шестую часть книги: «Солженицын и Запад», «Солженицын и интеллигенция», «Что роднит его с русофилами?», «Их и его идеалы?», «Их и его взгляд на прошлое и будущее России?»...

Не все идеи Солженицына разделяются русскими националистами. Например, предлагаемый им разгон империи вызывает у них протесты и озлобление. С другой стороны, русофилы, стоящие за сохранение империи, не согласны с тем, чтобы Россия оставалась крестьянской страной, как этого хотел бы Солженицын. Но не станем преувеличивать эти разногласия. Сходства тут куда больше, чем расхож-

* Издательство «Либерти», 1988. Нью-Йорк.

дений. Причем сходства не только с современными русофилами, но и с их предтечей — славянофилами прошлого века. В подтверждение этого на стр. 215 книги Янов приводит ссылку на солженицынское «Письмо к вождям Советского Союза», но как мы узнаем ниже, цитата эта не только из «Письма к вождям». Вот ее текст:

«У вас (у вождей СССР) остается непоколебимая власть, отдельная сильная замкнутая партия, армия, милиция, промышленность, транспорт, связь, недра, монополия внешней торговли, принудительный курс рубля, — но дайте же народу дышать, думать и развиваться!.. Народ желает для себя одного: свободы жизни, духа и слова. Не вмешиваясь в государственную власть, он желает, чтобы государство не вмешивалось в самостоятельную жизнь его духа...» (А. Солженицын. Письмо вождям Советского Союза, Имка-Пресс, 1974, стр. 49, К. Аксаков; цит.по: Теория государства у славянофилов. СПб., 1898, с. 41.)

Затем Янов пишет:

«Не правда ли, эта тирада звучит так как будто она написана одной рукой? Между тем, только первая ее часть принадлежит Солженицыну. Вторая была обращена к совсем другим вождям и совсем в другие времена. Сто тридцать лет назад Константин Аксаков рекомендовал вождю православного государства буквально то же самое, что Солженицын рекомендует вождям советским: возьмите себе всю власть, а народу дайте всю свободу. Народ не будет вмешиваться в политику, — обещают Аксаков и Солженицын, — он желает лишь свободно «дышать, думать и развиваться».

Возможно это и обидно Солженицыну, крупнейшему русскому писателю нынешнего столетия, что его называют «аятолла Хомейни», но так ли это несправедливо? Истинный путь России лежит через возврат к земле, — в этом краеугольный камень его славянофильства, его фундаментализма и антизападничества. И то, что он писал в «Письме к вождям», и что говорил в своей гарвардской речи, и что исповедует в своих литературных произведениях последних лет, — все это сближает его с фундаменталистскими воззрениями Хомейни до прихода последнего к власти.

Это очень важная часть мировоззрения Солженицына, и я хотел бы сказать о ней несколько слов. Как известно, существуют два пути развития общества — западный, экстравертный, когда путь к счастью человека лежит через

научно-технический прогресс и динамику общественного развития, и другой, антизападный путь, называемый интровертным, который при консервативной политической системе и экономике предполагает прежде всего внутреннее развитие личности. Вряд ли можно отдать предпочтение одному пути перед другим.

Мы знаем, что технический прогресс, да и сами научные знания могут в своем развитии привести к неконтролируемым последствиям. Загрязнение окружающей среды, опасность гибели человечества от атомного оружия, непредсказуемое развитие инженерной генетики — кто возьмется утверждать, что наука всегда будет служить человеку? Не случайно индусы еще более 2000 лет назад создали цивилизацию, провозгласив ее основой внутреннее развитие личности. Но нельзя доказать и преимущества «крестьянской цивилизации», которая несет опасность голода и болезней, ставит под угрозу само существование человечества из-за невозможности предотвращения космических катастроф.

Какой путь развития выберет та или иная страна, является делом самого народа. Хочет ли народ идти по пути, предлагаемому Солженицыным? Последний не допускает и мысли, что русский народ может избрать другой путь. Он преисполнен веры в то, что «деревенский путь» предопределен самой историей и судьбой России. Но если последнее слово в выборе пути принадлежит народу, то как он может выразить свою волю? Решающую роль тут играет механизм демократии и политического плюрализма. Однако плюрализм как раз и глубоко чужд Солженицыну. Похоже, что само слово «плюралист» вызывает у него раздражение. Плюралисты — его заклятые враги, достойные лишь иронии и осмеяния. В своей нашумевшей работе «Наши плюралисты» он открыто провозглашает: «Истина одна!» Нетрудно догадаться, что эта единственная истина открыта лишь ему, Солженицыну.

Но Янова занимают не отдельные взгляды Солженицына — спор идет на широкой, мировоззренческой платформе.

И, может быть, один из главных предметов спора — природа и истоки русской революции. Революция ввергла Россию в стагнацию, обернулась, по словам Янова, очередным системным кризисом страны. Кто же виноват в случившемся? Где искать истоки победы большевистской революции? Ответ Солженицына известен: большевики и революция глубоко чужды русскому народу, революция привнесена извне, навязана России внешними, чуждыми силами. А поскольку известно, что в революции широко участвовали евреи, то они и есть главный источник зла.

Антисемитизм Солженицына — не новая тема. Но Янов показывает, что он — органическая часть его мировоззрения, если угодно, его философской системы. Взгляните на героев Солженицына, предлагает Янов, на его Израиля Лазаревича Парвуса из «Ленина в Цюрихе», на Мордке Богрова из «Красного колеса», разве даже в том, как они обрисованы, не видно, что именно в евреях Солженицын видит те дьявольские силы, которые были насланы на гибель России. Вот и Ленин был чужд ее, России, интересам поскольку был полурусским. Но главным источником зла был человек, стоявший за Лениным и, по собственному ленинскому признанию, превосходил его во всех отношениях. Этим человеком и был упомянутый выше Израиль Лазаревич Парвус. Собственно, это даже не человек, а некто с «бегемотской гениальной головой», «сейсмическим чувством недр», «беспощадным нечеловеческим умом», который к тому же «25 лет проболтался по Европе Агасфером» (стр. 239). Дьявол, по Солженицыну, принимает разные обличья. И вот в «Красном колесе» перед нами другая его ипостась: в виде Мордке Богрова, убивающего П.А. Столыпина и в его лице — Россию, повинуясь «трехтысячелетнему, тонкому, уверенному зову своей расы» (261).

«Дьяволизация Богрова, если можно так выразиться, происходит постепенно, вводится осторожно, поначалу вполне незаметными штрихами, — пишет А. Янов. — Вот Богрову удается «проползти бесшумно, невидимо, между революцией и полицией» (12; 124)*. Через несколько страниц собеседник увидит его вдруг «с передлиненными верхними двумя резцами, они выдвигались вперед, когда при разговоре поднималась верхняя губа» (12; 131). Еще через несколько страниц он будет ползти по шесту — «совершенно гладкому, без зазубрины, без сучка... ни за что не держась (12; 138), «всем телом своим тереться и переползать по неправдоподобиям» (12;141). Страницей дальше сходство со змием растет: Богров «с удлиненной стиснутой головой, постоянно чуть изогнутой набок, с постоянно несомкнутымы губами» (12; 142). Ни жало, ни яд еще не упоминаются, только «узкая голова чуть на сторону» (12;143), только «завораживает, как пение редкой птицы, вытянувшей шею, и даже врагам своим в такие минуты он кажется милым» (12; 144), хотя — и тут впервые метафора становится опасно открытой — «он хотел только впустить между ними каплю расслабляющего яда» (12; 144).

Теперь у читателей сомнений нет: перед ним змий. А Богров все полз по роковому шесту, вился, вился» (12; 157) со своим «привораживающим взглядом, чуть набок плосковатую голову» (12; 158). И — автор даже посочувствовал ему — «как уже устали мускулы кольца!» (12; 183). Но все это время «те несколько нужных капель для рокового мига должны были накопиться, насочиться — в мозгу? в зобу? в зубу» (12; 148). Вот как видит Богрова Столыпин, когда наступил наконец «роковой миг» — ужалить: «шел, как извивался, узкий длинный, во фраке, черный... долголицый молодой еврей (12; 248). Ужалил, «змеясь черной спиной, убегал» (12; 249). Образ еврея слился с образом змия. Только библейский ли это был змий?» (стр. 264-265.)

Но где же истоки антисемитизма Солженицына? Вопрос не простой, ибо имеем мы дело не с бытовым, а с идейным антисемитизмом. В сущности то же самое мы наблюдали у Достоевского: богоизбранность русского народа была частью его мировоззрения, и это, естественно, вступало в противоречие с богоизбранностью евреев. Существуют, мне кажется, подспудные корни и у антисемитских взглядов Солженицына. В самом деле, разве солженицынское мировоззрение, его идеализация абсолютной власти, его нетерпимость к плюрализму не противостоят во многом еврейской морали и религии, предполагающей право человека на собственное мнение, уважение к взглядам оппонента, ограничение любой политической власти. По Торе, Человек, созданный по образу и подобию Бога (в данном случае Яков),

*Цифра «12» означает ссылку на «Красное Колесо», последующие три цифры — номера страниц.

мог бороться с Богом и не быть побежденным им, в другом случае Человек (на этот раз Моисей) мог возражать Богу, пожелавшему создать новый народ, взамен томящихся в пустыне евреев; Тора наставляет евреев ограничивать власть царя, когда они придут в обетованную землю и т.д.

Есть, вероятно, и другие объяснения антиеврейских взглядов Солженицына, возможно и более убедительные. Тут действует совокупность причин, и разобраться в них можно, лишь обратившись к мировоззренческой стороне дела.

Другое поле, на котором Янов бросает вызов Солженицыну, — это нравственность нации. Солженицын много пишет и говорит о нравственном возрождении русского народа. Причем, его взгляды прямо вытекают из его почвенничества, из его критики Запада и плюрализма. На первый взгляд, это может и впрямь показаться убедительным — де Запад и цивилизация несут с собой разрушение морали, разврат, наркотики, падение нравов, лишь на земле, у истоков, возможно подлинное очищение личности. «Общество, где действуют политические партии, не возвышается в нравственности», — говорит Солженицын, бросая вызов западной демократии и плюрализму.

Дело, однако, не в том, что демократические круги России не замечают роли нравственности. Люди, принадлежащие к этим кругам, такие, как академик Сахаров, всей своей жизнью подтверждают служение высоким нравственным идеалам. Но борцы за демократию делают акцент прежде всего на создании политических и правовых условий, необходимых для сохранения личности. И именно в этом суть их расхождения с Солженицыным. История рода человеческого показывает, что там, где не гарантирована свобода личности, где судьба человека зависит от благодати лидеров, — в таком обществе, сколь бы не соблюдалась общественная мораль, политические лидеры подавляют человека и делают его рабом.

Солженицыну нельзя отказать в цельности мировоззрения: одно в системе его взглядов проистекает из другого.

Его антисемитизм и антизападная настроенность определяют и его отношение к интеллигенции. Именно с его легкой руки термин «образованщина» был широко пущен в обиход.

«Внимательно читая «Образованщину», — пишет Янов, — просто невозможно не заметить в ней такие сентенции, как: «потеря в образова--- — не главная потеря в жизни»[44]*, и такие рекомендации, как создание новой «жертвенной элиты», нового ядра нации «воспитанного не столько в библиотеках, сколько в нравственных испытаниях»[45]. Причем, оказывается, образовательный ценз и число печатных научных работ тут совершенно ни к чему, ибо мы пойдем к народу рядом с «полуграмотными проповедниками религии»[46]. (стр. 234).

Судя по всему, Солженицын вообще отрицает существование современной русской интеллигенции. Какая же это интеллигенция, если она взращена и воспитана в духе преклонения перед западной моралью, в чуждом России и ее культуре направлении? Кстати, в этом Янов и видит причину пренебрежения Солженицына к интеллигенции и ответ на вопрос, почему он называет ее «образованщиной».

Но мне думается, что Янов упрощает проблему. Образование — это сложный и противоречивый процесс, особенно, когда речь идет о науках естественных. В этом случае образование может способствовать разрушению вековых ценностей. Ибо вместе с накоплением знаний может прийти убеждение, что все в мире относительно и даже мораль как абсолютная ценность бессмысленна. И, если «почвенник» создает утопию, призывая к смирению и «опрощению», к возврату к земле, то и «образованец» может создать утопию, но только с обратным знаком, т.е. обещая райскую жизнь, основанную на изобилии благ и неограниченном покорении природы. Более того, естественно-научное образование может создать иллюзию, что все в мире можно создать и рационально объяснить. И даже можно построить рай на земле на базе строгой упорядоченности. А тут уж один шаг к авторитарному режиму, который должен эту упорядоченность воплощать: демократия не может этого сде-

* Верхние цифры указывают на страницы произведения Солженицына.

лать, поскольку она во многом стихийна. И здесь Солженицын в своей критике «образованщины» неожиданно смыкается с ненавистными ему и«зараженными» Западом коммунистами: поистине крайности сходятся!

Но можно встать и на противоположную точку зрения. Высокий уровень образования делает человека мудрее. Знания помогают ему не только овладевать высотами в науке, но и понять, что не все в мире возможно, — не возможен, в частности, вечный двигатель. Невозможна и соответствующая ему социальная конструкция — коммунизм. Именно образование дает возможность понять великую роль морали в условиях раздираемого противоречиями современного мира. Именно просвещенным Отцам американской демократии мы обязаны созданием политической системы, терпимой к различным точкам зрения и давшей приют Солженицыну. А что бы делал Солженицын без демократического общества? Погиб бы на кресте, являя другим пример великомученика? И этого ему не дали бы — его изничтожили бы тихой сапой и кинули в безвестность, как это неоднократно делали авторитарные режимы с не менее крупными талантами.

Из приведенного в книге подробного анализа политических взглядов Солженицына вырисовывается и его психологический портрет.

Создается впечатление, что Солженицын считает себя пророком, который пришел возвестить миру истину. Я старался понять корни этого и пришел к выводу, что, возможно, они лежат в необычной его судьбе. Солженицын прошел войну в чине боевого офицера и остался жив, тогда как большинство его сверстников были убиты; Солженицын прошел сталинские лагеря и остался жив и активен, тогда как многие не пережили лагеря или оказались сломленными; Солженицын прошел раковый корпус, из которого мало кто выходил живым; Солженицын сохранил многое из созданного им в эти годы и затем в не очень благоприятных условиях создал новые произведения, которые принесли

ему не только всероссийскую, но и мировую славу.

Как человек-пророк, знающий истину, Солженицын нетерпим к инакомыслию. Эта нетерпимость иногда входит в конфликт даже с его собственными требованиями и прежде всего с тем, чтобы каждый человек жил не по лжи. (Один видный советский диссидент заметил, что Солженицын призывает жить не по лжи всеми правдами и неправдами.)

Солженицын обвиняет Янова в том, что ему «ненавистно все русское», что он «печатался только в «Молодом коммунисте» и мельче» (стр. 221). Я знаю Янова более 20 лет. Редко можно встретить большего патриота России, человека глубоко преданного интересам России и желающего ей процветания. Янов считает себя глубоко русским человеком, если русскость определяется не кровью, а принадлежностью к культуре страны.

Я, который ощущает себя в большей мере приверженцем еврейства (при первостепенности для меня общечеловеческого), эти черты Янова особенно ощущаю. Янов не был в СССР мелким журналистом. Он печатался в центральной прессе и, в особенности, в «Литературной газете». Уже одна его статья в этой газете «По дорогам Смоленщины», преисполненная боли за обезлюживание центральной России, принесла ему известность как одному из выдающихся советских журналистов, которые могут в подцензурной печати выразить наболевшие проблемы развития страны.

Янов печатался и в «Новом мире» — журнале, который принес Солженицыну славу. К слову сказать, насколько мне известно, Янов в «Молодом коммунисте» напечатал только одну статью. Но это была необычная статья, за напечатание которой немало влетело кому надо и от кого надо. Эта статья была посвящена великому русскому политическому деятелю Александру Герцену. Живя на Западе, Герцен не побоялся поднять свой голос протеста против подавления Россией восстания в Польше.

Читатель может задать недоуменный вопрос: «Экая храб-

рость ругать Россию, живя на Западе?» Да, это была неимоверная храбрость со стороны Герцена. Дело в том, что широкие круги русской общественности поддерживали имперскую политику России, и нужно было обладать большим мужеством, чтобы вдали от Родины, отдавая всего себя служению ей, оказаться отвергнутым не только властями, но и общественностью.

Думаю, что мужеством обладает и Александр Янов, бросивший вызов крупному русскому писателю, который изменил демократическим идеалам России. Вот как об этом пишет сам Янов:

«...для людей в России (и для меня в том числе) Солженицын был (а для многих еще остается) совестью страны, символом того, на что мы сами не оказались способны. И дело здесь не только в художественном даре или легендарном мужестве, дело еще и в той роли, которую сыграл Солженицын в духовном раскрепощении страны, а значит, и меня самого. И трагедия заключается в том, что этот человек оказался в рядах «новой русской правой». Я не говорю уже, что сам по себе этот факт является индикатором громадной мощи, которую имеет правая традиция в русской культуре... Я хочу, чтобы читатель ясно понял мое отношение к Солженицыну. Оно заключается в этом вопросе: почему человек, который так много для меня сделал, потом предал меня? И не только предал, но и проклял вместе с проклятой им русской интеллигенцией?»

ДОРА ШТУРМАН

СОЛЖЕНИЦЫН И НЕКОТОРЫЕ ЕГО ЧИТАТЕЛИ

Уже давно в довольно обширных кругах, как эмигрантских, так и западных, стало модой и считается признаком прогрессивности бранить Солженицына, на что он обстоятельно ответил в статье с ироническим названием «Наши плюралисты»*. Но и эта попытка восстановления истинной картины вызвала массовую отрицательную реакцию у антагонистов Солженицына.

Весьма характерна для статей и книг его бесстрашных антагонистов книга А. Янова «Русская идея и 2000-й год». Я не ставлю перед собой в этой короткой статье задачи ее исчерпывающего анализа и даже рецензирования. Позволю себе лишь несколько замечаний. Мне эта книга представляется очередной попыткой бездоказательного, поверхностного, в конечном итоге — ложного истолкования истории и современного состояния русской общественной мысли.

*ВРХД № 139, 1983.

В ходе этого толкования возникает и авторская модель миропонимания Солженицына, решительно не соответствующая действительности. Отталкивание, недоумение и чувство протеста возникали у меня при чтении большинства страниц этой книги.

Приведу несколько примеров. Несерьезна, на мой взгляд, трактовка выстраданных и непрерывно им самим корректируемых убеждений Солженицына как эпигонства или плагиата у славянофилов XIX века. Почему же не предположить непредугаданное Солженицыным совпадение некоторых позиций (если таковое действительно имеется)?

Янов постулирует также идентичность ряда идей Солженицына программе журнала «Вече» и других крайне агрессивных русских националистов (стр. 62-63, 187 и много других). Каждое подтверждение подкрепляется отрывистыми цитатами, изъятыми из их контекста и перенесенными в контекст Янова (часто цитатами не солженицынскими, а почерпнутыми у его мнимых единомышленников). Сплошь и рядом две-три строки, на которые опирается концепция Янова, служат единственным доказательством его правоты. Он полагает, что для читателя этого достаточно. Солженицын же посвящает важным для него проблемам множество статей, интервью, речей, писем и страниц художественных произведений. Только в их совокупности возникают истинные убеждения Солженицына. Не прочитав, по-видимому, большинства его работ, Янов во многих случаях выносит категорические суждения. Так он утверждает, что Солженицын проклинает русскую интеллигерцию, отрицает самое ее существование и нужду в ней в будущей авторитарной теократической или монархической России.

В действительности Солженицын ни разу не высказал симпатий к теократии. Он жаждет увеличения слоя интеллигенции и трансформации в истиную интеллигенцию нынешней конформистской по отношению к режиму «образованщины». Он говорит:

«Конечно, от десятилетия к десятилетию сжимали невиданно (западным людям и не вообразить, пока до них не докатилось). Людей динамичной инициативы, отзывных на все виды общественной и личной помощи, самодеятельности, — подавляли гнетом и страхом, да и саму общественную помощь загаживали казенной лицемерной имитацией. И в конце концов поставили так, что как будто третьего нет: в травле товарища по работе никто не смеет остаться нейтральным — едва уклонясь, он тут же становится травимым и сам. И все же у людей остается выход и в этом положении: что ж, быть травимым и самому! что ж, пусть мои дети на корочке вырастут, да честными! Была б интелигенция т а к а я — она была бы непобедима» (1, стр. 95-96, разрядка Солженицына).

Янова глубоко возмущает термин «образованщина». Это определение якобы распространяется Солженицыным на всю интеллигенцию, которой противопоставлены малограмотные священники. В лучшем случае — это заблуждение, незнакомство с творчеством Солженицына, а в худшем — просто ложь. Ибо для Солженицына разница между «образованцем» и интеллигентом состоит не в степени интеллектуальной и профессиональной неравноценности, а в отсутствии у первого и в наличии у второго высоких нравственных принципов. Приведу очень большую цитату (одну из многих и многих), в которой утверждения Солженицына не вырваны из их логического контекста:

«А есть еще особый разряд — людей именитых, так недосягаемо, так прочно поставивших имя свое, предохранительно окутанное всесоюзной, а то и мировой известностью, что, во всяком случае в послесталинскую эпоху, их уже не может постичь полицейский удар, это ясно всем напрозор, и вблизи, и издали; и нуждою тоже их не накажешь — накоплено. О н и - т о — могли бы снова возвысить честь и независимость русской интеллигенции? Выступить в защиту гонимых, в защиту свободы, против удушающих несправедливостей, против убогой навязываемой лжи? Двести таких человек (а их и полтысячи можно насчитать) своим появлением и спаянным стоянием очистили бы общественный воздух в нашей стране, едва не переменили бы всю жизнь! В предреволюционной интеллигенции так и действовали тысячи, не ожидая защитной известности. В нашей образованщине — насчитаем ли полный десяток? Остальные — такой *потребности* не имеют! (Даже если у кого и отец расстрелян — ничего, съедено.) Как же назвать и зримую верхушку нашу — выше образованщины?

В сталинское время за отказ подписать газетную кляузу, заклинание, требование смерти и тюрьмы своему товарищу действительно могла грозить и смерть, и тюрьма. Но сегодня — какая угроза сегодня склоняет седовласых и знаменитых брать перо и, угодливо спросивши —

«где?», подписывать не ими составленную грязную чушь против Сахарова? Только личное ничтожество. Какая сила заставляет великого композитора XX века стать жалкой марионеткой третьестепенных чиновников из министерства культуры и по их воле подписывать любую презренную бумажку, защищая кого прикажут за границей, травя кого прикажут у нас?..

Бывало ли столь жалкое поведение среди великих русских ученых прошлого? среди великих русских художников? Традиция их сломлена, мы — образованщина.

Тройной стыд, что уже не страх перед преследованием, но извилистые расчеты тщеславия, корысти, благополучия, спокойствия заставляют так сгибаться «московские звезды» образованщины и средний слой «остепененных». Права Лидия Чуковская: к о г о - т о от интеллигенции пришла пора отчислить. Если не э т и х всех — то окончательно потерян смысл слова». (1, стр. 96-97. Курсив и разрядка Солженицына).

Сконструированный Яновым Солженицын выступает в роли политического пророка, апологета русского мессианства, врага просвещения и демократического Запада (стр. 214, 221, 233 и др.). Очень интересно, читал ли Янов следующие высказывания Солженицына:

«Вы знаете, я немало поездил по странам, выступал — но просто от страсти: не могу спокойно смотреть, как они сдают весь мир и самих себя». (II, стр. 354).

«Итак, господа, я освещаю вам только факты, я повторяю, мы, живя в рабстве, только мечтать можем о свободе, и не свободу критикуем мы, но как иногда распоряжаетесь вы свободой, слишком легко отдавая ее шаг за шагом. Если этот процесс будет продолжаться, предоставляю вам прогноз». (II, стр. 173).

«Я не критик Запада, я критик — слабости Запада» (II, стр 254).

Или вот эти:

«Я — не политический деятель, и могу предлагать советы только духовные. Я хотел бы, чтобы Запад не терял воли и понимал, что свобода, которая досталась от предков и которая у вас уже 300 и больше лет, что эта свобода требует жертв»...(II, стр. 260).

«Куда им менять нашу ситуацию? Куда, вам, Западу, спасать нас? Вы только себя сберегите. Вы только сами не сдайтесь. Пожалуйста, только не спешите стать на колени, как сегодня становятся ваши демонстранты в Западной Европе. Лишь бы Запад как-нибудь удержался, устоял». (III, стр. 4).

«...Накануне планетарной битвы между мировым коммунизмом и мировой человечностью хотя бы ясно видел Запад, где враги человечности и где друзья ее, — и не искал бы союза врагов, но искал бы союза друзей. Так много уже уступлено, отдано и расторговано, что сегодня Запад уже не может устоять даже при единении всех западных государств, — а лишь в союзе с порабощенными народами коммунистических стран». (I стр. 344.)

И еще в десятках блестящих работ твердит этот «враг Запада», враг свободы и демократии, о неотложной необходимости спасения Запада и его свобод, о самозащите Запада.

По Янову, «Солженицыну 1980-х точно так же (как Константину Леонтьеву — Д.Ш.) не нужна Россия ни самодержавная и ни православная» (стр. 247). «Солженицыну ненавистен парламентаризм» (стр. 257).

Каждому из этих утверждений легко противопоставить убедительные и доказательные антитезисы, если только читать самого Солженицына, а не довольствоваться журнально-газетной перепалкой его апологетов и хулителей.

Солженицын, по Янову, — идеолог русского шовинизма. Для него еврей и дьявол (Богров, Парвус) — синонимы. Существует интересная закономерность: когда речь о социалистической революции идет с ностальгическим, прямо-таки любовным подтекстом, мы (евреи и семитофилы) принимаем свидетельства об участии евреев в этой революции с гордостью и удовлетворением (Маркс — еврей, у Ленина есть еврейская кровь, Троцкий, Зиновьев, Каменев и иже с ними — евреи). И отыскиваем все новые и новые имена. Когда речь о роли евреев заходит в осуждающих марксизм и революцию контекстах, мы обижаемся и чувствуем себя оскорбленными. Между тем, как может историк и писатель, воссоздающий истинную картину событий, обойти эту роль?

Я вполне солидарна с теми, кто отвергает версию инородническогo происхождения октябрьской и февральской революций. Но ведь и Солженицын ее не постулирует. Он говорит лишь об идеологическом заимствовании социалистических и коммунистических идей из западных источников и о попытках их реализации на российской почве. Кстати, ни один из упомянутых им евреев — террористов, революционеров и теоретиков не опирается на национальные идеи, а лишь на интернационалистские. Двенадцать евреев из сорока шести последователей и соучастников

Ленина, окружавших его, по Солженицыну, в Цюрихе, — это вполне реалистическое соотношение. Когда у Парвуса, считавшего себя скорее немцем, чем россиянином (он говорит об этом Ленину), или у вполне ассимилированного Богрова возникают национальные побуждения, Солженицын именно этого и не осуждает. Он отнюдь не отрицает благородства истинного космополитизма:

«В таком интернационализме-космополитизме было воспитано все наше поколение. И (если отвлечься — если можно отвлечься! — от национальной практики 20-х годов)* в нем есть большая духовная высота и красота, и, может быть, когда-нибудь человечеству уготовано на эту высоту подняться». (I, стр. 105.)

И далее:

«Наученные муками, не дадим нашим национальным болям превзойти сознание нашего единства. Настрадавшись от лютого насилия — никто из нас никогда да не применит его к соседям.... Соединяясь друг с другом при полном доверии, не позволяя себя усыпить расслабляющей эмигрантской безопасностью, никогда не забывая наших братьев в метрополии, — мы составим и голос, и силу, влияющую на ход мировых событий.»

Страсбург, 27 сентября 1975 г. (II, стр. 227-228).

Я здесь не исследую «Красное колесо», но не могу не привести одного отрывка из «Августа Четырнадцатого», относящегося к отрочеству и юности Богрова (в быту — Дмитрия, по официальным документам — Мордко, это имя Солженицын и упоминает). Вот этот отрывок:

«Как и все гимназисты того времени, он жадно вживался в либеральные и революционные учения. Постоянное сочувствие к революции и ненависть к реакции густились в нем, как и во всей русской учащейся молодежи. Гимназистом 5-го класса Богров уже посещает кружки самообразования, читает *литературу* и агитирует сам — булочников, каретников. Он очень рано определяет свое презрение к нерешительным социал-демократам, сочувствует *эксам* и террористическим актам. Переменяясь, он отдает свои симпатии то эсерам, то максималистам, то анархистам. В споре с отцом, предпочитающим эволюционное развитие, мальчик до слез отчаяния отстаивает путь не только революционного изменения строя, но полного уничтожения основ государственного порядка. (IV, стр. 114-115. Курсив Солженицына.)

Я прошу читателя обратить внимание на следующие слова: «как и все гимназисты того времени»; «как и во всей русской учащейся молодежи», «мальчик до слез отчаяния отстаивает путь... полного уничтожения государственного порядка».

* Почему только 20-х? Д.Ш.

Множество критиков и ругателей Солженицына твердят, что антитеза «Столыпин — Богров» — символ роковой для России антитезы «Россия — еврейство». Это же противопоставление («Столыпин — мировое еврейство») усматривают в «Августе Четырнадцатого» читатели-антисемиты. В действительности еврейство Богрова — дополнительное обстоятельство, характерное для Юга и Юго-Запада России, где среди революционеров было много евреев.

Там, где Солженицын говорит о Москве и Петербурге, среди революционеров, террористов и сочувствующих им, преобладают русские. В целом же речь идет о типических настроениях «всех гимназистов того времени»; «всей русской учащейся молодежи», о настроениях, искренних «до слез отчаяния», но от этой искренности не менее роковых для России.

У Солженицына речь идет об антитезе «созидание — разрушение», «эволюция — взрыв», который обломками перегородит дорогу дальнейшего мирного поступательного развития и создаст новое историческое явление — страшную зону тотала.

В интервью Б.Пиво подчеркнута Солженицыным идеологическая предопределенность «русского революционного террора», а не борьба еврейства России за свое равноправие. И в романе, и в разговоре с Б.Пиво выделена типичность акции Богрова для практики террористов не только России начала XX века, но и современного мира. Это подчеркивает и Б.Пиво:

***П:* Ваше описание терроризма делает «Август Четырнадцатого» очень актуальным для современного читателя. Вы посвящаете много страниц убийце Столыпина Богрову. Мне Богров кажется очень похожим на сегодняшних террористов, в частности тем, что он подвержен экзальтации и что им манипулируют.**

С: **Да, одна из причин актуальности «Августа», 2-го тома, — в том, что это история русского революционного террора. Не только Богров... я, если помните, там даю сперва целую вереницу террористов, и так как невозможно охватить всех террористов России, то я беру только террористок-женщин. И то уже получается страшная картина.**

П: **Да, у Вас целая глава о женщинах. Но я хочу выделить одну, она потрясающая. Это Евлалия Рогозинникова. Она запрятала 13 фунтов динамита себе в лифчик, чтобы броситься и взорвать собой крупных персон. Это мне напоминает не только японских камикадзе во время войны, но и нынешних террористов на Ближнем Востоке, которые за рулем грузовика с динамитом жертвуют при взрыве и своей собственной жизнью.**

С: **Вот мы здесь и видим, насколько революционный террор в России имел все характерные черты сегодняшнего террора. В некотором отношении Россия прошла современный путь мира раньше на несколько десятилетий, даже на полвека. Да, дело не в одном Богрове, я хотел этой галереей террористок показать всю силу террора, его движущие идеи, его приемы, методы... И я думаю, что на этих женщинах показал. Они все были частью своей организации, их всех направляла подпольная организация и посылала на эту смерть, но сначала на убийство. А Богров — совсем особенное явление. Всех остальных террористов направляла организованная сила: иди и убей! и неважно, что будет с тобой. А Богров — его никто не направляет. Его направляет, страшное дело, общественное мнение. Вокруг него существует как бы поле, идеологическое поле. И в этом идеологическом поле — государственный строй России считается достойным уничтожения. Столыпин считается ненавистной фигурой — за то, что он Россию оздоровляет и тем спасает. Никто не говорит Богрову: пойди убей! Он не связан практически ни с каким подпольем. Ему 24 года, и он в 24 года решает, что он, пожалуй, убьет Столыпина и повернет направление России. Это более сложный, структурно более тонкий способ манипуляции — не простого подполья, а идеологического поля, общего направления. Но это еще страшнее, потому что, как видите, само идеологическое настроение общества может создать террор» (III, стр. 2-3).**

Можно было бы привести много суждений Солженицына — о праве евреев СССР на собственные культуру, религию и язык, об Израиле. К примеру следующее:

ОТВЕТ ТРЕМ СТУДЕНТАМ

...И не возражайте мне, что «все понимают справедливость по-разному». Нет! Могут кричать, за горло брать, грудь расцарапывать, но внутренний стукоток так же безошибочен, как и внушения совести (мы ведь и в личной жизни пытаемся перекричать совесть). Например, я уверен, что лучшие из арабов и сейчас прекрасно понимают, что Израиль по справедливости имеет право жить и быть.

Жму руки!

Солженицын
Октябрь 1967

Рязань
(II, стр.9-10.)

И это:

«Когда отважный Израиль насмерть защищался вкруговую — Европа капитулировала поодиночке перед угрозой сократить воскресные автомобильные прогулки.

Еще два-три таких славных десятилетия мирного сосуществования — и понятия «Запад» не останется на Земле» (I, стр. 203-205).

В книге Янова есть и просто забавные вещи: Столыпин, убитый (по Янову) русской монархией, отождествляется в концепции Янова с Ярузельским (стр. 273)!

Но хватит о Янове: нам предоставлен жесткий лимит страниц. Думаю, сказанного достаточно для того, чтобы увидеть несостоятельность яновской интерпретации Солженицына.

Возникает вопрос: почему множество авторов, даже не альтернативных взглядам Солженицына, трактуют его воззрения столь поверхностно и произвольно? Этот парадокс заставил меня почти три года исследовать его творчество, читая и комментируя все, что он опубликовал. Результатом явилась книга «Городу и миру. О публицистике Солженицына». Я пришла также к выводу, что оппоненты Солженицына не читали Солженицына во всей совокупности его публикаций. А он, декларативно осудивший национал-большевиков (I, стр. 57-58), ошибочно экстраполирует свою позицию в национальном вопросе почти на все новейшее русское национальное движение. Поэтому он говорит:

«Пугают — фантомом. «Русским национализмом» клеймят сейчас простое чувство любви к своей родине, естественный патриотизм. Но страну, не знавшую 50 лет простого хлеба, — уже никому не настроить к воинствующему национализму. Держать в плену другие народы, держать в капкане Восточную Европу, захватывать и вооружать дальние заморские страны — это нужда злобного Политбюро, а не рядового русского человека. Что же касается «исторического русского мессианизма», то это — сочиненный вздор: за несколько веков никакие духовно-влиятельные, или правительственные, или интеллигентские слои в России не страдали мессианской болезнью. Да я допустить не могу, чтобы в наше погрязшее время на Земле какой-нибудь народ смел бы считать себя «избранным». (I, стр. 318, 323.)

В ответ его оппоненты распространяют на него и на всех почвенников взгляды шовинистического, агрессивного крыла русских националистов, которые у всех порядочных

людей вызывают возмущение, разделяемое и Солженицыным:

«Несомненно намерение власти: снова сэксплуатировать ими же угнетенное русское национальное чувство — для своей новой войны, для своих жестоких империалистических целей, и тем судорожней и отчаянней, чем больше будет коммунизм идеологически тонуть — чтобы получить от национельных чувств недостающую себе физическую и духовную крепость. Верно, такая опасность есть.

Упомянутые информаторы — ее видят и даже видят только ее одну (не истинные поиски национального духа), и в грубом случае за это уже вперед бранят нас шовинистами и фашистами, а в самом предупредительном случае говорят: раз вы видите, что религиозно-национальное возрождение русского народа может быть подло использовано советской властью, — то и откажитесь от возрождения и откажитесь от всяких национальных чаяний.

Но ведь советская власть использует и еврейскую эмиграцию из СССР для успешного разжигания антисемитизма («вот, смотрите, единственные, кому разрешено спасаться из ада, и за это Запад платит товарами»), — следует ли отсюда, что можно дать евреям совет отказаться от поисков своих религиозных и национальных истоков? Конечно, нет. Позволительно нам всем — жить на Земле естественно и стремиться к тому, к чему мы каждый стремимся, без оглядки на то: а кто как об этом подумает, что напишут в газете или какие темные силы будут пытаться использовать для себя?» (1, стр. 324-325.)

Солженицын много раз говорил и писал о том, почему он боится быстрого снятия гнета с народов СССР и немедленного введения демократии. Он предвидит, что в ситуации даже кратковременного безвластия возникнут межнациональная резня и другие катастрофические события. Поэтому он хотел бы, чтобы эволюционное раскрепощение народов СССР происходило в условиях сильной и стремящейся к фундаментальным реформам власти (I, стр. 334-337). Выступления крымских татар, события в Казахстане, в Армении и Азербайджане, в Москве (Печатники), в Прибалтике, в Одессе и т.д., а также идеология целого ряда так называемых «неформальных объединений» показывают, насколько прав Солженицын, опасаясь взрыва советского многонационального котла. А ведь крышка его только чуть-чуть приподнята.

ДОРА ШТУРМАН «Городу и миру. О публицистике Солженицына». Книга вышла в изд-ве «Третья волнам. Объем книги 432 стр. Цена $24.

ИЗ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО

Аба ЭВАН

РОЖДЕНИЕ ИЗРАИЛЯ

Из книги «Главы жизни».

Перевод с иврита Соломона Цирюльникова.

Будучи одним из самых выдающихся политических деятелей Израиля, Аба Эван не принадлежит к коренной прослойке израильских лидеров, выдвинувшихся задолго до образования еврейского государства. Он — «новичок», включившийся в политическую жизнь в годы борьбы за образование еврейского государства, у колыбели которого он стоял.

В отличие от основного ядра политических деятелей, выходцев из Восточной Европы, Аба Эван — воспитанник Кембриджа, плоть от плоти английской культуры, именно он внес европейскую струю в израильскую внешнюю политику.

В истории Израиля был еще один выдающийся лидер европейского стиля. Это — знаменитый Хайм Арлозоров, выдающийся государственный деятель, ставший в 30-х годах жертвой террористического акта, покрытого и по сей день мраком неизвестности. В отличие от Хайма Арлозорова, Аба Зван — скорее дипломат, чем государственный деятель, но, как и Арлозоров, он интеллектуал, блестящий выразитель интересов Израиля на международной арене. Аба Эван принадлежит к

Copyright Абы Эвана.

поколению политиков, пришедших на смену «старой гвардии», в рядах которой мы видим Бен Гуриона, Леви Эшкола, Голду Меир. Среди «молодых» в одно время с Абой Эваном взошли на израильском небосклоне такие звезды, как Моше Даян, Игал Алон, проявившие себя как талантливые военачальники в Войне за независимость 1948 года, а затем и как политические лидеры. Они были сабры, выросшие на израильской почве, преданные своему народу, но хорошо знавшие и уважавшие своих арабских соседей.

Аба Эван пришел «со стороны», но и он пустил глубокие корни в израильской среде. Они защищали Израиль мечом, Аба Эван защищал свою страну словом. Он начал представлять Израиль на международной арене еще до создания еврейского государства, а затем в течение одиннадцати лет был представителем Израиля в ООН и послом в Соединенных Штатах. Возвратившись из Америки, Аба Эван активно включается в политическую жизнь страны, занимает посты министра просвещения, иностранных дел, а в 1974 году становится председателем комиссии Кнессета по вопросам безопасности и внешней политики.

Самый драматический момент в политической карьере А. Эвана связан с национальным кризисом 1967 года. Накануне Шестидневной войны он выступает перед лицом всего мира как глашатай правды Израиля. За несколько дней до начала войны А. Эван встречается с представителями мировой прессы и в ответ на вопрос об опасности поспешных действий Израиля отвечает, что в истории бывают моменты, когда бездействие несет в себе не меньшую опасность.

Поворот Египта к миру застает Абу Эвана не у дел, он только член Кнессета, но и теперь не прекращает своего деятельного участия во внешней политике Израиля. Именно в те дни в ответ на советскую критику израильско-египетского соглашения он говорит: «Мир со всеми арабскими государствами предпочтительнее, чем мир с одним из них, но соглашение с одним арабским государством лучше, чем отсутствие всякого соглашения».

В связи с выходом книги Абы Эвана «Главы жизни» газета «Вашингтон Пост» о нем писала, что за всю историю еврейского государства никто другой не сделал столько для того, чтобы показать миру глубокий смысл существования еврейского государства.

Предлагаемый отрывок из этой книги рассказывает об одном из самых волнующих и драматических моментов еврейской истории — о возникновении государства Израиль. Сейчас, когда Израиль отмечает свое сорокалетие, глава эта, по-видимому, вызовет особый интерес у читателей.

И, наконец, несколько строк из заключительной главы книги Абы Эвана, в которых, может быть, ярче всего выражено кредо автора: «Я упорно боролся за то, чтобы Израиль был физически силен. Но интеллектуальная основа жизни Израиля, качество его жизни наиболее близки моему сердцу. Подлинное величие, которого мы можем когда-нибудь достигнуть, кроется в сфере духа...»

Соломон Цирюльников

* * *

В те дни казалось, что Организация Объединенных Наций станет ареной, где будут решаться судьбы человечества. Идея еврейского государства, однако, была настолько нова, что некоторые правительства даже не успели выработать своего отношения к ней. Многое зависело от настроения участников заседаний, регулярно посылающих отчеты своим правительствам.

Упрямство арабов нам снова сослужило хорошую службу. Они готовы были обсуждать только одно решение — о создании арабского государства, словно вообще не замечали существования в мире евреев. И потому мир не мог не видеть, что еврейский народ нуждается в прочных гарантиях.

В ООН у нас были хорошие союзники. Это, прежде всего, председатель сессии Освальдо Аранья — казалось, сама идея еврейского государства вселяла в него религиозное воодушевление. Подле него стояла твердая, хотя и несколько обтекаемая фигура Генерального секретаря ООН Трюгве-Ли. Он был вдвойне заинтересован в нашем успехе — и как норвежский социалист, и как политический деятель, нуждавшийся в поддержке мирового общественного мнения. К тому же он и сам был свидетелем нацистских зверств. Мысль о том, что новая международная организация будет отстаивать суверенитет всех народов, кроме евреев, вызывала в те дни отвращение в свободном мире. Но с другой стороны, ощущалось естественное стремление членов ООН к созданию единого, а не разделенного государства. Тогда как разум, да и весь исторический опыт говорил о неминуемости раздела, который бы базировался на твердом соглашении и международных гарантиях. Словом, Хаиму Вейцману, нашему представителю в ООН, предстояла большая работа. Это был человек большого таланта, к тому же он пользовался на Западе широким влиянием. И естественно, Бен Гурион и другие еврейские лидеры всеми

силами старались использовать влияние Вейцмана на международной арене. Однако сам он, удаленный с поста президента Всемирной сионистской организации на международном конгрессе в Базеле, был серьезно обижен на Моше Шарета, считая, что тот слишком легко согласился на его уход. Будучи по характеру человеком абсолютно бескомпромиссным, он всех людей зачислял в рубрику «за» или «против». И вот Моше Шарет — лидер еврейского «ишува»* в Палестине, был зачислен в рубрику «против». Возникла довольно щепетильная ситуация, и надежда использовать влияние Вейцмана теперь во многом зависела от меня.

Итак, его выступление на заседании Генеральной ассамблеи ООН было назначено на 24 октября 1947 года. К тому времени стало ясно, что мы сможем рассчитывать на поддержку СССР и Америки, но это еще не обеспечивало нам большинства в две трети голосов. Задача Вейцмана состояла в том, чтобы повернуть в нашу сторону колеблющихся, которых было немало. Вейцман понимал, что это будет, возможно, его последнее выступление на трибуне ООН.

В моем дневнике я нахожу следующую запись: «16 октября 1947 года. Я встретил главного (Вейцмана) после его обеда с Моргентау. Работал я над текстом его речи битых четыре часа. После того как каждая фраза была переписана аршинными буквами, Вейцман перечитал текст, всякий раз подходя к лампе и приближая написанное к близоруким глазам. В конце концов его глаза стали влажными от слез. «Удовлетворимся этим, — сказал он, — но что делать с заключительной фразой?» Наверное, полчаса мы листали Танах, пока в книге пророка Исайи не нашли того, что нужно. И когда мы с Вейцманом уже выходили, он сказал: «Итак, это оно и есть: восходим на гору Сиона в последний раз».

Вейцмана слушали представители 57 наций, тон его речи больше чем когда бы то ни было имел личный оттенок, он

* Еврейское поселение.

вспоминал о предыдущем международном заседании, 25 лет назад, когда утверждали Мандат и «самые дорогие идеалы в нашей истории нашли воплощение в совести человечества». Он насмехался над утверждениями арабов, будто евреи — не ближневосточная нация, а потомки хазар из южной России. «Это очень странно. Всю свою жизнь я был евреем, чувствовал себя евреем, говорили со мной как с евреем, и вот теперь, на старости лет, я узнал, что я хазар!». И далее: приемлема ли для еврейского народа перспектива стать меньшинством в арабском государстве? «Не буду говорить, хорошо это или плохо? Пусть евреи Ирака, Йемена и Триполи, христиане Сирии и Ирака скажут об этом. Хочу только заметить, что не в этом была наша цель, когда мы шли в Эрец Исраель под международным покровительством. Те из нас, которые построили там свои дома, сделали это не для того, чтобы стать арабскими гражданами моисеевой веры...»

2

Впечатление от речи Вейцмана было огромным. Но и оно не могло предотвратить драмы, которая разыгрывалась в зале ООН Когда стало ясно, что Ассамблее не уйти от вопроса о создании еврейского государства, наши противники изменили тактику и стали настаивать на урезывании его границ. Они решили предложить нам такие границы, на которые мы никогда не сможем согласиться.

В начале ноября Америка, под влиянием Великобритании, стала оказывать давление на Еврейское Агентство, чтобы оно поступилось Южным Негевом в пользу арабов. Американские дипломаты прозрачно намекали на то, что, если не последует эта уступка, они откажутся от ранее обещанной поддержки раздела.

19 ноября мы подняли Вейцмана с постели и заставили его поехать в Вашингтон для встречи с президентом Труменом. Он представил в Белый Дом меморандум, из которого следовало, что у арабских стран уже есть выход к

Красному морю, через Иорданию, Египет и Саудовскую Аравию. В то же время Израилю, ради его будущего, необходимы ворота в Африку и Азию. Вейцману удалось заручиться личной поддержкой президента, несмотря на то, что Госдепартамент поддерживал требование арабов.

Переговоры проходили в очень напряженной обстановке.

Играл роль буквально каждый час.

19 ноября Вейцман приехал в Вашингтон, а на следующий день, в 3 часа после полудня, представители Сохнута были приглашены на встречу с американским представителем Гиршом Джонсоном, чтобы выслушать решение Госдепартамента о его несогласии передать Негев еврейскому государству. Когда Джонсон начал говорить, его пригласили к телефону. Он попросил, чтобы ему не мешали, и послал вместо себя своего заместителя генерала Гилдринга. Но Гилдринг тотчас возвратился и сообщил на ухо Джонсону, что с ним хочет говорить президент Трумен. Джонсон вскочил и помчался к телефону. Спустя двадцать минут, взволнованный и растерянный, он возвратился к представителям Сохнута и сказал: «Я хотел бы вам сообщить, что у нас нет никаких поправок к предложенной вами карте». Борьба за Негев закончилась победой.

Во второй половине ноября мы уже были готовы к решающей битве. Все аргументы были высказаны. Все возможные средства влияния приведены в действие. Теперь осталось считать голоса. Всю неделю мы находились в состоянии крайнего напряжения. Политическая комиссия Генеральной ассамблеи приняла предложение о разделе страны 25 голосами против 13 при 20 воздержавшихся. Не было никаких гарантий, что ассамблея одобрит раздел при окончательном голосовании. Каждая из сторон — и евреи, и арабы старались мобилизовать все силы, чтобы добиться победы. Меня не покидала тревога: среди воздержавшихся были Франция и Бельгия, без которых не могло быть окончательного решения. Я подготовил и принес на подпись

Вейцману телеграмму, адресованную Леону Блюму: «Разве хочет Франция, — говорилось в телеграмме, — чтобы ее голоса не было слышно в минуту, память о которой будет жить в веках?»

27 ноября на заседание Ассамблеи мы пришли в подавленном настроении. Были все основания опасаться, что нам так и не удастся собрать две трети голосов. Франция предложила отложить заседание. Арабы решительно протестовали. Однако нас поддержал председатель ассамблеи Аранья, предложив возобновить заседание 29 ноября. Было ясно, что этот день станет судьбоносным днем в еврейской истории. И, естественно, 28 ноября нас ждала напряженнейшая работа. Борьба шла за каждый голос: можно было ожидать поддержки Филиппин и Либерии. Но мы знали, что чаша весов может качнуться в любую сторону, все зависело от малейших колебаний в соотношении сил.

Представитель Исландии Тор Торес должен был докладывать от имени политической комиссии (Австралия, Таиланд и Исландия) о том, может ли быть достигнуто согласованное решение. 29 ноября утром я встретился с представителем Исландии, чтобы откровенно поговорить с ним. «Еврейский народ, — сказал я, — находится на поворотном пункте истории. Если нам удастся, мы осуществим нашу тысячелетнюю мечту. Если не удастся, мечта эта погаснет для многих поколений. Этот поворот в еврейской истории частично теперь зависит и от вашей страны, маленького острова в Атлантическом океане, все население которого составляет 175 тысяч человек». То, что я услышал в ответ, и особенно то, как прозвучал этот ответ, успокоило меня. «Исландия, — сказал Торес, — отдалена от еврейской судьбы значительно меньше, чем я себе представлял. Ее культура преисполнена библейскими воспоминаниями. Исландия — демократия упрямая и жестоковыйная, хранящая из поколения в поколение свою национальную гордость. Ради того, чтобы остаться тем, кто он есть, наш народ отказывается покинуть свой заброшенный,

дождливый остров и заменить его теплым, удобным климатом в другом месте. Так что можете быть уверены, что народ Исландии поймет ту настойчивость, с которой еврейский народ отстаивает свою судьбу и свое духовное наследство».

3

Итак, настал судьбоносный час — и не только в еврейской истории, — это был час испытания для Организации Объединенных Наций: окажется ли она в состоянии справиться со столь сложной задачей на том раннем этапе своего существования?

Председательствующий Аранья пригласил представителя Исландии на трибуну. С необыкновенной твердостью Торес заявил, что нет никакой надежды на то, что еврейская и арабская стороны придут к соглашению. Единственная надежда заключается в принятии решения. Если международное сообщество поддержит раздел страны, то это станет фактом жизни и сегодняшние противники вынуждены будут примириться с ним.

С этого момента общая дискуссия развивалась для нас благоприятно. Американские и советские представители были раздражены бесконечными маневрами арабов и Англии. Впервые в послевоенной истории две великие державы пришли к соглашению относительно международной проблемы первостепенной важности, тогда как малые страны как раз тормозили принятие решения. Наконец, речи закончились, и в зале наступила торжественная тишина.

Некоторые из нас еще помнят атмосферу, в которой происходило голосование: «Аргентина?» — «Воздерживается!», «Афганистан?» — «Против!», «Австралия?» — «За!», «Бельгия?» — «За!», «Боливия?» — «За!», «Белоруссия?» — «За!»... Когда французы сказали «За», в зале раздались рукоплескания. После того как половина Ассамблеи проголосовала, исход заседания был предрешен в пользу еврейского народа. А после того как, будучи последней, воздержалась Югославия, в зале ООН прозвучала историческая фраза: «Тридцать три — «за», тринадцать — «против», десять — «воздержались». Решение принято!»

Я вышел в коридор, толпа, охваченная энтузиазмом, обнимала членов еврейской делегации. Были евреи, которые плакали, и неевреи, которые были тронуты до глубины души. Человек, переживший эти минуты, вряд ли когда-нибудь их забудет.

Мы с Шаретом сели в машину и поехали поздравить Вейцмана. В Иерусалиме массы людей столпились возле здания Сохнута, чтобы следить за тем, как идет голосование. Когда стали известны результаты, люди начали от счастья танцевать. Лишь Бен Гурион в одиночестве сидел в своем кабинете с опущенной головой, подпираемой руками, — его привычная поза. Он, конечно, чувствовал величие момента, но не мог присоединиться к ликующим. Больше чем кто бы то ни было, он понимал, что час провозглашения свободы евреев — это час начала войны.

Когда Ассамблея приняла решение, поднялись с мест арабские представители и в знак протеста покинули зал, открыто угрожая применением силы. «Линия раздела станет линией огня и крови!» — таково было предостережение секретаря Арабской лиги Азам-Паши.

В полночь я вышел на нью-йоркскую улицу купить утреннюю газету. Заголовки были крикливыми и, с нашей точки зрения, все говорило о победе. Но журналисты уже сообщали о первых арабских нападениях в Иерусалиме на дома и магазины евреев.

Впрочем, никто из нас не тешил себя иллюзиями относительно будущего Израиля. Мы понимали, что решение Генеральной ассамблеи так и останется клочком бумаги, если не будет подкреплено трудом и жертвами еврейского народа. И все же сердце говорило, что этот день никогда не утратит своего исторического значения. Как крута была дорога, которую мы прошли! В начале 47 года наша надежда на собственное государство еще не получила признания

ни от одной страны. Беженцы военных лет еще теснились, неприкаянные, в лагерях. И вот теперь, по прошествии одиннадцати месяцев, все изменилось. Еврейское поселение в Эрец Исраель стало государством, получившим международное признание. Конечно, борьба за независимость неизбежна, но отныне она будет идти в других условиях, чем это было до сих пор. Замечательный луч дружбы осветил наше одиночество.

Как только была принята резолюция ООН, тотчас поднялись те, кто хотел ее в корне подорвать. Арабы решили доказать, что она будет нам стоить большой крови. Английское правительство, под влиянием Бевина, открыто заявило, что не двинет пальцем, чтобы «помочь осуществить решение о разделе». Было ясно, что Англия начнет способствовать тому, чтобы в стране воцарилась анархия. Это было постыдное намерение. Нация, которая первая стала стеной против Гитлера, теперь хотела лишить жертвы Гитлера всякой поддержки. Да, это было так. Британия, которая имела достаточно исторического воображения, чтобы провозгласить Бальфурскую декларацию и внести в международное право идею еврейского национального дома, — эта же Британия делала теперь все возможное, чтобы отречься от своего детища. Но еще более тревожны, с нашей точки зрения, были колебания Америки, которая с самого начала целиком не была согласна с идеей раздела. Были у Соединенных Штатов сомнения, по крайней мере, трех сортов. Во-первых, страх, что вырежут еврейское поселение в Палестине, и это станет результатом действий, за которые Америка несет ответственность. Во-вторых, существовало опасение, что евреи, прибывавшие из Восточной Европы, привнесут на Средний Восток коммунистический вирус. В-третьих, опасались, что вместе с осуществлением раздела на Арабском востоке пострадают и американские интересы.

Казалось, что события 1947 года подтверждали эти опасения. Несмотря на то, что отряды Хаганы* защищали еврейские поселения, арабы стремились разорвать в клочки карту еврейского государства. Они старались отрезать Иерусалим, отрезать северный Негев от южного. Против Хаганы были брошены добровольческие войска из Ливана и Сирии для того, чтобы захватить Галилею. Потери евреев росли в ужасающих темпах. В Иерусалиме и других городах взрывались «адские машины», и десятки людей пали их жертвами. Из Яффы делались налеты на Тель-Авив, и по мере расширения арены боев в мировом общественном мнении росли сомнения относительно возможности реализовать решение о разделе страны. И в Америке тоже росли сомнения.

4

Наша единственная надежда заключалась в том, чтобы использовать влияние и престиж Вейцмана в глазах президента Трумена. Вейцман намеревался вернуться домой, но пока что находился в Лондоне, куда я и решил послать ему телеграмму : «В свете создавшегося положения, — писал я, — советую пересмотреть твое решение о поездке в Эрец Исраель. Там нет условий для конструктивной политической деятельности. Все зависит от судьбоносных бесед в Вашингтоне. Приближается самый решающий момент, и твоего присутствия и влияния нам очень недостает».

Первая его реакция была отрицательной. Казалось, телеграмма только рассердила его. Он все еще находился во власти горького привкуса, оставшегося у него после Базельского конгресса.

В феврале 1948 года Вейцман покинул Лондон, чтобы туда уже никогда не вернуться. Он приехал в Нью-Йорк усталый, постаревший, но по-прежнему решительный и отважный.

Трумен принял Вейцмана 23 марта, заверив, что он ни на шаг не отступил от решения о разделе. Тем более было

* Отряды еврейской самообороны.

велико наше удивление, когда 24 марта американский представитель в Совете Безопасности Остин опубликовал заявление, смысл которого заключался в полном отступлении от проекта раздела. Он предложил созвать сессию Генеральной ассамблеи, чтобы обсудить создание так называемого «режима международной ответственности», при котором прекратятся бои и будут рассмотрены разные варианты решения проблемы, в том числе и раздел. И произошло это спустя всего 24 часа после беседы Вейцмана с Труменом.

Неудивительно, что день 24 марта вошел в историю еврейской дипломатии как «черная пятница». Мечта о еврейском государстве стала быстро таять из-за непоследовательности тех, кто раньше ее поддерживал. В еврейском мире разыгралась буря гнева и разочарования. На голову Трумена сыпались ругательства и обиды. Предательство казалось еще более тяжким на фоне восторгов предыдущих месяцев. Казалось, вот уже привели нас к порогу государства, разрешили заглянуть внутрь и сейчас же бросили обратно в пустыню.

Мы опасались того, что Англия отложит день окончания своего мандата, и решили отправить по этому поводу письмо президенту. По иронии судьбы, подписал это письмо Хайм Вейцман, тот самый Вейцман, который сорок лет сотрудничал с осуществлявшей мандат Великобританией. Текст письма был следующий: «Я хочу предостеречь против продолжения английской власти в Эрец Исраель. Как Вам известно, я всю жизнь развивал еврейские отношения с Англией. Это я делал и в тяжелые времена. Закат этих отношений вызвал во мне тяжкое разочарование. Я ужасаюсь при мысли о том, что поток насилия и подавления затопит Эрец Исраель, если будут продолжаться условия последних несчастных лет под Британской властью или под каким-то другим владычеством. И если несмотря на все это, Ваша администрация окажет давление в направлении продолжения Английского мандата, то этим самым на него падет ответственность за ужасные события».

Составляя текст этого письма, я знал, что Трумен не потерян для нас навсегда. Мы догадывались, что он колеблется, борется с самим собой.

Рассказ о «черной пятнице» приводит в своей книге Ионатан Даниэльс: «В субботу утром, 20 марта, Трумен позвонил своему помощнику Кларку Клипольду и попросил его срочно зайти к нему. «Я читаю в газетах об Эрец Исраель, — сказал он, — и не понимаю, что случилось и как это могло случиться. Я обещал Хайму Вейцману, что мы будем поддерживать раздел и не отступим от этого. Теперь он, наверное, думает, что я просто лгун».

Все это было, конечно, хорошо и красиво, но факт оставался фактом: Америка отказалась от ранее принятого на себя обязательства и больше не поддерживала плана раздела страны. Теперь нам предстояло действовать не совместно с ней, а против нее. И все же, когда Генеральная ассамблея в апреле 1948 года собралась на специальную сессию, выяснилось, что снять этот вопрос с повестки дня совсем не так легко, как казалось Вашингтону. В Эрец Исраель раздел страны воспринимался уже как существующий факт. По мере того, как отступали английские силы, евреи и арабы занимали свои позиции прибилизительно в границах раздела, если не считать Негева, который так и остался оторванным.

Не было сомнения в том, что неверие в наши военные силы было главной причиной отказа Америки поддерживать идею раздела. Вот почему Бен Гурион решил сосредоточить всю свою энергию на укреплении военного положения страны, которое уже в апреле начало постепенно улучшаться.

Однажды, в мае, я обедал с Вейцманом и Александром Фароди из Франции, который не скрывал своих сомнений относительно перспектив раздела: «Как могут несколько сот тысяч устоять перед миллионами?» — спрашивал он, на что Вейцман ответил ему, что количество тут не играет решающей роли: «Несчастье египетской армии заключается

в том, что ее солдаты слишком худые, а офицеры слишком жирные... Если евреи будут держаться стойко, они в конце концов победят». Как раз в этот момент принесли газету «Нью-Йорк пост», сообщившую о блестящей победе евреев в Мишмар Гаемек.

5

Итак, Советский Союз остался единственной великой державой, поддерживавшей еврейское государство. Я постоянно встречался с советскими представителями в ООН Царапкиным, Маликом и Громыко. Тема бесед была одна и та же: как «опрокинуть» американское предложение о «режиме международной ответственности». Советская дипломатия была «ночной птицей», большинство наших бесед проходило поздней ночью в одном из зданий на Парк Авеню.

Несмотря на то, что Соединенные Штаты изменили позицию, в ООН были еще делегации, которые не хотели по примеру американцев отступать от первоначального плана. Австралия, Новая Зеландия и многие латино-американские страны полагали, что такое отступление будет выглядеть, как премия арабской агрессии, с чем они решительно не хотели согласиться.

В те дни исполнился год со дня моего приезда в Соединенные Штаты. За этот год я стал лучше разбираться в американской обстановке, и все же, несмотря на активность, которую я проявил в день 29 ноября, имя мое было еще мало известно в еврейском мире. Когда однажды я должен был заменить Шарета, кто-то в Филадельфии сказал: «Мы знаем, что Шарет превосходно владеет английским, но откуда известно, что английский язык знает этот Аба Эван?»

В те дни мы с Сузи* переехали из отеля в квартиру Меира Вейзгала, который был одним из самых близких и верных

* Жена Абы Эвана.

соратников Вейцмана. Он поддерживал Вейцмана во всех его политических кампаниях, а позже позаботился об увековеченьи его памяти, создав институт Вейцмана в Реховоте. Вейзгал был замечательным человеком, даже внешне он был необыкновенен: густая шапка седых волос, нос, как луковица, лицо красное, крикливый голос, речь его была полна непечатных ругательств, которыми он обычно ошеломлял слушателей. Но это был человек, горячо преданный своему народу и к тому же обладавший замечательным эстетическим чутьем. Он мечтал, чтобы евреи в своей стране жили не только свободной, но и красивой, исполненной гармонии жизнью, они смогут к ней прийти под влиянием культуры и науки, в которую он страстно верил. Дни, которые я прожил в квартире Меира Вейзгала, стали поворотным пунктом в моей жизни.

В апреле я помогал Моше Шарету подготовить одну из его речей в Совете Безопасности. Стоящую перед нами дилемму я попытался сформулировать в одной фразе: «Чего хочет достигнуть Совет Безопасности? Стремится ли он принять решение, основанное на принципах справедливости, или он ищет такого решения, которое просто умиротворит арабские страны?»

После выступления Шарета многие поздравляли его, а я тут же засел за подготовку его следующей речи, которую он должен был произнести на заседании Генеральной ассамблеи. Важно было показать участникам Ассамблеи что задержка осуществления раздела не только не справедлива, но и не выдерживает критики с чисто практической точки зрения. «В тот день, — писал я, — когда закончится Британский мандат, в Эрец Исраель де-факто уже будет существовать еврейское государство. Тот, кто думает, что понадобится сила, чтобы навязать раздел, ошибается. Теперь применение силы будет необходимо, чтобы раздел отменить».

Ночью, когда я писал текст, мне позвонил Шарет и несколько смущенно сказал, что, поскольку я работаю над этой

речью, будет справедливым, если я сам ее произнесу. Вот так получилось, что в ночь на первое мая 1948 года я написал речь, с которой сам должен был выступить в ООН и которую должен был слушать весь еврейский мир, да и многие другие люди на нашей планете.

Работа над речью была закончена примерно в семь утра. На востоке уже занималась заря. Я взошел на трибуну зала в присутствии 57 делегаций. Все произошло настолько неожиданно, что я не успел даже представить, насколько важным станет это выступление для меня лично. Я обвел глазами зал и почувствовал себя моложе, чем любой из присутствующих. Многие рассматривали меня с нескрываемым любопытством. До этого дня в ООН как еврейских представителей знали только Вейцмана, Абу Гилеля Сильвера и Шарета. Мое имя было для всех чужим. Я чувствовал, что всем своим существом хочу добиться успеха. Мне была предоставлена счастливая возможность требовать справедливости для моего народа. Слова лились легко, потому что были они подиктованы глубокой верой в дело, которое я отстаиваю.

В зале стояла мертвая тишина. Трюгве-Ли испытующе смотрел на меня, Громыко угрюмо улыбался поверх очков, американские делегаты нервничали. Я представил идею «режима международной ответственности» как попытку примириться с арабским насилием. Избавление наций от режима покровительства может проходить быстро или медленно, но процесс этот может идти только вперед. Народ не может по доброй воле согласиться на то, чтобы на смену его национальной свободе пришло нечто вроде «международного колониализма». Тяжелых испытаний, которые выпали на долю еврейского народа, можно избежать, только вернувшись на столбовую дорогу раздела страны.

Позже один из журналистов сказал о моей речи 1 мая 1948 года: «Если бы в тот день он произнес свою речь в сухой, официальной манере, если бы он говорил без сердечной

горячности, то, вероятно, так и остался бы одним из тех парней, которые обычно торчат в кулуарах ассамблеи».

Нет, мне не суждено было остаться в кулуарах. Когда я сошел с трибуны, то обратил внимание, как Шарет быстро поднялся со своего кресла. Я еще не знал его реакции, был ли он доволен, или, напротив, разочарован, испытывая замешательство. И только позже я узнал, что он отправился посылать телеграмму моей жене, в которой очень высоко оценил мое выступление, как «спикера еврейского народа на международной арене».

В тот же вечер я был приглашен вместе с Шаретом к Трюгве-Ли. Ко мне подошел Громыко и, пожав руку, сказал: «Вы просто убили «режим международной ответственности».

6

С марта по май 1948 года наши отношения с Соединенными Штатами оставались напряженными. Американское сопротивление плану раздела гасило все наши надежды. И в то же время было ясно, что совесть не давала покоя президенту Трумену. Как следовало из его последующих выступлений, его ввели в заблуждение советники: они представили ему «режим международной ответственности» как шаг на пути к разделу, хотя сами, конечно, знали, что этот «режим» заменит собой раздел. Сомнительно было, что все это произошло без ведома президента, однако теперь Трумен явно искал путь к отступлению.

Предстоящую Пасху Вейцман собирался провести у своих друзей. И вот за несколько часов до Пасхи к нему заехал судья Розенман, в свое время он готовил речи для Рузвельта, а теперь был близким советником Трумена. Розенман рассказал Вейцману, что президент пригласил его к себе и совершенно искренне сказал: «Вейцман давит на мою совесть!» Тогда, 19 марта, он еще не знал, что Госдепартамент зайдет так далеко, отступая от первоначального плана раздела. Но если будет провозглашено еврейское госу-

дарство и оно возьмет ответственность за собственную судьбу, он, президент, сейчас же признает его, чтобы, опираясь на международное признание, это государство могло бороться за свое существование. При этом Трумен поставил только одно условие: он будет вести переговоры с Вейцманом и только с ним. Создалось парадоксальное положение: президент Америки готов был признать еврейское государство, даже если оно будет провозглашено вопреки стремлению Госдепартамента навязать нам «режим международной ответственности».

Но, пожалуй, еще большими были наши внутренние трудности. Уже в первую неделю мая стало ясно, что главным препятствием на пути провозглашения еврейского государства были колебания среди самих евреев. Арабские соединения, не скрывая, готовились к новому нападению. Отряды еврейской самообороны «Хагана», неся потери, отбивали атаки палестинцев и нерегулярных арабских войск, действовавших под командованием Фаузи Коукаджи.

11 мая высший офицер «Хаганы» Игал Ядин представил сионистским лидерам в Иерусалиме мрачную картину последствий, к которым приведет новое арабское нашествие. Главная трудность заключалась в том, что отряды «Хаганы» не располагали современным оружием.

Дин Рак* и его помощники из Госдепартамента предпринимали усилия повлиять на Шарета и Гольмана, чтобы не допустить провозглашения 15 мая еврейского государства. Позже Нахум Гольман рассказывал в своей автобиографии, что он уже начал поддерживать отсрочку провозглашения еврейского государства. Шарет колебался, но, когда 12 мая он встретился в Вашингтоне с государственным секретарем Маршаллом, он был тверд, как скала. Теперь он ясно отдавал себе отчет в том, что, если 15 мая, в день, когда британские войска покинут Эрец Исраель, не будет провозглашено еврейское государство, этот уникальный шанс истории будет упущен навсегда.

*Возможно, Дин Раск, занимавший тогда должность директора офиса специальных политических дел в Госдепартаменте. *Д.Т.*

Маршалл не вступал в прения с Шаретом, но дал понять, что Америка намерена занять роль постороннего наблюдателя. «Если вы примете это решение, — сказал он Шарету, — вы окажетесь в одиночестве. Если вам удастся осуществить ваши планы, я пожелаю вам всего доброго. Но мы предупреждаем вас, чтобы вы воздержались от далеко идущих военных акций».

Вести, поступавшие из Израиля, говорили о том, что Бен Гурион непреклонен в своем решении. Он попросил Вейзгала соединиться по телефону с Вейцманом и выяснить его мнение о разделе. Вейцман ответил Вейзгалу несколькими ругательствами на идиш: «Скажи им, чтобы они уже провозгласили государство и не думали о том, что случится после этого!» Провожая Шарета в аэропорт, он умолял его: «Моше, пусть они будут тверды, если не теперь, то это не произойдет никогда».

Отныне все зависело от того, какое решение будет принято вождями еврейского ишува в Эрец Исраель. Между тем, события в Нью-Йорке развивались с калейдоскопической быстротой. 13 мая Вейцман написал письмо Трумену, в котором просил признать еврейское государство, если оно будет провозглашено. 14 мая во время бесплодных прений о «режиме международной ответственности» произошло нечто такое, что сразу же наэлектризовало зал. Поднялся наш делегат Аба Гилель Сильвер и заявил: «Несколько минут тому назад провозглашено государство Израиль! Постановление, которое приняла Генеральная ассамблея в ноябре прошлого года, осуществлено в той мере, в какой идет речь о еврейском государстве. Так осуществилась вековая мечта народа Израиля возвратиться на свою Родину и стать свободной и независимой нацией в Эрец Исраель».

Для каждого из нас было ясно, что действительное решение о создании еврейского государства будет принято на поле боя, а не в зале ООН, тем не менее, представлялось важным и международное признание нового государства.

Открытым оставался вопрос о судьбе Иерусалима, которому со стороны ООН были обещаны «мир, порядок, безопасность и конструктивные меры для развития города». В действительности Иерусалим оказался предоставленным сам себе. Еврейская часть Старого города была осаждена и со дня на день должна была пасть. 14 мая у ООН еще был шанс взять судьбу Иерусалима в свои руки, но этот шанс был намеренно упущен, и Израиль никогда не забудет этот урок. В шесть часов вечера, когда срок Британского мандата истек, в зале ООН поднялся представитель Ирака и торжественно заявил: «Дело закончено! Ассамблея потеряла право наследовать!»

Демонстрируя полное нежелание считаться с реальной жизнью, она продолжала обсуждать вопрос о «режиме международной ответственности». Но сразу же, как стало известно о письме Вейцмана Трумену, пошли слухи, что Америка уже признала государство Израиль. Поднявшись на трибуну, представитель Колумбии обратился к делегации Соединенных Штатов с запросом, верны ли эти слухи. Американский представитель Франсис Сиер растерянно пожал плечами и ответил: «У нас на этот счет никаких официальных сведений нет».

Я вышел из зала, чтобы позвонить Вейцману, к телефону подошла его жена и сказала: «Все в порядке!» Позже мне стало известно, что, получив письмо Вейцмана, Трумен развил лихорадочную деятельность, срочно созвал совещание на высшем уровне. Несколько раз оно прерывалось. И в частности, чтобы сообщить о поступлении телеграммы, известившей присутствовавших, что новое государство называется Израиль.

Трумен согласился на его признание в 6 часов 15 минут, сообщение об этом сразу же было передано по радио. Американский представитель поднялся на трибуну ООН и прочел его текст: «Как стало известно, на территории Эрец Исраель было провозглашено еврейское государство, и его временное правительство просит признания. Соединенные

Штаты Америки признают новое еврейское государство де-факто».

Было восемь тридцать вечера, обессиленный я вышел из зала заседаний и поехал в отель к Хайму Вейцману. Я застал его лежащим в кровати; как и я, он был совершенно вымотан. И снова молниеносная череда событий. Советский Союз и Гватемала признают государство Израиль. Бен Гурион в качестве нового главы правительства произносит свою первую речь. На многих улицах Нью-Йорка праздник, люди не скрывают волнения и слез. Из Тель-Авива поступают сообщения, что сионистские лидеры занимают посты министров. И только Хайм Вейцман в окружении очень немногих лежит в затемненном номере отеля, словно бы покинутый всеми. И тут вдруг появляется посыльный, в руках у него цветы, фрукты и телеграмма от лидеров рабочего движения на имя Вейцмана. «Мы поздравляем тебя с образованием еврейского государства, — говорилось в телеграмме. — Ты являешься человеком, который сделал для него больше, чем кто бы то ни было в наше время. Твоя помощь и настойчивость поддерживали всех нас. Мы хотим тебя видеть стоящим во главе государства. Бен Гурион, Каплан, Меерсон, Ремез, Черток».

Было уже очень поздно, когда мы вышли на Парк Авеню. До полуночи мы с Сюзи сидели в отеле и ждали, пока выйдет ночной выпуск «Нью-Йорк таймса». И вот в руках у нас свежие номера ночных газет. В глаза лезут крупные, кричащие заголовки: «Победа в Вашингтоне и в ООН!», «Опасность войны на Среднем Востоке», «Сэр Ален Кеничхэм отплыл на военном корабле от берегов Эрец Исраель!», «Египетские подразделения перешли границу и вступили в Негев!», «Войска Ирака движутся к Иордану!», «Арабский легион Заиорданья готов вступить в военные действия!»... Мог ли я еще несколько месяцев назад мечтать, что буду так близок к центру драмы, потрясшей весь мир. Ведь даже утром еще не было ничего известно. Это был день, который будет гореть вечным, неослабевающим огнем в коллектив-

ной памяти нации. Перед тем как лечь спать, я послал поздравительную телеграмму Моше Шарету и от себя добавил личный вопрос: «Что мне делать теперь?»

7

Конец британского владычества, нашествие арабских войск, провал предложения об установлении «режима международной ответственности», провозглашение государства Израиль, признание Израиля Америкой — все это произошло в один день. Трудно было поверить, что одни сутки оказались так насыщены событиями.

Центральным фактором в политической жизни евреев всегда была пассивность. Еврейская история — это история еврейской пассивности. Когда евреи проявляли активность, это происходило не по их инициативе, они реагировали на действия других. И вот теперь весь мир с интересом, а может быть, и с опаской следил за тем, что скажут и сделают евреи. Открылась новая страница еврейской истории. Как длинна и утомительна была дорога! Были поколения, выдвигавшие королей и пророков. Затем произошло падение Иерусалима под ударами легионов Тита. Мысль о возвращении в Сион сотни лет заставляла учащенно биться сердца евреев. И вот, наконец, пробил час избавления. Что бы ни случилось впоследствии, теперь произошло то, о чем всегда будут помнить будущие поколения. Но 15 мая 1948 года мы не думали об этом. Мы старались понять, будет ли достигнутое только эпизодом, за которым последует насильственный конец, или мы создали что-то прочное, всерьез и надолго.

Провозглашение независимости многие европейские газеты называли мужественным актом, однако лишенным смысла, поскольку еврейское государство никогда не сможет устоять перед арабской опасностью. И действительно: казалось, первые этапы войны не предвещают Израилю ничего хорошего. Опасность шла с Севера, где концентрировались военные силы Сирии, Ливана, Ирака,

собиравшиеся начать наступление на Хайфу. Египтяне продвигались вдоль побережья моря, остатки «армии освобождения» наседали на Иерусалим и атаковывали еврейские поселения в других районах страны. Арабский легион Заиорданья захватил сооружения электрической компании, и враждебное кольцо все более сужалось вокруг Иерусалима.

Но, несмотря на все это, молодое государство укрепляло свои позиции. Хайфа, Цфат, Тверия, Акко были в наших руках. Вся Галилея — и восточная, и западная — также была под еврейской властью. Но в Негеве положение не отличалось стабильностью. Население Старого города в Иерусалиме было обречено на гибель или в лучшем случае могло оказаться в арабском плену.

Теперь политическая борьба была направлена на прекращение огня, которое необходимо было достигнуть, не поступившись независимостью молодого еврейского государства.

20 мая Моше Шарет направляет Трюгве-Ли телеграмму, в которой извещает, что временное правительство Израиля назначило меня на пост своего представителя в ООН. Я был на шесть лет моложе Громыко, которому было в то время 38 лет и который сам был еще «ребенком» среди маститых дипломатов ООН.

На наших дверях висели две таблички: одна — «Общее консульство государства Израиль», другая — «Постоянное представительство Израиля в Организации Объединенных Наций». Трудно представить, какое воодушевление пробуждало теперь это здание у миллионов евреев Нью-Йорка. Возле подъезда, из которого я выходил на улицу, обычно стояли люди, — некоторые тихо, другие щелкали фотоаппаратами, словно хотели таким образом впитать и увековечить чудо еврейского государства. Многие под разными предлогами заходили внутрь, желая увидеть, как выглядит еврейский паспорт или как действует израильское консульство.

18 мая на заседании Совета Безопасности обсуждался вопрос о прекращении огня. Британские и арабские представители настаивали на том, чтобы это соглашение не давало военного преимущества ни одной из сторон. Но какой смысл они вкладывали в это требование? Смысл его состоял в том, чтобы запретить здоровым мужчинам приезжать в Израиль, поскольку это будет умножать его военную силу. Это было наглое требование, поскольку многие тысячи арабов открыто присоединялись к арабским подразделениям, действовавшим в Палестине. Я ответил, что не их дело — вмешиваться во внутренние дела Израиля. Я думаю, что никогда в прошлом это выражение «не ваше дело» не могло быть на устах еврейского деятеля.

8

Арабские войска не добились успеха на поле брани, но и положение Израиля было не из блестящих. Мы несли большие потери. Негев был по-прежнему отрезан от остальных районов страны. Иерусалим был превращен в осажденную крепость.

26 мая (не прошло и двух недель со дня провозглашения Израиля) арабы заявляют, что они будут готовы на прекращение огня, если еврейские власти отменят декларацию о создании еврейского государства и закроют ворота страны для еврейской алии из других стран. В ответ я произнес пятиминутную речь, которую, кажется, никогда не забуду. «Перед нами, — сказал я, — вызывающий отказ выполнить решение Совета Безопасности. Вместо этого нам предлагают отменить еврейское государство и его независимость. Неужели древний народ, который вернул себе свой суверенитет после долгой ночи мрачного галута, откажется от него под дулом пистолета? Мой долг — объяснить нашу позицию. Если арабские государства хотят мира с Израилем, они могут его получить. Если они хотят войны, то они могут получить и это. Однако и в том, и в другом случае они будут иметь дело в суверенным еврейским государством».

Это были возвышенные, драматические слова. Но не

было в них никакого преувеличения, если помнить о величии часа. В конце концов, не в каждое десятилетие провозглашается еврейское государство, и требование о его отмене не могло обсуждаться в прозаических выражениях. Мое лапидарное, бьющее в одну точку выступление вызвало много откликов. Именно с этих пор я становлюсь желанным гостем телевидения. А вот как газета «Нью-Йорк пост» от 28 мая 1948 года рисует мой облик: «Обычно он дружелюбен, но может быть и резким, говорит он с короткими придыханиями, своей походкой он напоминает радующегося медвежонка, но мысль его ясна, в ней нет и тени неопределенности. Она быстра и точна, как свистящий кнут. Его речь богата, блестяща, полна иронии, и все это выделяет его как человека особого стиля в Организации, где главное — это безграничная способность говорить».

Израилю нечего было терять. Он вел войну решительно и с большим мужеством, и это не могло не повлиять на другие правительства. На заседании 28 мая, когда обсуждался очередной отказ арабов прекратить огонь, Соединенные Штаты решительно выступили в поддержку Израиля. Американский представитель Р.Остин заявил, что нежелание арабских государств придти к соглашению о прекращении огня есть лучшее доказательство их агрессивности.

Советские делегаты также старались не отстать от Америки в изобличении арабской позиции. В будущем Израиль уже никогда не встретит такой риторической поддержки со стороны двух великих держав.

Я не знаю, что думает теперь Андрей Громыко о сказанном им на заседании Совета Безопасности 29 мая 1948 года. «То, что происходит в Эрец Исраель, — говорил он, — нельзя расценивать иначе, как организованные военные действия группы стран против молодого еврейского государства. Не впервые арабские страны, организовавшие нападение на Эрец Исраель, игнорируют решения Совета Безопасности. Делегация СССР считает необходимым,

чтобы Совет Безопасности внес ясность в свое отношение к этому поведению арабских государств».

Несколько дней спустя Громыко обрисовал ситуацию словами, которые следует опять же напомнить: «Советская делегация, — сказал он, — может только выразить удивление перед лицом позиции, занятой арабскими государствами и особенно перед тем фактом, что некоторые из них пошли на то, чтобы развязать военные действия, цель которых уничтожить национально-освободительное движение в Эрец Исраель. Мы, — продолжал он, — можем только поражаться этой позиции арабских государств, которые окончательно не освободились от чуждого влияния. У некоторых из них нет даже настоящей национальной самостоятельности».

Свыше трех недель велась дискуссия. И вот в начале июня твердая позиция Израиля и поддержка со стороны ряда стран, членов ООН, стала приносить результаты Возникла реальная возможность добиться прекращения огня. Несмотря на победы, одержанные Израилем, молодое государство остро нуждалось в отдыхе. 28 мая я послал в Израиль телеграмму о возможности подписать к завтрашнему дню соглашение о прекращении военных действий. И был очень удивлен, когда в ответ позвонил Бен Гурион и сказал, что нужно достигнуть соглашения о «паузе». Вскоре наступили дни, которые стали катастрофой для воинствующего арабского национализма. В конце июля израильские подразделения перешли в наступление, и, прорвав «линию раздела» от ноября 1947 года, захватили Рамле, Луд, укрепили свои позиции в Западной Галилее и в обширных районах Негева. Войска арабских государств, которые хвастались, что смогут устроить резню, как во времена монголов, позорно отступали, а арабские правительства подверглись всеобщему осуждению — в ООН, в Америке, в Советском Союзе и во всем свободном мире. Я вспоминал слова секретаря Арабской Лиги Азама-Паши (сказанные в ноябре 1947 года) о неизбежности войны, которая определит судьбу еврейского государства. Его пророчество сбылось, но вопреки тому, что он ожидал, оно обернулось горечью поражения.

Израиль августа 1948 года представлял собой чудесную страну, в которой стоило жить. Многого недоставало. Было лимитировано распределение продуктов. На каждом шагу ощущались потери войны. Но в стране царила ни с чем не сравнимая высокая мораль. Война за независимость окончилась победой народа, которая была достигнута множеством мужчин и женщин, и эти дни были полны проникновенных сцен мужества, страдания и надежды. Повсюду царило ощущение, что занимается заря нового дня. Сердца израильтян были преисполнены гордости от мысли, что они живут в собственном государстве. И что самое важное: ворота страны распахнулись перед тысячами и сотнями тысяч еврейских беженцев со всего мира.

9

Когда пришло известие, что с Египтом подписано соглашение о прекращении огня, у нас было чувство, что международное положение молодого еврейского государства стабилизировалось. Открылось американское посольство в Израиле и израильское посольство в Соединенных Штатах. Еврейское государство было признано Великобританией и большинством государств Западной Европы и Латинской Америки. Но Израиль еще не был принят в ООН в качестве ее полноправного члена, и это вызывало ощущение незавершенности нашего дела. Я обратился с соответствующим заявлением в Совет Безопасности, и 24 марта 1949 года Совет большинством в восемь голосов против одного рекомендовал Генеральной ассамблее принять Израиль в состав ООН.

Генеральная ассамблея собралась в апреле сорок девятого года, однако под влиянием арабов просьба Израиля была препровождена в политическую комиссию ООН. Моше Шарет увидел в этом тяжелое поражение, но я не хотел думать

о поражении. В это время я уже верил, что нам удастся собрать большинство в две трети, и лично возглавил политическую кампанию, которая по своему размаху не знала себе равных в международных отношениях. «Если ассамблея проявит колебания, — говорил я в своей речи 5 мая 1949 года, — то этим она укрепит арабские страны в их сомнении относительно самого права Израиля на существование. Парадоксальность положения заключается в том. что агрессивным арабским государствам предстоит судить, достоин ли Израиль быть в составе семьи миролюбивых наций. Это подобно тому, — продолжал я, — если бы человек, подвергшийся на темной улице нападению, был вызван в суд только для того, чтобы увидеть, как напавшие на него бандиты сидят на судейских скамьях и с фарисейской улыбкой произносят речи о долге миролюбивого гражданина». В итоге нам удалось добиться согласия СССР и Соединенных Штатов, а затем и необходимого количества малых стран на принятие государства Израиль в члены ООН. В моем заключительном слове было сказано: «Все интеллектуальные и духовные силы, которыми располагает Израиль, будут предоставлены теперь к услугам Организации Объединенных Наций для ее укрепления и поднятия ее престижа. Колесо истории завершает свой круг в час, когда Израиль, обновленный и окрепший, со всеми своими недостатками, но, может быть, и с некоторыми достоинствами выражает готовность стать соучастником общей борьбы в защиту человека от нигилизма, разброда и отчаяния».

Час, когда Израиль, большинством в две трети голосов, был принят в ООН, казался мне великим часом благородства и величия духа. Иногда ООН принимала недостойные решения. Но решение, согласно которому еврейское государство вошло в состав международного сообщества, имело далеко идущие последствия. С точки зрения еврейского самосознания это был волнующий символ возвращения нации в русло мировой истории. Теперь уже никто не мог отрицать законность существования Израиля.

Книги Александры Львовны Толстой «Отец» и «Проблески во тьме» о Льве Толстом, широко известны на Западе. В этом номере мы предлагаем отрывок из ее мемуаров, мало известный читателю, и относящийся к одному из самых драматических моментов в жизни великого писателя — его уходу из дома, из Ясной Поляны. В заключение автор рассказывает о смерти Льва Толстого.

Александра ТОЛСТАЯ

ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ И СОФЬЯ АНДРЕЕВНА

УХОД

С вечера 27-го чувствовалось особенно тяжелое, напряженное настроение. Сначала матери не было за чаем, она занималась корректурами. Мы сидели за столом вчетвером: отец, Душан Петрович, Варвара Михайловна и я. Отец пил чай из сухой земляники. Через некоторое время пришла мать. Я встала, взяла свою чашку и вышла. Скоро пришла Варвара Михайловна и сказала мне, что, как только я ушла, отец взял свой стакан с земляникой и тоже ушел к себе. Долго в эту ночь мы не спали с Варей. Нам все мерещилось, что кто-то ходит, разговаривает наверху, в кабинете отца. Перед утром мы услыхали стук в дверь.

— Кто тут?

— Это я, Лев Николаевич. Я сейчас уезжаю... Совсем... Пойдемте, помогите мне уложиться.

* Публикуется по журналу «Современные записки», № 52, Париж, 1933 год. Заголовок редакции.

— Ты разве уезжаешь один? — со страхом спросила я.

— Нет, я беру с собой Душана Петровича.

Я ждала его ухода, ждала каждый день, каждый час, но тем не менее, когда он сказал «я уезжаю совсем», меня это поразило, как что-то новое, неожиданное. Никогда не забуду его фигуру в дверях, в блузе, со свечей и его светлое, прекрасное, полное решимости лицо.

Когда мы пришли наверх, Душан Петрович был уже там. Он молчал, но по его нервным, суетливым движениям видно было, что он страшно волнуется. Я стала помогать отцу укладываться, но сердце билось, руки дрожали, я все делала не то, что надо, спешила, роняла вещи...

Отец же на вид был совершенно спокоен. Он что-то аккуратно укладывал в коробочки, перевязывал их бечевкой. Он указал мне на кипу рукописей, которые лежали на кресле у письменного стола.

— Вот, Саша, я выбрал из ящиков все свои рукописи. Пожалуйста, возьми и сохрани их. Я мамá* написал, что отдаю их тебе на сохранение.

Лицо у него было розовое, движения ровные, не было заметно никакой поспешности, и только прерывающийся голос выдавал волнение.

Я отнесла рукописи к себе и спросила его, взял ли он дневник. Он ответил, что взял, и просил меня уложить карандаши и перья. Я хотела уложить некоторые медицинские принадлежности, необходимые для его здоровья, но он сказал, что это совершенно лишнее. Отец брал с собой только самые необходимые вещи. Мне с трудом удалось уговорить его взять некоторые лекарства, электрический фонарик и меховое пальто.

Мы двигались чуть слышно и все время останавливали друг друга: «Тише, тише, не шумите!» Двери были затворены, и, когда я спросила, кто затворил их, отец сказал, что тихо, едва ступая, он подошел к спальне матери, затворил ее дверь и дверь из коридора.

— Ты останешься, Саша, — сказал он мне. — Я вызову

*В тексте несколько раз встречается слово "мама" в именительном падеже, вероятно, с ударением на последнем слоге. *Д.Т.*

тебя через несколько дней, когда решу окончательно, куда я поеду. А поеду я, по всей вероятности, к Машеньке* в Шамордино. Скажи мамá, что нынче была последняя капля, переполнившая чашу. Засыпая, я услышал шаги в кабинете, посмотрел в щель и увидел, что она перерывает мои бумаги. Мне стало так противно, так гадко. Я лежал, не мог заснуть, сердце билось. Я считал пульс, было 97. А потом она вошла ко мне и спросила о моем здоровье. Я всю ночь не спал и к утру решил уйти.

Укладывали вещи около получаса. Отец уже стал волноваться, торопил, но руки у нас дрожали, ремни не затягивались, чемоданы не закрывались. Отец сказал, что ждать больше не может и, надев свою синюю поддевку, калоши, коричневую, вязаную шапочку и рукавицы, пошел на конюшню сказать, чтобы запрягали лошадей. Я сошла с ним вниз, таща готовые вещи. Варвара Михайяовна собирала провизию на дорогу.

Мы хотели уже выносить вещи, как вдруг отворилась наружная дверь и отец без шапки вошел в переднюю.

— Что случилось?

— Да такая темнота, зги не видать! Я пошел по дорожке, сбился, наткнулся на акацию, упал, потерял шапку, искал, не нашел и должен был вернуться! Достань мне, Саша, другую шапку!

Я побежала, принесла две. Отец взял вязаную — похуже и опять вышел, захватив с собой электрический фонарик.

Через несколько минут и мы пошли на конюшню, таща на себе тяжелые связки и чемоданы. Было грязно, ноги скользили, и мы с трудом подвигались в темноте. Около флигеля замелькал синенький огонек. Отец шел нам навстречу.

— Ах, это вы, — сказал он, — ну, на этот раз я дошел благополучно. Нам уже запрягают. Ну, я пойду вперед и буду светить вам. Ах, зачем вы дали Саше самые тяжелые вещи?

*Мария Николаевна Толстая.

— с упреком обратился он к Варваре Михайловне.

Он взял из ее рук корзину и понес ее, а Варвара Михайловна помогла мне тащить чемодан. Отец шел впереди, изредка нажимая кнопку электрического фонаря и тотчас же отпуская ее, отчего казалось еще темнее. Отец всегда экономил и тут, как всегда, жалел тратить электрическую энергию. Так подвигались мы то в полном мраке, то направляемые светом фонаря. Когда мы пришли на конюшню, Адриан Павлович заводил в дышло вторую лошадь. Отец взял узду, надел ее, но руки его дрожали, не слушались, и он никак не мог застегнуть пряжку.

Сначала отец торопил кучера, а потом сел в уголке каретного сарая на чемодан и сразу упал духом.

— Я чувствую, что вот-вот нас настигнут, и тогда все пропало. Без скандала уже не уехать.

Но вот лошади готовы, кучер оделся. Филя с факелом вскочил на лошадь.

— Трогай!

— Постой, постой! — закричала я, — постой, папаша! Дай поцеловать тебя!

— Прощай, голубушка, прощай! Ну, да мы скоро увидимся, — сказал он. — Поезжай!

Пролетка тронулась и поехала не мимо дома, а прямой дорогой, которая идет яблочным садом и выходит на так называемый «пришпект».

Все это случилось так быстро, так неожиданно, что я не успела отдать себе отчета в том, что произошло. И тут, стоя в темноте возле конюшни, я в первый раз ясно поняла, что отец уехал совсем из Ясной Поляны, может быть, навсегда и что, может быть, я уже больше никогда не увижу его.

Было около пяти часов утра, когда мы с Варварой Михайловной вернулись домой. С сильно бьющимся сердцем вошла я в свою комнату и тут, считая часы, просидела до восьми. В восемь часов я вздохнула с облегчением: поезд, с которым должен был уехать отец, уже ушел. Я пошла к Илье Васильевичу.

— Где Лев Николаевич?

Илья Васильевич потупился и молчал.

— Вы знаете, что Лев Николаевич уехал совсем?

— Знаю, они мне говорили, что хотели уехать, и я нынче догадался по пальто, что их нет.

Постепенно весть об отъезде отца облетела весь дом. Большая часть прислуги молчала, не смея выражать своего мнения, только старушки — няня и Дунечка, громко сокрушались и, хотя и жалели графиню, но говорили, что она сама виновата.

Адриан Павлович, отвозивший отца на станцию, привез мне письмо:

«Доехали хорошо. Поедем, вероятно, в Оптину. Письма мои читай. Черткову скажи, что, если в продолжение недели до 4-го числа не будет от меня отмены, то пусть пошлет «заявление» в газеты. Пожалуйста, голубушка, как только узнаешь, где я, а узнаешь это очень скоро, извести меня обо всем. Как принято известие о моем отъезде и все, чем подробнее, тем лучше. 28-го октября. Щекино».

В страшном волнении, не находя себе места, прождала я до одиннадцати часов. Было невыносимо тяжело сообщать матери об уходе отца. Но вот в спальне послышались шаги. Я вошла в залу, и через несколько минут туда стремительно вбежала мать.

— Где папа? — испуганно спросила она.

— Отец уехал.

— Куда?

— Не знаю.

— Как не знаешь, куда уехал? Совсем уехал?

— Он оставил тебе письмо. Вот оно.

Я подала ей письмо. Она поспешно схватила его. Глаза ее быстро бегали по строчкам.

Вот что писал отец:

«4 часа утра 28 октября 1910 года.

Отъезд мой огорчит тебя, сожалею об этом, но пойми и поверь, что я не мог поступить иначе. Положение мое в

доме становится, стало невыносимо. Кроме всего другого, я не могу более жить в тех условиях роскоши, в которых жил, и делаю то, что обыкновенно делают старики моего возраста — уходят из мирской жизни, чтобы жить в уединении, в тиши последние дни своей жизни.

Пожалуйста, пойми это и не езди за мной, если и узнаешь, где я. Такой твой приезд только ухудшит твое и мое положение, но не изменит моего решения.

Благодарю тебя за твою честную сорокавосьмилетнюю жизнь со мной и прошу простить меня во всем, чем я был виноват перед тобой, так же, как и я от всей души прощаю тебя во всем том, чем ты могла быть виновата передо мной. Советую тебе помириться с тем новым положением, в которое ставит тебя мой отъезд, и не иметь против меня недоброго чувства. Если захочешь что сообщить мне, передай Саше, она будет знать, где я, и перешлет мне что нужно. Сказать же о том, где я, она не может, потому что я взял с нее обещание не говорить этого никому. Лев Толстой».

«Собрать вещи и рукописи мои и переслать мне я поручаю Саше».

— Ушел, ушел совсем! — закричала мать: — Прощайте, я не могу больше жить без него! Я утоплюсь!

Она бросила на пол письмо и побежала. Я позвала Булгакова, который только что пришел от Чертковых, и просила его помочь мне последить за матерью. Булгаков тотчас же побежал за ней. А она, как была, без калош, в одном платье, побежала в аллею, дальше, дальше, по направлению к пруду. Я смотрела на нее из окна залы. Но вот я увидала, что она приближается к пруду. Я бросилась со всех ног с лестницы вниз. В этот момент мать увидела бегущего за ней Булгакова и бросилась в сторону. Я побежала наперерез, обогнала Булгакова и подоспела в тот момент, когда мать подбежала к пруду. Она побежала по доскам плота, на котором полоскали белье, но поскользнулась и упала навзничь. Я бросилась к ней, но она скатилась с плота в сторону и упала в воду. Я не успела удержать ее. Она стала

погружаться в воду, но я уже летела за ней, а следом за мной подоспевший Булгаков. Стоя по грудь в воде, я вытащила мать и передала ее Булгакову и прибежавшему на помощь лакею Ване. Они подхватили ее и понесли. Тут же подоспел Семен Николаевич, который, подбегая к плоту, поскользнулся и со всего размаха упал.

— Вот и я тоже поскользнулась и упала, — сказала мать.

Ее взяли под руки и повели.

— Саша! — воскликнула она. — Сейчас же телеграфируй отцу, что я топилась!

Я ничего не ответила матери. От быстрого бега, холодной воды, пережитых волнений дух захватило, сердце в груди бешено колотилось, и я с трудом передвигала ноги.

Придя домой, я переоделась и снова пошла наверх. Я ходила по комнатам, волнуясь и не зная, что делать. И вот вижу в окно, что мать в одном халате бежит по аллее к пруду. Я крикнула Булгакову и Ване, которые снова побежали за ней и силой привели ее домой. Так продолжалось весь этот, казавшийся мне бесконечным, кошмарный день. Мать, не переставая, плакала, била себя в грудь то тяжелым пресспапье, то молотком, колола себя ножами, ножницами, булавками. Когда я отнимала у нее все эти предметы, она хотела выброситься в окно, в колодец.

Я решила следить за ней и днем и ночью, пока не приедут остальные члены семьи, которым я тотчас же послала срочные телеграммы. Брат Андрей был в Крапивне* и мог быть в Ясной Поляне в тот же день. Кроме того, я послала в Тулу за врачом по нервным болезням.

Несколько раз мать умоляла сказать ей, куда поехал отец, и видя, что ничего не добьется от меня, послала на станцию узнать, куда были взяты билеты. Узнав, что билеты были выданы на поезд № 9, она послала телеграмму на имя отца:

«Вернись немедленно. Саша».

Лакей Ваня, которому она вручила эту телеграмму, в сму-

* Крапивна — уездный город Тульской губ.

щении принес ее мне, не зная исполнять ли ему приказание матери.

Я не задержала телеграммы, но одновременно с ней послала другую: «Не беспокойся, действительны только телеграммы, подписанные Александрой». Впоследствии я узнала, что обе эти телеграммы не были получены. Отец пересел на другой поезд.

К вечеру приехал Андрей. Через час после него — доктор из Тулы. Доктор сейчас же прошел к матери, долго говорил с ней, определил истерию, но не нашел никаких признаков умственного расстройства. Несмотря на это, он предупредил нас, что не исключает возможности самоубийства.

— Разве не бывает случаев, когда истерички, желая напугать окружающих, нечаянно лишают себя жизни, — сказал он и просил установить за матерью постоянный и тщательный надзор.

Ночью около матери дежурили «старушка Шмидт» и Булгаков. Я несколько раз вставала узнать, что делается. Мать ходила всю ночь из комнаты в комнату, то громко рыдая, то успокаиваясь. Она уже не делала попыток к самоубийству.

— Я его найду, я убегу. Как вы меня устережете? Выпрыгну в окно, пойду на станцию. Что вы со мной сделаете? Ах, только бы узнать, где он! Уж тогда-то я его не выпущу, день и ночь буду караулить, спать буду у его двери...

28 октября вечером мною была получена телеграмма, посланная на имя Черткова: «Ночуем Оптиной, завтра Шамордино. Адрес Подборки. Здоров. Николаев».

На другой день состояние матери не улучшилось. Иногда она истерически рыдала, восклицая:

— Левочка, Левочка! Что ты со мной наделал! Вернись, Левочка, дорогой мой!

Порой она начинала упрекать отца, сердилась на него, и почему-то в такие минуты мне казалось, что она ничего с собой не сделает.

Приехала Таня и все братья, за исключением Льва, который был за границей. Вечером они собрались у меня в комнате и стали обсуждать, что им делать. Все, за исключением старшего брата Сергея, считали, что отцу надо вернуться. Илья резко говорил, что отец, всю жизнь проповедующий христианство, в данном случае совершил злой, нехристианский поступок — вместо того, чтобы прощать мать и терпеть ее, он ушел. Остальные поддерживали его. И когда я возражала, Илья сердито кричал мне:

— Ты хочешь сказать, Саша, что то, что отец бросил больную мать, есть христианский поступок? Нет, ты живи с ней, терпи ее, будь с ней ласкова — это будет истинное христианство.

Илья делал ударение на слове «христианство».

— Я согласна с Ильей, — сказала Таня, — отец был бы последовательнее, если бы остался с матерью.

— Но что же нам теперь делать? — спросил Миша. — Ведь мама нельзя оставить одну!

— Да, — сказал Андрей. — Но я не могу здесь торчать, у меня служба.

— И у меня служба! — сказал Илья.

— А у меня Танечка и Михаил Сергеевич, — сказала Таня, — а ведь ты, Саша, вероятно уедешь к отцу?

— Да. Я считаю свой долг по отношению к матери исполненным, — сказала я.

И я стала говорить о том, что много, много раз за эти пять месяцев сплошного страдания умоляла их помочь, разлучить, хотя бы на время, родителей, поместить мать в санаторий, и каждый раз они спешили уехать, кто к своей семье, кто к службе. Теперь отец ушел, и вот, вместо того, чтобы радоваться, что он наконец освободился от страданий, они упрекают его и думают только о том, как сделать, чтобы он вернулся и снова принял на себя ярмо.

— Вы только потому и хотите, чтобы он вернулся, чтобы снова взвалить эту тяжесть на плечи 82-летнего старика!

Горько мне было, и я чувствовала, что нечего было ждать

особой поддержки от семьи. Только один Сережа сказал:

— Саша права. Я не хотел бы, чтобы отец возвращался, и нынче же напишу ему об этом.

И он написал отцу короткое, но доброе, сочувственное письмо, в котором высказывал мнение, что отцу следовало, как это ни тяжело, расстаться с матерью еще двадцать шесть лет тому назад, что он понимает отца и не осуждает его и, что бы ни случилось, отец не должен упрекать себя. Все остальные написали отцу, уговаривая его вернуться. Мать тоже написала письмо:

«29 октября 1910 года.

Левочка, голубчик, вернись домой, милый, спаси меня от вторичного самоубийства. Левочка, друг всей моей жизни, все сделаю, что хочешь, всякую роскошь брошу совсем; с друзьями твоими будем вместе дружны, буду лечиться, буду кротка, милый, вернись, ведь надо спасти меня, ведь и по евангелию сказано, что не надо ни под каким предлогом бросать жену. Милый, голубчик, друг души моей, спаси, вернись, вернись хоть проститься со мной перед вечной нашей разлукой.

Где ты? Где? Здоров ли? Левочка, не истязай меня, голубчик, я буду служить тебе любовью и всем своим существом и душой, вернись ко мне, вернись ради Бога, ради любви Божьей, о которой ты всем говоришь, я дам тебе такую же любовь, смиренную, самоотверженную! Я честно и твердо обещаю, голубчик, и мы все опростим дружелюбно; уедем, куда хочешь, будем жить, как хочешь.

Ну, прощай, прощай, может быть, навсегда. Твоя Соня.

Неужели ты меня оставил навсегда? Ведь я не переживу этого несчастья, ведь ты убьешь меня. Милый, спаси меня от греха, ведь ты не можешь быть счастлив и спокоен, если убьешь меня.

Левочка, друг мой милый, не скрывай от меня, где ты, и позволь мне приехать повидаться с тобой, голубчик мой, я не расстрою тебя, даю тебе слово, я кротко, с любовью отнесусь к тебе.

Тут все мои дети, но они не помогут мне своим самоуверенным деспотизмом; а мне одно нужно, нужна твоя любовь, необходимо повидаться с тобой. Друг мой, допусти меня хоть проститься с тобой, сказать в последний раз, как я люблю тебя. Позови меня или приезжай сам. Прощай, Левочка, я все ищу тебя и зову. Какое истязание моей души».

Окончание в следующем номере.

Виктор ПЕРЕЛЬМАН

ТЕАТР АБСУРДА

Комедийно-философское повествование о моих двух эмиграциях. Опыт антимемуаров

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. РОДИНА, ТЕКСТЫ И Я

Нью-Йорк; Правительство в изгнании; Шинау; Израиль; Бейт-Бродецкий; Рувен Веритас и другие; Снова Нью-Йорк; "Свободный мир"; Мой иностранный паспорт; Дядя Сол; Под знойным солнцем Тель-Авива; Что нужно бедному еврею?; Дом, в котором я жил.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ЗАЛП "АВРОРЫ"

Инженер Сэм Житницкий: "Оплот Израиля"; Мы жили... Мы ждали; Судьбоносный день; Сага о черемухе

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. НАХМАНИ, 62

Мой Атлантик-Сити; Лорд Шацман и его персонал; Про Мейерхольда и Ворошилова; Странная штука — жизнь; Лефортовская одиссея; Ленин-Бланк и наша эмиграция; Мать и мачеха; Пир победителей; Облака плывут, облака

"TIME AND WE", 409 HIGHWOOD AVENUE
LEONIA, NJ 07605, USA Tel.: (201) 592-6155

Цена книги 10 долларов. В книге 254 стр.

...И НАЧАЛИСЬ ДНИ БУДУЩЕГО

В один из апрельских дней 1977 года, в Иерусалиме, в долине старого города, состоялось ритуальное действо: приехавшие из СССР художники Комар и Меламид сожгли, при стечении публики, свой фибровый чемодан, привезенный Виталием Комаром в Израиль. Тогда же в своей работе «Книга жреца и учителя» они записали: «Кончились дни бывшие и начались дни Будущего».

Сегодня это событие выглядит как занятный эпатаж, как веселая шутка двух талантливых концептуалистов, эдак смеясь заявивших миру о том, что они сжигают прошлое. Было это начало эмиграции, время надежд и самоуверенных мечтаний. И трудно было еще понять, что это веселое символическое действо по-своему высвечивало драматизм создававшейся ситуации.

В те брежневские дни, под черным и, казалось, навеки застывшим небом, царила редкая даже для русской истории безысходность — из России надо было уходить все равно куда, все равно под какое небо. Потому люди и сжигали мосты, отправляясь в свободный мир: где бы они не оказались, хуже, чем есть, не будет. Это была массовая психология отъезжающих. Все было в ней верно за исключением совершенной малости: приземлившись в Нью-Йорке, фантастически чудном городе мира, и охваченные эйфорией, они так и оставались в неведении, что же все-таки значит это пьянящее слово «свобода». Мало кто знал, что есть у него и другой, жестокий смысл — жестокий вдвойне для тех, кто приехал из России и с такой легкостью сжигал свои русские фибровые чемоданы.

Это был мир равных возможностей, но равных для кого? Для русских художников? Для голых и безъязыких, которые катапультировались с земли на Марс? Они оказались в другой цивилизации, с другим отсчетом ценносчтей в искусстве, никто не хотел снизойти до них, этих странных пришельцев, вырвавшихся из сталинско-брежневской России. Критики писали: «Да, когда-то в этой России были мастера — Кандинский, Малевич, Петров-Водкин... Но эти? Что эти значили рядом с современным искусством?» От себя добавим: искусством, признанным публикой, выставляемым в галереях, рекламируемым критикой. Искусством, выращенным рекламой и артдилерами. Искусством, в которое были вложены баснословные средства и от которого ожидались баснословные прибыли. Вот та сказочная ситуация, в которой оказались художники-эмигранты из СССР.

Можно сказать, что они начинали с нуля, а можно сказать — и с минуса как живописал свое тогдашнее положение Эрнст Неизвестный. Знали о Неизвестном и критики лишь то, что был у него громкий скандал с Хрущевым: много ли стоило это в глазах Джона Рассела? И иже с ним вершителей судеб художников? О диссидентском прошлом «русских» писали газеты и передавали по телевидению. Их готовы были признать демократами, либералами, свободолюбцами, борцами с режимом — но только не художниками, кем они считали сами себя. Была тут, конечно, боязнь конкуренции, но была и своя печальная правда: они и в самом деле прибыли с периферии искусства. И бунт против советских начальников оказался куда проще, чем бунт против самих себя. Эта была не их, а режима вина, но от этого не становилось легче, когда капля за каплей выдавливали из себя провинциализм, впитывали то, что аборигены получали с молоком матери и без чего нельзя в этом мире ничего создать. Каждый должен был найти самого себя, и тут самое время употребить слова «муки творчества», но много ли они значат рядом с тем, что прошел на этой земле творческий человек из России?

В 100 номерах журнала мы рассказали о многих эмигрантских художниках и сегодня представляем снова работы некоторых из них. У каждого был свой путь, сложный, извилистый, мучительный и совсем не всегда благодарный — свой у Неизвестного, свой у Комара и Меламида, свой у Целкова, у Шемякина, у Оскара Рабина, у Красного, и у Окштейна, и у Сокова, и у Збарского, и у Межберга, и у Простакова, и у Бахчаняна.

Многие из этих художников выставляются в американских галереях.

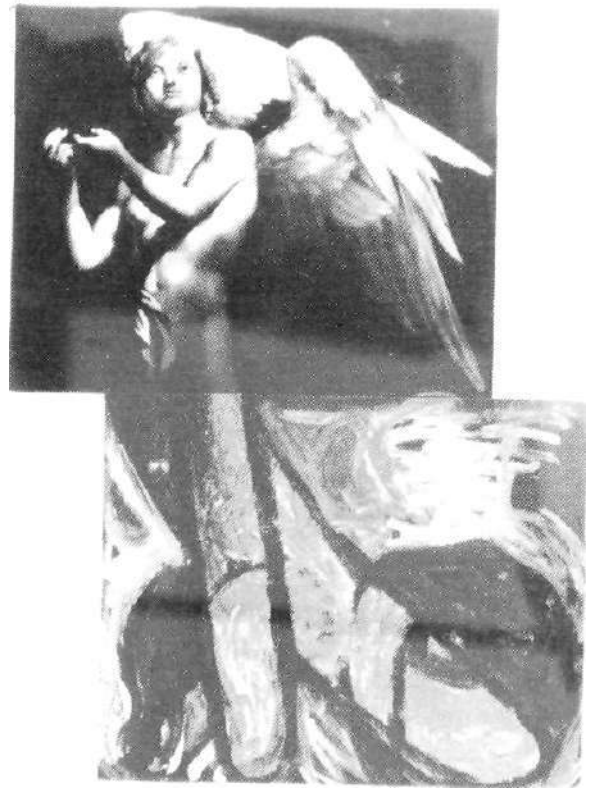
Многие в галерее Эдуарда Нахамкина, чью роль в развитии русского искусства в Америке вряд ли кто-то будет отрицать. Можно говорить об их манере, о стилевом разнообразии, о принадлежности к разным школам и традициям. Единственно, о чем не пришло еще время судить, — об их результатах: искусство — это область, где подлинные ценности не поддаются сиюминутным оценкам. И хоть работы одних продаются за десятки тысяч долларов, а у других нет и грана коммерческого успеха, — лишь время ответит на главный, в сущности, фундаментальный вопрос: кто и что сделал в искусстве конца 20 века.

А пока воздадим должное этим бунтарям и труженикам, тем, кто приехал из России, чтобы остаться самими собой и для кого начались уже дни Будущего, о чем мечтали Комар и Меламид, сжигая свой фибровый чемодан.

В.ПЕТРОВСКИЙ

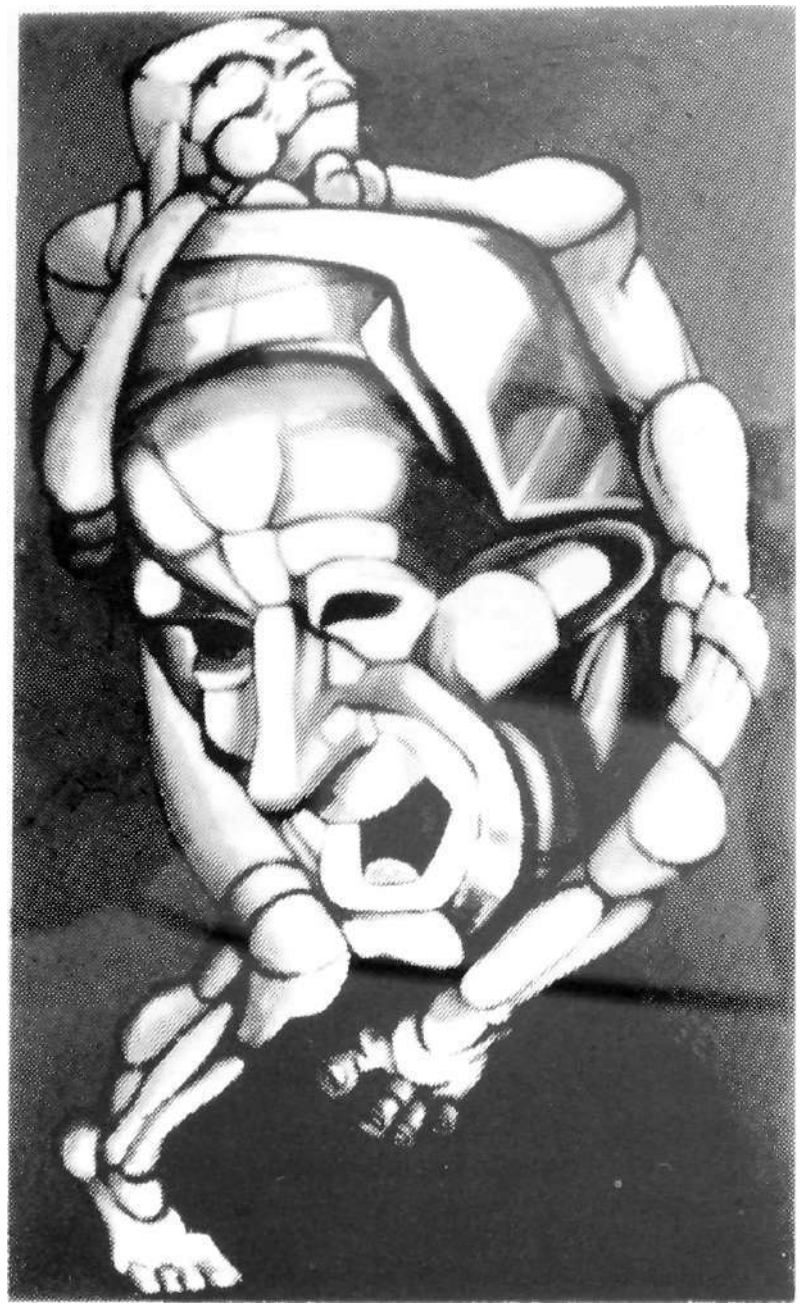
Юрий Красный. «Девушка в саду»

Леонид Соков. «Столичная»

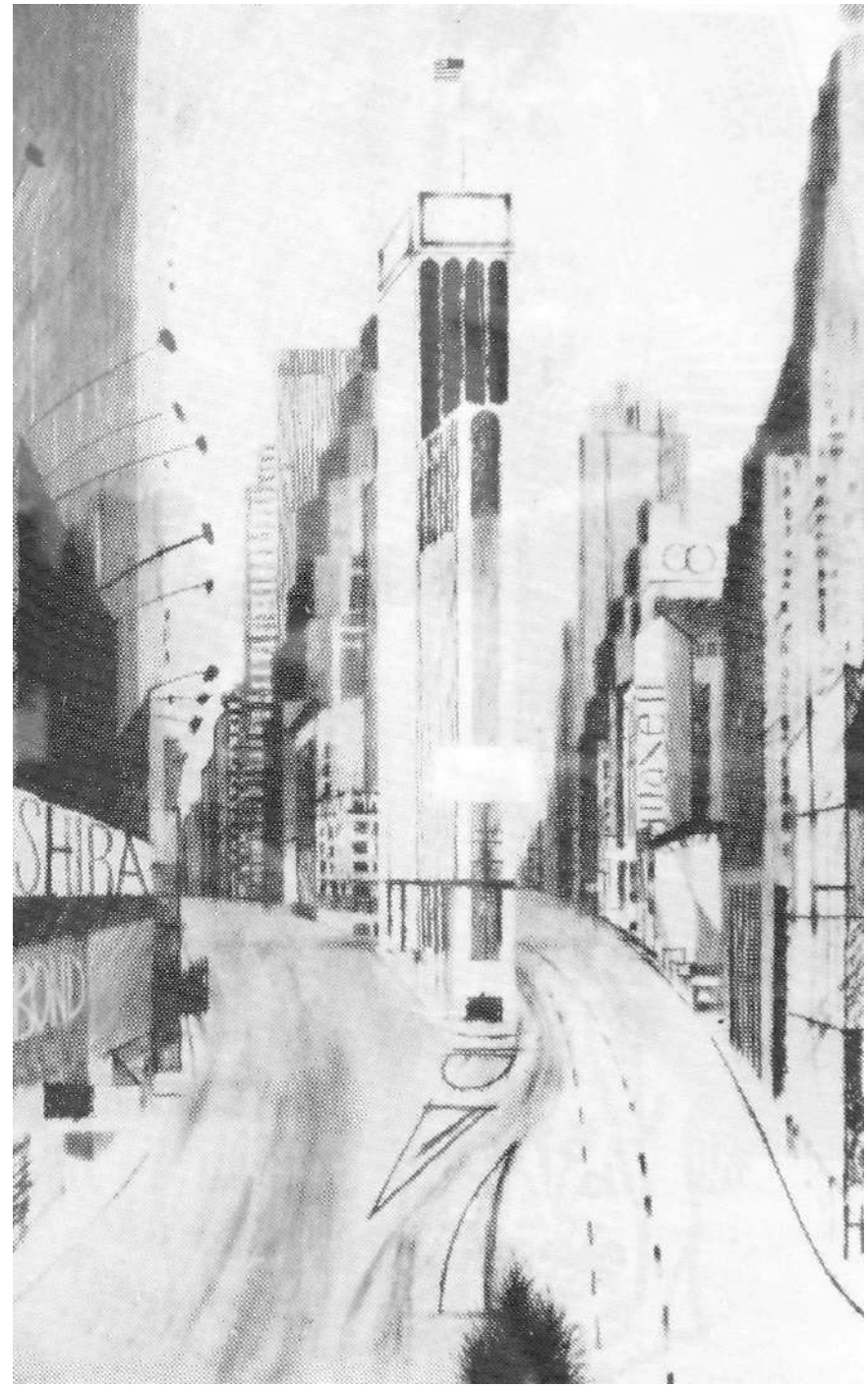


Виталий Комар и Александр Меламид. «Падший ангел»

Оскар Рабин. «Рубашка»



Эрнст Неизвестный. «Пляска с маской»



Феликс Збарский. «Из серии «Нью-Йорк»

Шимон Окштейн. «Кошачья лапа»

Вагрич Бахчанян. «Адам и Ева»

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

ВИКТОР ПЕРЕЛЬМАН — издатель и главный редактор журнала «Время и мы». Родился в 1929 году в Москве. Окончил Московский юридический институт и отделение журналистики Московского полиграфического института. Работал корреспондентом Московского радио, фельетонистом газеты «Труд», специальным корреспондентом и заведующим отделом «Литературной газеты». В 1973 году эмигрировал в Израиль, с 1973 по 1975 годы был обозревателем израильской газеты «Аль Гамишмар». В1975 году основал журнал «Время и мы», в 1981 году вместе с редакцией переехал в Соединенные Штаты Америки, где и живет в настоящее время. Автор книг «Покинутая Россия», (удостоенной второй премии Иерусалимского университета) и «Театр абсурда».

ФРИДРИХ ГОРЕНШТЕЙН — родился в 1932 году в Киеве. Окончил сценарные курсы. В 1972 году по сценарию Горенштейна Андрей Тарковский снял фильм «Солярис». По сценариям Горенштейна поставлено восемь фильмов, в том числе три телевизионных. Однако ни одного прозаического произведения после 1962 г. в России опубликовано не было. С 70-х годов Горенштейн начинает систематически публиковаться на Западе. В журнале «Время и мы» были напечатаны повесть «Искупление» (№ 42), пьеса «Бердичев» (№ 50) и другие произведения. В настоящее время живет в Западном Берлине. В издательстве «Страна и мир» вышла книга Ф. Горенштейна «Псалом».

БОРИС ХАЗАНОВ (Геннадий Файбусович) — родился в 1928 году, в Ленинграде. После войны, будучи студентом МГУ, был арестован и провел восемь лет в сталинских лагерях. Писательская известность пришла к Борису Хазанову в середине семидесятых годов, когда в журнале «Время и мы» была опубликована его повесть «Час короля», пересланная автором из Москвы. Эта повесть и еще несколько рассказов составили впоследствии книгу «Запах звезд». В 1982 году Борис Хазанов покинул Москву и поселился в Мюнхене, где живет и сегодня, работая в журнале «Страна и мир». В 1985 году вышли еще две книги писателя — однотомник прозы «Я Воскресение и Жизнь» и сборник статей «Идущий по воде», а в 1986 году — книга «Миф-Россия».

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ — родился в 1933 году, эмигрировал из СССР в 1977 году. В США, совместно с женой Еленой Клепиковой, постоянно выступает в ведущих американских газетах. Владимир Соловьев и Елена Клепикова — авторы книг «Андропов» (изд-во Мак-Миллан) и «За высокой кремлевской стеной» (Додд, мид), переведенных на ряд иностранных языков.

АНДРЕЙ СИНЯВСКИЙ — родился в 1925 году в Москве. Окончил Московский университет, работал старшим научным сотрудником Института мировой литературы. Был одним из ведущих критиков журнала «Новый мир». Начиная с 1955 года под псевдонимом Абрам Терц начинает печататься за рубежом, где были опубликованы принесшие ему мировую известность «Фантастические повестим, «Любимов», статья «Что такое социалистический реализм». За эти публикации в 1965 году был арестован и шесть лет провел в Мордовских лагерях строгого режима. В 1973 году выехал во Францию. Уже за рубежом издал книги «Голос из хора», «В тени Гоголя», «Прогулки с Пушкиным», «Спокойной ночи».

ЕФИМ ЭТКИНД — писатель, литературовед, переводчик и критик. Во время войны воевал на Карельском и Третьем Украинском фронтах. До отъезда из СССР — член Союза писателей. После войны преподавал в ленинградских вузах, был профессором Ленинградского педагогического института им. А.И. Герцена. В настоящее время живет в Париже, выступает с лекциями в ряде западных университетов. Под редакцией Е.Г. Эткинда впервые на французском языке вышли поэтические переводы А.С. Пушкина. Под его же редакцией готовятся переводы М.Ю. Лермонтова. Широко известна его книга «Записки незаговорщика», посвященная судьбе творческой интеллигенции в СССР.

ЭРНСТ НЕИЗВЕСТНЫЙ — родился и получил художественное образование в Москве. Участвовал во второй мировой войне. Победитель многих международных конкурсов. Начиная с 1962 года Эрнст Неизвестный подвергался непрестанным идеологическим преследованиям, которые вынудили его эмигрировать. В настоящее время живет в Нью-Йорке. Почетный член ряда иностранных академий.

АРОН КАЦЕНЕЛИНБОЙГЕН — родился в 1927 году на Украине. В1946 году окончил Московский экономический институт. В 1966 году стал доктором наук. Работал в Центральном экономико-математическом институте АН СССР, преподавал на экономическом факультете МГУ. В 1973 году эмигрировал в США, где получил профессуру в Пенсильванском университете. Автор десяти книг и более сотни статей по различным проблемам экономики, политики и теории систем.

АБА ЭВАН — читай вступительную заметку Соломона Цирюльникова.

АЛЕКСАНДРА ТОЛСТАЯ — дочь Льва Николаевича Толстого. В конце жизни писателя была к нему чрезвычайно близка. После революции эмигрировала в США. Основательница толстовского фонда. Автор книг «Отец», «Проблески во тьме» и других.

Summary for the 100th issue of "Vremya i My" ("Time and We")

VICTOR PERELMAN, "Anniversary Confessions." Journalist Eduard Sztein interviews the editor-in-chief of "Vremya i My" magazine on the occasion of the magazine's 100th issue.

FRIDRICH GORENSTEIN, "The Place." An excerpt from a novel about the life of a young worker in a totalitarian society, his alienation from society and his psychological isolation.

BORIS KHAZANOV, "The Cartaphile Chronicle." A surrealist short story on Jewish themes.

TIMUR KIBIROV, "Farewell Through Tears." Poetry. Samizdat.

VLADIMIR SOLOVYOV, "Glasnost: A Feast During the Plague." An analysis of the hopeless contradictions the Soviet empire is undergoing, arguing that Gorbachev's policies are doomed.

Editor's Commentary, "Glasnost as Hope for the Future." The editors disagree with Mr. Solovyov, asserting that Gorbachev's reforms may create favorable conditions for the birth of a new kind of society in the Soviet Union.

ANDREI SINYAVSKY, "The Holy Executioner." An essay on the psychological character of the type of man created by the Soviet system. (A chapter from the book "The Foundations of Soviet Civilization.")

ERNST NEIZVESTNY, "Genius in the Market of the Arts." The famous modern sculptor writes about the directions of development in art in a free society.

YEFIM ETKIND, "Fenced in on Four Sides: Simonov's Last Confession." The author harshly criticizes the so-called dying confession of the well-known Soviet writer Konstantin Simonov.

ARON KATZENELINBOIGEN, "Yanov against Solzhenitsyn." A polemic on Solzhenitsyn's Rusophile, nationalistic views in connection with the publication of Alexander Yanov's book, "The Russian Idea and the Year 2000."

DORA SHTURMAN, "Solzhenitsyn and Some of His Readers." A scathing critique of Alexander Yanov's book and of his views. The author believes that it is completely wrong to regard Solzhenitsyn as a Russian nationalist.

ABBA EBAN, "The Birth of Israel." Reminiscences of the former Israeli Foreign Minister.

ALEXANDRA TOLSTOY, "Lev Nikolayevich and Sofya Andreyevna." A reprint of a little-known 1933 article in the magazine "Sovremenniye Zapiski."

ФОНД
100 НОМЕРА ЖУРНАЛА «ВРЕМЯ И МЫ»

В связи с выходом 100 номера журнала «Время и мы» и в целях его дальнейшего развития принято решение основать ФОНД 100 НОМЕРА ЖУРНАЛА «ВРЕМЯ И МЫ».

Журнал «Время и мы» был создан в Израиле в 1975 году и за истекшие 13 лет стал одним из самых авторитетных и популярных русских изданий на Западе. За эти годы в общей сложности было выпущено и разошлось по миру более 150 тысяч экземпляров журнала, из них десятки тысяч ушли по разным каналам в СССР, находя там все новых благодарных читателей.

Но выпустив 100 номеров, редакция считает необходимым со всей откровенностью заявить, что финансовое положение журнала и после 13 лет его существования остается тяжелым. И по сей день каждый его номер создается ценой невероятных усилий, путем огромных затрат средств и интеллектуальной энергии.

Содействие журналу редакция рассматривает как важное общественное дело. Поэтому все, кто внесет средства в ФОНД 100 НОМЕРА, будут отмечены на его страницах.

По договоренности с Координационным центром американских литературных журналов (Coordinating Council of Literary Magazines — CCLM) чеки необходимо выписывать на имя этой организации, с указанием в нижней части чека: «Для поддержки журнала «Время и мы», и высылать в адрес редакции ("Time and We", 409 Highwood Ave., Leonia, New Jersey 07605, USA).

В соответствии с уставом CCLM, все **внесенные в ФОНД средства подлежат списанию с налогов.**

ЖУРНАЛ «ВРЕМЯ И МЫ» — 1988

УСТАНОВЛЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ:

Стоимость годовой подписки в США — 55 долларов: с целью экономической поддержки редакции — 60 долларов; для библиотек — 79 долларов. Заказы и чеки высылать по адресу:

Цена в розничной продаже — 14 долларов.
Цена 100 номера — 19 долларов

Подписка оплачивается в американских долларах чеками американских банков и иностранных банков, имеющих отделения в США, и высылаются по адресу: "Time and We".

409 HIGHWOOD AVENUE, LEONIA, NJ 07605, USA
TEL: (201)592-6155

ПОДПИСНОЙ ТАЛОН

Фамилия.....

Имя___
Адрес_

Подписной период.....
Прошу оформить подписку на журнал «Время и мы» на.....год. Высылать с номера .....
Журнал высылать обычной (авиа) почтой по адресу

Подпись.....

ПЕРВЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

(Начало на стр. 4)

Дорогой Виктор!

Поздравляю тебя и твоих сотрудников с выходом сотого номеров журнала «Время и мы». Я представляю себе эту сотню усилий, связанных с каждым журналом. Разреши выразить восхищение вашим марафонским забегом.

Эрнст Неизвестный
Нью-Йорк

Дорогой господин Перельман!

Выход сотого номера журнала «Время и мы» — это веха в истории русской эмигрантской печати. Ваш журнал делает большое дело, продолжая на американской земле традиции дореволюционной русской и еврейской журналистики, которая была задушена советским режимом. В то же время он помогает своим читателям глубже понять духовную жизнь Западной Европы и Америки.

Морис Фридберг,
заведующий кафедрой славистики
и русской литературы
Иллинойского университета

Дорогой Виктор Перельман!

Когда вы затеяли «Время и мы», мы думали: «Ну вот, еще один эмигрантский журнал, из которого, разумеется, ничего не выйдет». Потом мы начали делать свой журнал «Синтаксис» и тоже говорили: «Конечно, у нас ничего не получится, но попробуем продержаться хотя бы несколько номеров». Сегодня мы видим, что вы нас победили: за десять лет работы мы сумели выпустить только 21 номер. И, когда мы думаем про вашу круглую сотню, мы Вам отчаянно завидуем и — любуемся. С днем рождения, с бриллиантовой свадьбой!

Мария Розанова,
Андрей Синявский
Париж

В редакцию журнала «Время и мы».

Юбилей журнала «Время и мы» — наш общий праздник независимой русской прессы, которая не испрашивает разрешений ни у какого начальства и не следует указаниям никаких государственных, партийных и полицейских органов. Вместе с читателями журнала, живущими ныне на всех континентах, мы просим Вас принять в этот день наши сердечные приветствия и пожелания.

Редакция журнала «Страна и мир» (Мюнхен)
Борис Хазанов
Кронид Любарский

Уважаемый Виктор Перельман!

Бывают в истории русской периодики времена, когда 100 номеров свободного журнала значат больше, чем сто лет существования рабской прессы. Если вслед за кампанией гласности объявят кампанию честности, то придется признать, что идеи гласности и перестройки целиком заимствованы советской принудительной прессой из прессы свободной. В 100 номерах журнала «Время и мы» хватит трезвых идей, чтобы их резать на части и десятилетиями, постепенно, с оглядкой пускать в широкие массы. А сколько юбиляр напечатает еще! Недавно перед самым моим отъездом из Москвы, после 10 лет отказа ко мне зашел попрощаться коллега из Союза писателей и вытащил из кармана свежий номер «Время и мы»: «Привез?» — спросил я. «В киоске «Союзпечати» купил. Очередь большая. Больше двух экземпляров в одни руки не дают». И мы засмеялись. Ведь и в самом деле смешно и жаль начальства. Такая огромная страна и боится такого небольшого журнала, который сегодня свободно читают на всех континентах, кроме одного.

Юрий Дружников,
писатель, профессор Техасского университета

Виктор Борисович!

По случаю выхода в свет 100 номера журнала «Время и мы» примите самые искренние поздравления. Нам, впитавшим в себя с ранних лет русский язык, особенно радостно видеть и читать журнал, который соответствует нашему душевному настрою и потребности в слове живом и, если хотите, драгоценном. Мы — читатели, всегда с нетерпением ожидаем очередного номера журнала, журнала, который обогащает нашу жизнь, журнала, о котором можно было лишь мечтать там, в далекой и дремучей жизни.

Альберт Леин
Западный Берлин

Поздравляю редакцию с выходом сотого номера журнала. На пути к его изданию было много трудностей. Немалые сложности возникали и потому, что журнал стремился говорить правду. Правду не любят ни бюрократы советские, ни бюрократы израильские. Радостно было видеть, что журнал «Время и мы» не останавливался на полпути в этом святом деле — постижения правды. Желаю редакции смелости и сочувствия к тревогам и бедам своих читателей.

Григорий Свирский
Торонто

Уважаемый Виктор Борисович!

Бесстрашные образцы гласности, появляющиеся на страницах советской прессы, следуют лучшему, что дала журналистика русского зарубежья за 70 лет, в том числе и публикации журнала «Время и мы», опровергая пресловутые утверждения о существовании так называемых «двух литератур». Желаю Вам и в будущем помещать в журнале интересные, ценимые всеми материалы, на радость тем, кто желает видеть е д и н о е русло русской печати, которое, будем надеяться, не разорвется больше никогда.

Алла Кторова
Вашингтон

КАТАЛОГ ЖУРНАЛА «ВРЕМЯ И МЫ»

ВЫПУСКИ 1 - 100. Проза. Мемуары. Публицистика.

ПРОЗА

АКСЕНОВ, ВАСИЛИЙ
В прошлом известный советский писатель, эмигрировал в США. Один из наиболее талантливых писателей "третьей волны".
"Гибель Помпеи" — № 56, 1980. Фантасмагорический рассказ о захвате Советским Союзом Древнего Рима.
"Арест матери", "Полуостров Крым"— № 57.

АЛЕШКОВСКИЙ, ЮЗ
Известный писатель "третьей волны". Эмигрировал из СССР в 1981 г. В настоящее время живет в США.
"Карусель". Роман. — № 72, 73, 1983. В основе сюжета —судьба еврейского рабочего в СССР, задумавшего уехать в Израиль.

АНТОНОВИЧ, АЛЕКСАНДР
Эмигрировал из СССР в 1980 г. Живет в США.
"Тихие соседи". — № 62, 1981.

АРЬЕВ А.
Автор живет в Ленинграде. Рукопись получена по каналам самиздата.
"Долгота дня". Повесть. — № 23, 1977. Лирическая проза.

БЕЛОУ, СОЛ
Выдающийся американский писатель, лауреат Нобелевской премии.
"Рукописи Гонзаги". Рассказ. (Перевод Георгия Бена) — № 15, 1977

БЕРМАН, ФИЛИПП
Эмигрировал из СССР в 1981 г.
"Регистратор" — №61, 1981. Повесть написана от лица главного героя;

ВАРЛАМОВА, ИННА
Известная московская писательница. Рукопись получена по каналам самиздата.
"Мнимая жизнь" — № 31—33, 1978. Автор вслед за А.И.Солженицыным обращается к теме "ракового корпуса".

ВАХТИН Б.
Один из наиболее талантливых ленинградских прозаиков. Рукопись получена по каналам самиздата.
"Ванька-Каин" - № 14, 1977

ВОЙНОВИЧ, ВЛАДИМИР
В прошлом известный советский писатель, эмигрировал в 1980 г. Один из наиболее талантливых писателей "третьей волны". Живет в Германии.
"Фиктивный брак". Водевиль — № 72, 1983.

ВОРОНЕЛЬ, НИНА

В прошлом советская писательница и сценаристка. В настоящее время живет в Израиле.

"Утомленное солнце" — № 7, 1976. Одноактная пьеса из жизни университетской интеллигенции в СССР.

ГАЛИЧ, АЛЕКСАНДР

Выдающийся писатель и поэт, известный также как автор и исполнитель неподцензурных песен и баллад, сатирически изображающих советскую действительность. Последние годы жизни жил в Париже.

"Блошиный рынок" — № 24, 25, 1978. Последнее произведение Галича, которое сам он называл "плутовским романом об Одессе и массовой еврейской эмиграции".

ГАР-ЭВЕН, ШУЛАМИТ

Известная израильская писательница.

"Одиночество", "Любовь по телефону".

ГИРШОВИЧ, ЛЕОНИД

Автор — по профессии музыкант. Эмигрировал из СССР в Израиль. В настоящее время живет в Западной Германии.

"Царственный миг" — № 20, 1977. Повесть из жизни советской интеллигенции.

"Смерть выдает себя" — № 21, 1977. Повесть-пародия на современные детективы.

"Мальчики и девочки" — № 25, 1978. Комедийное повествование о советских эмигрантах в Израиле.

"Ишаягу" — № 34, 1978. Повесть о советской интеллигенции.

ГРОССМАН, ВАСИЛИЙ

Крупнейший советский писатель.

"Судьба комиссара Крымова" — № 45, 1979. Отрывок из романа "Жизнь и судьба".

ГОРЕНШТЕЙН, ФРИДРИХ

Один из самых талантливых писателей "третьей волны". Эмигрировал из СССР в 1981 г. В настоящее время живет в Западном Берлине.

"Искупление" . Повесть (журнальный вариант). — № 42, 1978. В центре внимания автора — Россия в годы войны и драматическая судьба шестнадцатилетней девочки.

"Бердичев". Драма в 3-х действиях, 8-ми картинах, 92-х скандалах. — № 50, 51, 1980. С еврейским юмором и большой выразительностью в пьесе рассказывается о влиянии советской власти на жизнь еврейских обитателей Бердичева.

"Волемир". Пьеса. — № 67, 1982. Пьеса из советской жизни, написанная в остросаркастической манере, присущей автору,

"Три встречи с Лермонтовым"; "Контрэволюционер"; "Археологические страсти" — № 68, 1982. Юмористические рассказы.

ДАР, ДАВИД

В прошлом ленинградский писатель. Последние годы жизни провел в Израиле.

"Последняя любовь","Часовня в огне" —№ 27, 1978. Короткие лирические повести.

ДЖОЙС, ДЖЕЙМС

"Циклоп" — № 80, 1984. Глава из романа "Улисс" (Перевод с англ. Исраэля Шамира).

ДОВЛАТОВ, СЕРГЕЙ

Известный писатель "третьей волны". Живет в Нью-Йорке.

"Невидимая книга" — № 24, 1977; № 25, 1978. Документальная повесть о жизни и мытарствах молодого ленинградского литератора.

"Купцов и другие" — № 28, 1978

"Ищу человека" — № 36, 1978.

Два рассказа о жизни советского концлагеря, увиденной глазами молодого надзирателя.

"В гору" — №38, 1979.

"Черным по белому" — № 40, 1979.

Юмористические рассказы о жизни советских журналистов.

ДРУЖНИКОВ, ЮРИЙ

Известный писатель "третьей волны".

"Смерть Федора Иоанновича" — № 45, 1979

"Тридцатое февраля" — № 55, 1980

"Последний урок" — №67, 1982

Остроконфликтные рассказы о мрачных, унылых буднях московской интеллигенции.

ЕФИМОВ, ИГОРЬ

В прошлом член Союза писателей. Романист, философ, публицист. Живет в США.

"Архивы страшного суда" — № 64-66, 1982. Роман, соединяющий в себе черты психологической драмы, шпионского детектива и научной фантастики.

ЗЕРНОВА, РУФЬ

В прошлом член Союза писателей. Живет в Израиле.

"Элизабет Арден" — № 58, 1981. Повесть о жизни ленинградской интеллигенции в годы космополитизма и послевоенных сталинских арестов.

ЗИНГЕР, БАШЕВИС ИСААК

Известный американский писатель. Лауреат Нобелевской премии.

"Цитата из Клопштока", "Портфель", "Пленник" — №81, 1984. (Перевод **Е.Гессен и В.Борисоглебского**).

ЗИНИК, ЗИНОВИЙ

Известный писатель "третьей волны". Эмигрировал из СССР в 1975 г. В настоящее время **живет в Лондоне.**

"Извещение". Повесть. — №8, 1976.
"Перемещенное лицо". Роман. — № 22, 23, 1977.
"Ниша в Пантеоне". Фрагменты из романа. — № 63, 1981
"Уклонение от повинности". Повесть. —№69, 1982
"Руссофобка и фунгофил". Роман. - № 82-84, 1985.

Главная тема в творчестве З.Зиника — судьба советского эмигранта на Западе.

ИОШУА А.

Выдающийся израильский писатель.

"В начале лета - 1970" - № 10, 1976
"Затяжной хамсин, жена и дочь" — № 16, 17, 1977.

Две повести. (Перевод **Михаила Ледера).**

КАПЛАН, РОМАН

В прошлом переводчик. Эмигрировал из СССР. Живет в Нью-Йорке.

"Наша армянская кровь" — № 16, 1977. Юмористическая повесть из жизни московской богемы.

КАРАБЧИЕВСКИЙ, ЮРИЙ

Писатель, журналист. Живет в Москве. Рукописи получены по каналам самиздата.

"Жизнь Александра Зильбера" — № 55, 56, 1980.
"Вчера, сегодня, завтра" — №57, 1980.

Тема обоих романов — жизнь и становление характера еврейского юноши в послевоенной Москве. Карабчиевский — мастер тонкой психологической прозы.

КЕСТЛЕР, АРТУР

Выдающийся писатель и публицист XX в.

"Тьма в полдень". Роман. — № 1, 2, 1975. (Перевод **Георгия Бена).**

КИПЛИНГ, РЕДЬЯРД

"Евреи в Шушане" - № 3, 1976. (Перевод **Георгия Бена**). Малоизвестный рассказ Киплинга.

КОГАН, МАРК

Эмигрировал из СССР в 1981 г.

"Мама, папа и я. Не удивительная, но правдивая история возмужания Якова Ройтмана, написанная им самим". — № 70, 1983. Юмористическая повесть о жизни еврейской семьи в советской Средней Азии

КУНДЕРА, МИЛАН

Выдающийся чешский писатель-эмигрант. Живет в Париже.

"Пропавшие письма"— № 60, 1981.
"Смерть Тамины" - № 68, 1982.

Два отрывка из "Книги смеха и забытья".

ЛЬВОВ, АРКАДИЙ

Известный писатель "третьей волны". В прошлом член Союза писателей. В настоящее время живет в Нью-Йорке.

"Собеседование" — № 32, 1978
"Золотая кровать" — № 33, 1978
"Досрочный экзамен" — № 38, 1979
"Тепло человеческого тела" — № 39, 1979

Остросюжетные рассказы о советской действительности.

"Площадь Колумба" - № 41, 1979
"Отель Амбассадор" — № 44, 1979
"Бизнесмен" - № 47, 1979
"Ночь в феврале" - № 50, 1980
"Инструктаж в Риме" - № 54, 1980
"Новый американец" — № 58, 1981

Рассказы о жизни новых эмигрантов в Америке.

"Двор". Роман (сокращенный журнальный вариант) — № 62, 1981. В романе дается картина жизни одного одесского двора в сталинскую эпоху.

"Прекрасный конек-горбунок" — № 74, 1983.

МАРГОЛИН, ЮЛИЙ

Известный израильский писатель. Большую часть жизни провел в Польше и России. Эмигрировал в Израиль, где написал лучшие вещи.

"Путешествие в страну Зэка" — № 8, 1976. Повесть о советском концлагере.

МАРАМЗИН, ВЛАДИМИР

Известный писатель "третьей волны". Живет в Париже.

"Человек, который верил в свое особое назначение". Повесть. — № 15, 1976. Главный герой — сексуальный маньяк, живущий в условиях советской действительности.

МАТЛИН, ВЛАДИМИР

Журналист, публицист. Эмигрировал в 1975 г. Живет в Вашингтоне.

"Время Нормана Грина" — № 79, 1984
"Робник" — №83, 1985

Два рассказа на тему "Америка при коммунизме".

МЕЛАМИД, ЛЕВ

Автор принадлежит к "третьей волне". Живет в Иерусалиме.

"Сладкая жизнь Никиты Хряща" — № 11, 1976. Повесть о ленинградской богеме.

"Ехать — не ехать" - № 19, 1977. Повесть об еврейских интеллигентах в пору массовой эмиграции в Израиль.

"Ностальгическая баллада" — № 30, 1978. Сюрреалистическая проза об израильской жизни.

МЕРАС, ИЦХАК

В прошлом известный советский писатель. Жил в Литве. Эмигрировал в 1973 г. в Израиль, где пользуется большой популярностью.

"Полчаса в незнакомом доме". Рассказ — № 12, 1976

МОРГУЛИС, МИХАИЛ

Писатель и журналист. После эмиграции живет в США.

"Откуда дует ветер?", "Конец Фрола Ботичелпи", "Собиратель гнева" — № 28, 1978

"Уйти в дождь" — № 30, 1978. Короткие рассказы.

"Последний день" — № 85, 1985. Рассказ о русской школе в США.

НАВРОЗОВ, ЛЕВ

Известный эмигрантский писатель, политолог и журналист. Широко публикуется в американской печати. Живет в США.

"Воспитание Левы Наврозова" — № 31, 1978; № 52, 1980. Отрывки из одноименной автобиографической книги.

НАЗАРОВ, АНДРЕЙ

Эмигрировал в 1981 г. в Данию. Живет в Копенгагене. Назаров — один из наиболее талантливых писателей, открытых журналом "Время и мы".

"Белый колли" — № 75, 1983. Рассказ об обыкновенном советском служащем, "маленьком человеке" современной России.

"Песочный дом". Роман (сокращенный журнальный вариант) — № 77, 78, 1984.

НЕКРАСОВ, ВИКТОР

Выдающийся русский писатель, изгнанный из СССР. В настоящее время живет в Париже.

"Персональное дело коммуниста Юфы". Повесть. — №5, 1976, Одно из первых в эмигрантской литературе произведений, посвященных еврейской эмиграции в Израиль.

"Из дальних странствий возвратясь" — № 49, 1979

Путевые заметки о Японии

НОРИЛЬСКИЙ Б.

"Черное и белое" — № 20, 21, 1977. Неоконченный роман-эпопея о трагических событиях гражданской войны.

ПЕРЕЛЬМАН, ВИКТОР

Писатель и журналист. Издатель и главный редактор журнала "Время и мы". Живет в США.

"Двое и одна" — № 36, 1978. Повесть о жизни советских рыбаков в Северной Атлантике. Каждый из трех героев ведет рассказ от первого лица об одних и тех же событиях.

"Театр абсурда. Комедийно-философское повествование о моих двух эмиграциях" — № 74, 75, 1983; № 76, 1984.

РОМАН 25-ТИ ПИСАТЕЛЕЙ

Беспрецедентный опыт в мировой литературе сотрудничества 25-ти писателей при создании одного произведения. Среди авторов: Алексей Толстой, Вениамин Каверин, Михаил Зощенко, Александр Грин, Леонид Леонов, Исаак Бабель, Михаил Кольцов и др.

"Большие пожары" — № 79, 80, 1984

РОЗИНЕР, ФЕЛИКС

Известный писатель "третьей волны". Лауреат премии В.Даля (Париж). Живет в США.

"Закат, рассвет, закат"; "Инфанта и паж", "В десять, в двенадцать, в четырнадцать", "Татт и клеф". Рассказы — № 46, 1979

"Некто Финкельмайер". Отрывок из одноименного романа. — № 59, 1981. Роман удостоен премии В.Даля.

"Попутчики" - № 84, 1985, "Лиловый дым" — № 85, 1985

РЫБАКОВ, ВЛАДИМИР

Родился во Франции, затем жил в СССР. В 1972 г. вернулся во Францию. Журналист, писатель.

"Мост Александра Третьего". Отрывок из романа — № 26, 1978. Судьба русского перебежчика в Париже.

"Желтое и красное". Роман. — № 52, 53. В основу сюжета положены события, происходившие на советско-китайской границе.

"Месть неизвестному", "Поиск" — № 69, 1982. Два рассказа.

СОКОЛОВ САША

Известный писатель "третьей волны". Родился в Канаде, затем жил в СССР. В 1975 г. вернулся в Канаду.

"Палисандрия" — № 77, 1984. Отрывок из одноименного романа. Написан в форме дневника главного героя, выходца из кремлевских верхов, племянника Лаврентия Берия. Современная проза, использован прием "поток сознания".

СУСЛОВ, ИЛЬЯ

В прошлом сотрудник "Литературной газеты"; возглавлял "Клуб 12-ти стульев". Известный писатель "Третьей волны".

"Прошлогодний снег" — № 3, 1975; № 4, 1976

"Выход к морю" — № 57, 1980

"За пивом", "По дороге на ярмарку" — № 63, 1981

"Потери" — № 68, 1982

Цикл юмористических рассказов о советской жизни.

СУКОНИК, АЛЕКСАНДР

Писатель, эссеист. После эмиграции живет в Нью-Йорке.

"Умные и глупые" — № 29, 1978

"Диалог на пестничной площадке" — № 37, 1979

"Письма Левы Гормана" — № 39, 1979

ТИМОФЕЕВ, ЛЕВ

По образованию экономист. Писатель, драматург, публицист. Жил в Москве. Рукописи получены по каналам самиздата. За произведения, опубликованные в журнале "Время и мы" (см. в разделе "Публицистика" его исследование "Последняя надежда выжить") в начале 1985 г. был арестован и обвинен в клевете на советский строй.

"Москва. Моление о чаше". Пьеса-диалог в трех действиях. — № 79, 1984. Драма диссидентской семьи в Москве.

ТУЧКОВ, АЛЕКСАНДР

По профессии художник. Эмигрировал в США в 1973 г.

"Открытие Америки" — № 37, 1979

"Новый "Декамерон" — № 39, 1979

"Верное средство" — № 46, 1979

"Сотворение мира" — № 48, 1979

"Леопольд" — № 53, 1980

"Шинель" — № 55, 1980

"Операция "Соломон" — №59, 1981

"Торжественное заседание продолжается" — № 61, 1981

Современная проза. Автор-яркий и талантливый стилист.

УМ ЭЛЬ-БАНИН

Журналистка. Эмигрировала из России до войны. В настоящее время живет в Париже.

"Последний поединок Ивана Бунина" — №40-41. (Перевод **Екатерины Зворыкиной**). С блеском написанная повесть о последних годах жизни Бунина. Ум-Эль-Банин была одним из его ближайших друзей.

ХАКСЛИ, ОЛДОС

"Роман-антиутопия" — № 17—19, 1977. (Перевод **Георгия Бена**).

ХАЗАНОВ, БОРИС

По образованию врач. Эмигрировал в 1982 г. В настоящее время живет в Мюнхене. Один из самых блестящих русских прозаиков конца 70-х — начала 80-х годов. В журнальном предисловии к повести "Час короля" редакция определила появление Бориса Хазанова как "чудо русской литературы".

"Глухой неведомой тайгой" — № 5, 1976

"Час короля". Повесть. — № 6, 1976. В основу повести положен реальный эпизод второй мировой войны, хотя действие ее перенесено в фантастическое государство. Автор ставит в повести глубокие нравственные вопросы.

"Страх", "Частная и общественная жизнь начальника станции" — № 9, 1976. Рассказы.

"Я Воскресение и Жизнь". Повесть. — № 60, 1981. В повести рассказывается о становлении характера московского мальчика. Действие происходит в 1937 г.

"Антивремя. Московский роман" — № 76, 1984. Отрывок из романа о послевоенном периоде в СССР.

ХЛАСКО, МАРЕК

Известный польский писатель.

"Обращенный в Яффо" — №11, 12, 1976. (Перевод **Р.Нудельмана**).

ЦВЕТКОВ. ЕВГЕНИЙ

По образованию физик. Журналистикой начал заниматься еще в СССР. Эмигрировал в 1976 г.

"Киностудия", "Удача". Фантастические рассказы.

"Наверное вы никогда не любили". — № 54, 1980. Юмористическая повесть.

ЧИРСКОВ, ФЕДОР

Один из талантливых ленинградских писателей. Рукопись получена по каналам самиздата.

"Андромер" — № 27, 1978. Лирическая повесть.

ШЛЯПЕНТОХ, ДМИТРИЙ

По образованию историк. Эмигрировал в 1979 г.

"Товарищи, мы в Кремле!" (Записки кремлевода). — № 71, 1983. Сатирическая повесть, написанная от лица московского экскурсовода.

ШТЕРН, ЛЮДМИЛА

Переводчица, критик, журналистка. С 1977 г. живет в Нью-Йорке.

"Двенадцать коллегий" — № 34, 35, 1978. Сатирическая повесть о жизни советского научно-исследовательского института.

ШУЛЬМАН, СОЛОМОН

"Врун", "Шлюха" — № 10, 1976

"Тупиковая ситуация", "Башня смерти". — №27, 1978

Рассказы, раскрывающие психологические коллизии в жизни советских людей.

ЯМПОЛЬСКИЙ, БОРИС

Советский писатель. Рукопись получена по каналам самиздата.

"Большая эпоха" — № 13, 1977. Повесть посвящена жизни коммунальной квартиры в одном из домов на Арбате в Москве.

МЕМУАРЫ

АВЗЕГЕР Л.

Живет в Израиле.

"Я вскрывал ваши письма" — № 55, 56, 1980. Воспоминания бывшего тайного цензора МГБ.

АЙЗЕНШТАДТ, ЯКОВ

В прошлом член Московской коллегии адвокатов.

"Три новеллы московского адвоката" — № 79, 1984.

БААЗОВА, ФАИНА

Известная еврейская активистка. Умерла в 1980 году в Израиле.

"Прокаженные" — № 4, 5, 6 1976. Повесть дочери одного из лидеров грузинского еврейства о сталинских расправах в Грузии.

"Дело Рокотова" — № 25, 26, 1978. Рассказ о широко известном процессе советских валютчиков.

"Танки против детей" — № 30, 1978. Воспоминания о расстреле антиправительственной демонстрации в Тбилиси.

БАЙКАЛЬСКИЙ Д.

"Кашкетинские расстрелы" — №11, 1976

БАРРОН, ДЖОН
Известный американский журналист, редактор "Reader Digest''.
"КГБ сегодня" (перевод **Иосифа Косинского**). — № 75, 1983; №76, 1984. Главы из одноименной книги.

БЕЛИНКОВА, НАТАЛЬЯ
Автор — жена Аркадия Белинкова, выдающегося критика диссидента, бежавшего на Запад. Н.Белинкова живет в США.
"Аркадий Белинков — 1970" — № 54, 1980.

БЕРГ, РАИСА
Автор в прошлом известный советский генетик, ныне живет в США.
"Повесть о генетике" — № 49, 1980.
"Палачи и рыцари советской науки" — № 64, 65, 1982

БЕРГГОЛЬЦ, ОЛЬГА
Известная советская писательница. Рукопись получена по каналам самиздата. Ранее никогда не публиковалась.
"Безумство преданности". Дневники. — № 57, 1980

БОЛЕН, ЧАРЛЬЗ
Американский дипломат.
"Пакт Сталин—Гитлер: 1939 год. — № 78, 1984. (Перевод **Раисы Монас**) Отрывок из книги "Свидетель истории".

БРОД, МАКС
Известный немецкий писатель.
"Жизнь и смерть Франца Кафки" — № 51, 1980

БРУК ШЕФЕРД, ГОРДОН
Известный английский писатель и журналист. Живет в Лондоне.
"Судьба советских перебежчиков" — № 72, 73, 1983. (Перевод **Иосифа Косинского**). Главы из книги "Буревестники" , рассказывающей о побеге на Запад известных советских разведчиков, дипломатов и партийных работников.

ВИЛКОВСКИЙ К.
Советский писатель. Рукопись получена по каналам самиздата. Автор живет в Москве.
"Похороны Пастернака" — №9, 1976
"Прощание с Олешей" — № 19, 1977

ГЛЕЗЕР АЛЕКСАНДР
Коллекционер и организатор музея неофициального советского искусства.
"И грянул бой" — № 22, 1977

ГУСАРОВ, ВЛАДИМИР
"Мой папа убил Михоэлса" — № 12, 1976. Отрывок из одноименной книги.

ИВАНОВ-РАЗУМНИК
Современник и друг Блока, Белого, Сологуба. Историк литературы, писатель.
"Судьбы писателей" — № 85, , 1985. Воспоминания о репрессированных в советское время писателях.

ИОФФЕ МАРИЯ
В прошлом ближайшая сотрудница Троцкого, жена первого советского посла в Германии. В настоящее время живет в Израиле.
"Начало" — № 19, 20, 1977

КАГАН, ВИКТОР
В прошлом — узник сталинских лагерей. В настоящее время живет в Израиле.
"Повесть о безвременье" — № 56, 1980. Документальный рассказ о жизни и творчестве Грачевского — талантливого поэта, состоявшего на службе КГБ.

ЛАРСКИЙ, ЛЕВ
По профессии художник. В настоящее время живет в Израиле.
"Мемуары ротного придурка" — № 29-33, 1978; № 59, 1981. Юмористическое повествование рядового солдата, участника второй мировой войны.

ЛИПКИН, СЕМЕН
Известный поат и переводчик. Живет в Москве. Рукопись получена по каналам самиздата.
"Арест романа" — № 83, 1985. Глава из книги "Сталинград" Василия Гроссмана . Воспоминания о Гроссмане и Платонове.

МАРГОЛИН, ЮЛИЙ
Выдающийся израильский писатель,
"Сентябрь 1939" — N° 13—15, 1976 Документальная повесть.

МЕРАИ ТИБОР
Один из руководителей венгерского восстания 1956 г.
"Тринадцать дней, которые потрясли Кремль" — № 70, 1983

МИКУНИС, САМУИЛ
Бывший Генеральный секретарь компартии Израиля, порвавший с Москвой.
"Прозрение" — № 48, 49, 1980. Воспоминания посвящены жизни советской правительственной верхушки.

МИХОЭЛС-ВОВСИ, НАТАЛЬЯ
Дочь знаменитого еврейского актера Михоэлса.
"Убийство Михоэлса" — № 3, 1976. Воспоминания.

МЛИНАРЖ, ЗДЕНЕК

Один из лидеров "Пражской весны"

Холодом веет от Кремля" — № 69, 1982. Воспоминания о пребывании Дубчека в Москве после оккупации советскими войсками Чехословакии.

НЕКИПЕЛОВ, ВИКТОР

Виднейший участник правозащитного движения.

Институт дураков" — № 23, 24, 1977. Из дневника автора, который был помещен КГБ в Институт судебной психиатрии им.Сербского.

НЕКРАСОВ, ВИКТОР

Выдающийся русский писатель, изгнанный из СССР. В настоящее время живет в Париже.

"Из дальних странствий возвратясь" — № 61, 1981. Путевые заметки об Австралии.

ОДОЕВЦЕВА, ИРИНА

Писательница, журналистка. Эмигрировала после революции.

"Иван Бунин" — №74, 1983. Воспоминания.

ОРЛОВ, АЛЕКСАНДР

Генерал НКВД, бежавший на Запад.

"Тайная история сталинских преступлений" — № 67, 68, 1982. Главы из книги. Тема — процессы 37-го года.

ПЕРЕЛЬМАН, ВИКТОР

"Гайд-парк при социализме" — № 1, 2, 1975

"Я немец" — № 7, 1976

"Отрицание отрицания" — № 8, 1976

Главы из книги "Покинутая Россия", удостоенной Второй премии Иерусалимского университета.

ПОЛОНСКИЙ, ЯКОВ

"Иван Бунин во Франции" — № 55, 56, 1980. Мемуары о личной жизни выдающегося русского писателя.

РЕЙМАН, МИХАИЛ

По образованию историк. Жил в Чехословакии. Активный участник "Пражской весны".

"Сталин перед захватом власти" — № 83, 1985. Анализ новых данных о приходе Сталина к власти и его борьбе со своими политическими противниками.

СТЕФАНЕК, МИХАЭЛЬ

В прошлом помощник бывшего президента Чехословакии, генерала Свободы. В настоящее время живет в Израиле.

"Прага, 21 августа" — № 16—18, 1977. О советской оккупации Чехословакии.

СУСЛОВ, ИЛЬЯ

В прошлом сотрудник "Литературной газеты", руководитель "Клуба 12-ти стульев".

"Мои автографы" — № 59, 1981. Воспоминания о советских писателях.

УЛАНОВСКАЯ, МАЙЯ

Бывшая узница советских концлагерей. Ныне живет в Израиле.

"Конец срока — 1976 год" — № 9, 10, 1976. Документальная повесть о пребывании в лагере одной из участниц студенческого "Союза борьбы за дело революции", осужденной на 25 лет.

УЛАНОВСКАЯ, НАДЕЖДА

Бывшая советская разведчица. Ныне живет в Израиле.

"В России и за границей" — № 21, 1976. Воспоминания о работе в разведке.

"Жизнь и смерть Михаила Якубовича" — № 71, 1983. Автор рассказывает о последних днях жизни известного деятеля меньшевистского движения.

ХОДАСЕВИЧ, ВЛАДИСЛАВ

Крупнейший русский поэт, публицист, критик. Эмигрировал после революции.

"Парижский альбом" — № 74, 1983. Воспоминания о современниках.

ЦИРЮЛЬНИКОВ, СОЛОМОН

Эмигрировал в Палестину в 1928 г. Журналист, публицист. Был секретарем "Общества Советско-израильской дружбы".

"Исповедь на пепелище" — № 42, 1979.

ЧУКОВСКАЯ, ЛИДИЯ

Известная советская писательница, диссидентка, живет в Москве. Рукопись получена по каналам самиздата.

"Предсмертие" — № 66, 1982. Документальная повесть о последних днях и самоубийстве Марины Цветаевой.

ШАЛЯПИН, ФЕДОР

Великий русский певец. Эмигрировал после революции.

"Разбитая Россия" — №81, 1984; №82, 1985. Невошедшие в советское издание разделы из книги "Маска и душа".

ШАТУНОВСКАЯ, ЛИДИЯ

Бывшая узница советских концлагерей, близко связанная в прошлом с жизнью Кремля. Ныне живет в Израиле.

"Загадка одного ареста" — № 5, 1976. Автор приводит косвенные доказательства, подтверждающие гипотезу убийства Ленина Сталиным.

ШЕВЧЕНКО, АРКАДИЙ

Бывший советский дипломат, бежавший на Запад.

"Конец игры" - № 82, 1985. Глава из книги "Разрыв с Москвой".

ШЛЯПЕНТОХ, ВЛАДИМИР
В прошлом видный советский социолог. Эмигрировал в США в 1979 г. Ныне профессор Мичиганского университета.
"Письма в Россию" — № 62. 63, 1981; № 70, 1979; № 73, 1983; № 79, 1984; №85, 1985. В "письмах" сопоставляется жизнь на Западе и в России.

ШТУРМАН, ДОРА
Член редколлегии "Время и мы". Принадлежит к числу наиболее талантливых публицистов и политологов третьей эмиграции. В прошлом узница советских концлагерей. Ныне живет в Израиле.
"Моя школа" — № 34, 1978
"Тетрадь на столе" — № 53-55, 1980;
Воспоминания.

ШУМАН, ТОМАС
Бывший советский переводчик представительства СССР в Индии. Ныне живет в США.
"Записки неоколонизатора" — № 60, 1981. Воспоминания посвящены жизни и быту советских людей за рубежом.

ЯНОВСКИЙ, ВАСИЛИЙ
Писатель. Эмигрировал после революции. Живет в Нью-Йорке.
"Поля Елисейские" — № 37-39, 1978. О жизни первой эмиграции.

ПУБЛИЦИСТИКА

АБРАМОВ, АЛЕКСАНДР
Журналист, публицист. Эмигрировал из СССР в 1979 г. Погиб в автомобильной катастрофе.
"Мощь и инфантильность гения" — № 68, 1982. (О противоречиях в характере и творчестве Д.Д.Шостаковича.)

АКСЕНОВ-МЕЕРСОН, МИХАИЛ
"Еврейский исход в российской перспективе" — № 41, 1979. (О влиянии массовой еврейской эмиграции на жизнь и мировоззрение советских людей.)

БАУМ, ШЛОМО
Один из военачальников Израильской армии.
"О военной доктрине Израиля" — № 75, 1983. (В статье разбираются ошибки Ливанской войны.)

БЕЛИНКОВ, АРКАДИЙ
Выдающийся советский литературовед и критик, бежавший на Запад.
"Проглоченная флейта" — №6, 1976
"Собирайте металлолом" — № 7, 1976
Отрывки из книги о писателе Ю.Олеше "Сдача и гибель советского интеллигента".

БЛИНКОВА, МИРА
В прошлом советский критик, журналист. Ныне живет в Израиле.
"Кто будет заведовать кафедрой" — № 52, 1980. Эссе о повести И.Грековой "Кафедра".
"Отцы и деды" — № 78, 1979.
"О мертвых и живых" — № 76, 1984. (О книге Доры Штурман "Мертвые хватают живых").

БОЛДЫРЕВ, ПЕТР
Эмигрировал из СССР в 1976. Член Американской философской ассоциации. Живет в США.
"Совесть алгебры", или интеллектуальная совесть" — № 82, 1985. (Дискуссионная статья в защиту этической системы Владимира Лефевра, изложенной в книге "Алгебра совести". Сравнительный анализ западной и советской этических систем.)

БУБЕР, МАРТИН
Выдающийся еврейский философ.
"Национальные боги и Бог Израиля" — № 4, 1976.
"Путь человека" — № 6, 7, 1976
Два эссе о еврейской нравственности.

ВАЙЛЬ, ПЕТР и ГЕНИС, АЛЕКСАНДР
Известные журналисты "третьей волны". Живут в Нью-Йорке.
"На аврале"— №31, 1978.
"Шампанское и политура" — № 36 , 1978. Статья о В.Высоцком.
"Вселенная без мозжечка" — № 39, 1979. Эссе о творчестве А.Зиновьева.
"Мы — с Брайтон-Бич" — № 40, 1979. Репортаж о жизни эмигрантов из СССР, поселившихся в Бруклине (Нью-Йорк).
"Сталин на чегемском карнавале" — № 42, 1979. Эссе о книге Ф.Искандера "Сандро из Чегема".
"Разгром" — № 61, 1981. О романе В.Аксенова "Ожог".

ВОРОНИНА, ЛИДИЯ
После эмиграции живет в США.
"Две истины советского человека" — № 54, 1980. (Статья посвящена проблемам нравственности и идеологии в условиях СССР.)

ГЕЛЛЕР, ЛЕОНИД
"Мироздание Ивана Ефремова" — № 24, 1977.
"Собачьи времена" — № 51, 1980. Мысли о послевоенной немецкой литературе.

ГЛАЗОВ, ЮРИЙ
По профессии востоковед. Диссидент. Эмигрировал в 1972 г. Преподает в университете Дальхаузи, Галифакс, Новая Шотландия (Канада).
"Взлет и падение диссидентов" — № 80, 1984. (О книге Виктора Красина "Суд".)

ГЛЕЗЕР, ИЛЬЯ

По образованию биолог. После эмиграции живет в Нью-Йорке. Преподает в университете.

"Американский студент" — № 76, 1984. Заметки преподавателя .

ГОЛОВСКОЙ, ВАЛЕРИЙ

Журналист, публицист. После эмиграции живет в США.

"Легенды о "красном Кеннеди", — № 82, 1985. (Обзор американской печати о Горбачеве.)

ГОРЕНШТЕЙН, ФРИДРИХ

О нем см.раздел "Прозы".

"Шестой конец красной звезды" — № 65, 1982. (О происхождении "Протоколов сионских мудрецов".

ДЖОНСОН, БАРТОН

американский славист

"Между собакой и волком" — № 64, 1982. (Эссе об одноименной книге Саши Соколова.)

ДМИТРИЕВ, ВИКТОР

Киновед. После «миграции живет в США.

"Сталкер" смотрится в зеркало" — № 73, 1983. Заметки о творчестве А.Тарковского.

ДОМАЛЬСКИЙ И.

"Технология ненависти" — № 25, 26, 1978. Эссе посвящено теме антисемитизма в СССР.

ЖУКОБОРСКИЙ САВВА

В СССР занимался проблемами социологии. Эмигрировал в 1977 г.

"Нужна ли нам вообще демократия" — № 64, 1982. (Парадоксальные заметки.)

ЗАМАЩИКОВ, СЕРГЕЙ

После эмиграции живет в Лос-Анджелесе.

"Запоздалое открытие Китая" — № 73, 1983. (Анализ социально-экономических изменений, происходящих в Китае.)

ИОШУА, А.

Известный израильский писатель.

"Боль писателя" —№28,1978. (Перевод **Д.Мазина**). Статья посвящена современной израильской литературе.

"О правде и нужде" — № 53, 1980. (Политическое эссе, разбирающее историческое право Израиля на оккупацию Западного берега Иордана и сектора Газа.)

КАГАНСКАЯ, МАЙЯ

Известный критик и ассеист "третьей волны". Лауреат премии Р.Эттингер. Живет в Израиле.

"Любовь побеждает смерть" — № 15, 1976

"Наследники Толстоевского" — № 16, 1977

"Внебрачная ночь" — № 20, 1977

Из цикла "Эссе о времени".

КАЖДАН, АЛЕКСАНДР

В прошлом известный советский историк. После эмиграции живет в США.

"Зигзаги истории" — № 62, 1981. (Размышления об историческом процессе.)

КАРАБЧИЕВСКИЙ, ЮРИЙ

См. раздел "Прозе". Рукопись получена по каналам самиздата

"И вохровцы и зэки" — №65, 1982. Статья об Александре Галиче.

КАЦЕНЕЛИНБОЙГЕН, АРОН

В прошлом крупный советский экономист. После эмиграции — профессор Пенсильванского университета.

"Мысли о пользе монархии" — № 73, 1983. (О путях и возможностях автократического правления в СССР.)

КЕСТЛЕР, АРТУР

См. раздел "Проза".

"Тропа динозавра" — № 10, 1976

"Человек — ошибка эволюции" — № 17, 1976

"Политические неврозы" — № 23, 1976

"Иуда на перепутье" — № 33, 1978

"Парапсихология в свете новой физики" — № 58, 1981

Основные темы статей и эссе — человек в современном мире; социально-психологические корни тоталитарных режимов"; кризис современной культуры. (Все работы в переводе М.Ледера).

КЛЕПИКОВА, ЕЛЕНА

После эмиграции живет в США. Пишет в соавторстве с В.Соловьевым. (см.Соловьев Владимир).

"Пролог к действию" — № 32, 1978. (Тема статьи — поэзия и русский национализм в СССР.)

"У погоста русской деревни" — № 35, 1978.

КОГАН, ЭМИЛЬ

Журналист. После эмиграции живет во Франции.

"Противоречие духа и дух противоречия" — № 46, 47, 1979. Эссе О творчестве А.Солженицына.

КОПЕЛЕВ, ЛЕВ

Специалист по немецкой литературе. В прошлом известный советский литературовед и критик. В настоящее время живет в Германии, преподает в университете.

"От рода к человечеству" — № 32, 1978 (о книге Гарольда Айзекса "Идолы рода")

КОСИНСКИЙ, ИОСИФ

Эмигрировал в 1982 г. Литературный сотрудник газеты "Новое русское слово" (Нью-Йорк).

"В перспективе — военная диктатура" — № 78, 1984 (политический прогноз).

КУНИК, АБРАМ

После эмиграции с 1981 года живет в Нью-Йорке.

"Сорок минут в ньюйоркском метро" — № 75, 1983. (Очерк о нищих, уличных актерах и пассажирах в метро в Нью-Йорке и России).

ЛЕВКОВ, ИЛЬЯ

американский политолог.

"Советские неофиты в Западном Берлине" — № 61, 1981

"Новые американцы в анфас и в профиль" — №68, 69,1982; № 70,1983

Социологические исследования о третьей эмиграции.

ЛЕФЕВР, ВЛАДИМИР

Математик и социолог. Эмигрировал в 1974 г., профессор Калифорнийского университета.

"Алгебра совести, или две этические системы" — № 79, 1984.

(О советской и западной этических системах.)

МАХЛИС, ЛЕОНИД

Журналист. Эмигрировал в 1971 г. В настоящее время живет в Германии.

"Антисемиты ли немцы?" — № 70, 1983 (о современном антисемитизме в Западной Германии).

НАВРОЗОВ, ЛЕВ

см.раздел "Проза"

"Что знает западная разведка о России" — № 37, 1979

"Посредственность и спасение Запада" — № 49, 50, 1980.

"Смерть — это мы сами", — № 60, 1981

"Дураки-американцы против умных русских" — № 67, 1982

"Свобода личности или свобода корпораций?" — № 72, 1983

Статьи содержат критику монополий газеты "Нью-Йорк Тай**мс".**

НАКЛЕУШЕВ, ЕВГЕНИЙ

Философ, эмигрировал в 1978 г. живет в Нью-Йорке.

"Что такое социализм. К исправлению имен". — № 63, 1981. Критические заметки, направленные против современных западных представлений о социализме.

НИЛОВ, Г.

Живет в Москве. Рукописи получены по каналам самиздата.

"Из-под глыб — в небеса" — № 35, 1978. Критический разбор неподцензурного сборника "Из-под Глыб".

"Параложь советской системы" — № 58, 1981.

"Ступени иерархии" — №68, 1982.

Статьи посвящены анализу советской системы.

НОЛЯИН,ИГОРЬ

Журналист, после эмиграции живет в Нью-Йорке.

"Брежнев: правитель или марионетка?" — № 49, 1980.

"Империя и народ" — № 54, 1980.

ОРЛОВ, БОРИС

Историк, преподаватель Тель-авивского университета. Эмигрировал в 1974 году. Живет в Израиле.

"Не те вы учили алфавиты" — № 1, 1975.

"Миф о Фанни Каплан" — № 2, 1975; № 3, 1976. Историческое исследование, содержащее гипотезу о том, что в Ленина стреляла не Фанни Каплан, а эсерка Лидия Коноплева.

"Пути-дороги римских пилигримов" — № 14, 1976

ПАРАМАНОВ, БОРИС

Философ, критик. После эмиграции живет в США.

"Орвелл: пророчество — репортаж" — № 26, 1978. Мысли о творчестве Орвелла.

ПЕРАХ, МАРК

"Факты, или селекция образов" — № 4, 1976. Полемическая статья об антисемитизме Солженицына

ПЕРЕЛЬМАН, ВИКТОР

см.раздел "Проза"

"Третья эмиграции и джунгли свободы" — № 37, 1979

"Бремя свободы" — № 41, 1979

"Пир победителей" — № 64, 1982

"Моцарт и эмигрантская одиссея" — № 67, 1982

"Отцы и дети" — №69, 1982

"О смысле и цели нашей эмиграции" — № 70, 1983

"Советский режим и эмигрантские прогнозы" — № 81, 1984

"Эссе о подземных водах" — № 83, 1985. Размышления о советском режиме и прогнозы на будущее.

"О теле и духе, или о нашей эмиграции" — №84, 1985.

Главная тема публицистики В.Перельмана — жизнь и проблемы третьей эмиграции.

ПИРОГОВ, СЕРГЕЙ

После эмиграции живет в Германии.

"Волк у твоего горла" — № 20, 1972 ("творческая" лаборатория КГБ).

ПРАТ, НАФТАЛИ

Философ, публицист. Эмигрировал в Израиль в 1971 году.

"Психология осажденных" — № 18, 1976
"Если только за себя" — №31, 1978
"Безумцы в безумном мире" — № 34, 1978
"Сталинизм с человеческим лицом" — № 38, 1979
"Еврокоммунизм и Москва" — № 46, 1979
"Славянофилы в зеркале политики" — №49, 1980
"Правые, левые и социализм" — № 52, 1980
"Эмигрантские комплексы в историческом аспекте" — № 56, 1980
"Серьезная дискуссия и эмигрантские ссоры" — № 54, 1980
Статьи посвящены наиболее острым проблемам современности.

ПОПОВСКИЙ, МАРК

В прошлом известный советский публицист. Широко выступает в эмигрантской печати. После эмиграции живет в США.

"Дети и эмиграция" — № 78, 1984.
"Семейное счастье в стране социализма" — № 80, 1984.

ПЯТИГОРСКИЙ, АЛЕКСАНДР

Востоковед по образованию; специалист по семиотике. После эмиграции живет в Англии.

"Пастернак и "Доктор Живаго" — № 25, 1978. Анализ творчества Пастернака, рождение образа доктора Живаго.

РАМАДИНОВА, ДОРА

Музыковед, журналист. В 1978 г. эмигрировала в США.

"Шостакович: герой или антигерой?" — № 78, 1984. Парадоксальные заметки о жизни и творчестве великого композитора.

РЕЙФИЛД, ДОНАЛД

Английский славист. Живет в Лондоне

"Исповедь Виктора Х. — русского педофила" (перевод И.Померанцева) — № 78, 1984. Заметки о прототипе главного героя романа Набокова "Лолита".
"Сталин : поэтические откровения" — № 80, 1984. (Сталин как поэт.)

РУБИНЗОН, ВОЛЬФГАНГ ЗЕЕВ

Израильский историк,

"Алия в зеркале социологии" — № 58, 1980. (В основу очерка положены материалы социологического опроса, проведенного Иерусалимским университетом).
"От царя Давида до Пипке-бухгалтера. — № 58, 1981. Статья об еврейских мафиях в Америке.

РУБИН, ИЛЬЯ

Талантливый поэт и публицист. Умер вскоре после эмиграции в Израиль.

"Своеволие Бориса Хазанова" — № 15, 1976
"Победитель и побежденный" — № 37, 1979

РУБИНШТЕЙН, НАТАЛИЯ

Критик и публицист. Живет в Израиле.

"Выключите магнитофон — поговорим о поэте" — № 2, 1975
"Берлиозы — совратители на пути России" — № 3, 1976
"Без псевдонимов и без грима" — № 5, 1876
"Кто читатель?" — № 7, 1976
"Абрам Терц и Александр Пушкин" — № 9, 1976
"Жить во лжи" — № 11, 1976
"Сквозь исповедь сына века" — № 12, 1976
"Сказание о земле Ибанской" — № 16, 1977
"Билет на панихиду" — № 18, 1977
"Дом, которого нет" — № 19, 1977
Статьи о современной русской литературе.

СЕРМАН, ИЛЬЯ

В прошлом известный советский литературовед. После эмиграции живет в Израиле.

"Кровоточащий суррогат" — № 57, 1980. О повести Д.Жукова "Владимир Иванович" ("Новый мир", 1978, №7).

СИЛЬНИЦКИЙ, ФРАНТИШЕК

Активный участник "Пражской весны". После эмиграции живет в США.

"Угроза коммунизма и мораль России" — № 55, 1980- (Александр Солженицын и русское национальное сознание).

СИНЯВСКИЙ, АНДРЕЙ

В прошлом известный советский литературовед и критик. В настоящее время живет в Париже. Один из самых крупных писателей третьей эмиграции.

"Я и они" — № 13, 1976. (Эссе о языке.)
"Театр Галича" — № 14, 1976

СМИТ, ХЕДРИК

Выдающийся американский журналист, корреспондент "Нью-Йорк Таймс"

"Привилегированный класс" — № 38, 1979 Отрывок из книги "Русские".

СОЛОВЬЕВ, ВЛАДИМИР

Журналист, критик. Живет в США. Широко выступает в американской прессе совместно с Е.Клепиковой. (См. Клепикова, Елена).

"Кумир нации или эолова арфа" — № 28, 1978. (Дуалистическое эссе о русской поэзии).
"Василий Шукшин: мания правдоискательства" — № 34, 1978.
"Ошибка Михаила Зощенко" — № 41, 1979.

СОЛОВЬЕВ ВЛАДИМИР, КЛЕПИКОВА ЕЛЕНА

"Нынешние и будущие правители России" — № 44, 1979
"Гамлетовы сомнения Кремля: что делать с Польшей?" — № 84, 1985

СУВАРИН, БОРИС
Французский историк и публицист, порвавший с коммунистическим движением, одним из активных деятелей которого он был. Автор широко известной книги "Сталин".
"Солженицын и Ленин" — № 22, 23. (О книге А.Солженицына "Ленин в Цюрихе").

СУСЛОВ, ИЛЬЯ
См. раздел "Проза"
"Эссе о цензуре" — № 56, 1980.

ТЕЛЕСИН, ЮЛИУС
После змиграции живет в Израиле.
"Исправленный Хемингуэй, или по ком стригут ножницы" — № 75, 1983. Исследование цензурных искажений в советском издании романа Хемингуэя "По ком звонит колокол".

ТИМОФЕЕВ, ЛЕВ
См. раздел "Проза".
"Последняя надежда выжить" — № 75, 1983; № 76, 77, 1984. Исследование о нравственном кризисе современной России.

ТРОППЕР, МИХАИЛ
После змиграции живет в Израиле.
"Алия в зеркале психиатрии" — № 2, 1975, № 3, 1976. Заметки психиатра о еврейской эмиграции в Израиль.

ТУММЕРМАН, ЛЕВ
Ученый, геофизик. После змиграции живет в Израиле.
"Израиль. Европа или Азия" — № 5, 1976. (О левантийских чертах в жизни еврейского государства.)

ФЛЕЙШХАУЭР, ИНГЕБОР
Журналистка, переводчица. Родилась в Германии. Живет в Израиле.
"Двойная лояльность" — № 30, 1978. Мысли о двойной лояльности евреев диаспоры и ее возможных последствиях.

ФЕДОСЕЕВ, АНАТОЛИЙ
В прошлом известный советский ученый. Бежал из СССР, живет в Лондоне.
"Социалистическая святость, или разумный эгоизм" — № 58, 1981
Заметки об античеловеческой сущности социалистических систем.

ХАЗАНОВ, БОРИС
См. раздел "Проза"
"Новая Россия" — №8, 1976. Мысли о еврейской эмиграции.
"Письма без штемпеля" — N° 69, 1982. Философское эссе об иудеохристианской культуре.
"Опровержение литературы" — № 74, 1983. Размышления о современном романе.

ХЕЙФЕЦ, МИХАИЛ
Журналист, публицист и критик. Эмигрировал в Израиль в 1980 г.
"Нация заброшенных детей" — № 57. 1980.
"Куда поставят — там стою" — № 68, 1982
"Тайна зловещих признаний" — № 70, 1983.
Статьи посвящены анализу социальной и нравственной сущности советского режима.

ШАМИР, ИСРАЭЛЬ
Публицист и переводчик. Эмигрировал в Израиль в 1969 г.
"Тринадцатая поправка" — № 54, 1980 Размышления о западной демократии.
"Империя чувств" — № 58, 1981. Эссе о сексуальной революции в кино.
"Сто лет Джойсу, или один день Леопольда Блюма" — № 80, 1984.

ШЛЯПЕНТОХ, ВЛАДИМИР
См.раздел "Мемуары"
"Эссе о власти" — № 74, 75, 1983.

ШОССЕТ Б.
"Эта прекрасная, прекрасная жизнь" — № 65, 1982 (Мысли об Америке.)

ШРАГИН, БОРИС
Философ, публицист. После эмиграции живет в США.
"Через индивидуализм к универсальности" — № 39, 1979
"Авторитарные личности" — № 66, 1982

ШТЕЙНЗАЛЬЦ, АДИН
Известный израильский философ.
"Кто мы: трагические актеры или самобытная нация?" — № 1, 1975
Мысли о сущности еврейства.

ШТРОМАС, АЛЕКСАНДР
Советолог, живет в Англии.
"Мир Александра Галича" — № 45, 1979.

ШТУРМАН, ДОРА
См.раздел "Мемуары"
"Минаевщина" — № 27, 1978
"Этот самый человечный человек" — № 28, 1978
"Любовь без взаимности" — № 30, 1978
"Победа и крушение Ленина" - № 32, 33, 1978
"Хаос вместо демократии" — № 36, 1978
"Оппозиция Ее величества" — № 38, 1979
"Николай Бухарин — любимец партии" — №39, 40, 1979
"Стукачи и гонг справедливости" — № 42, 1979

"Далекие и близкие Андрея Седых" — № 45, 1979
"Советолог на карнавале детанта" — № 48, 1979
"Спор о социализме" — № 57, 1980
"Правда и ложь" - № 61, 1981
"Блеск и нищета Александра Зиновьева" — № 62, 1981
"Мертвые хватают живых" — № 66, 1982
"Советские вожди на языке острословов" — № 74, 1983
"За вашу и нашу свободу" — № 79, 1984

ЦИРЮЛЬНИКОВ, СОЛОМОН
См. раздел "Мемуары"
"Вслух о "черном Израиле" — № 50, 1980
"Бродячая тайна" — № 52, 1980
"Абстрактная мораль и живая история" — № 53, 1980
"Путч в Израиле. Миф или реальность?" — № 55, 1980
"Израиль - год 2000" — №61, 1981
"Сумерки богов" — № 79, 1984
"Израильский тупик" — № 82, 1985
"Духовная *драма сионизма"* — № 84, 1985
"Израильское двоевластие" — № 85, 1985

ЭЛЬДАД, ИСРАЭЛЬ
Израильский философ, теоретик создания целостного Эрец Исраэля
"В своем пиру похмелье" — № 16, 1977
"Между переворотом и революцией" — № 37, 1979
"Еврейская аномалия в трех измерениях" — № 76, 1984

ЭТКИНД, ЕФИМ
Известный литературовед, критик и переводчик. Крупный специалист по теории перевода. После эмиграции живет и преподает во Франции. Член редколлегии и заведующий французским отделением журнала "Время и мы".
"Кленовый лист" — № 21, 1977
"Капля крови" — № 22, 1977
"Советские писатели и смерть" — № 26, 1978
"Леонид Брежнев как писатель" — № 30, 1978
"Рождение мастера". О прозе Фридриха Горенштейна. — № 42, 1979
"Двадцать лет спустя". О Вас. Гроссмане — № 45, 1979
"Путь к России" — № 47, 1979
"Литературная нравственность Феликса Кузнецова" — № 47,1979
"Отец и дочь" — № 66, 1982
"Православие, самодержавие, народность" — № 67, 1982
"Сумеречный мир доктора Бомгарда" — № 81, 1984
"О сумрачной России" — № 83, 1985

ЯКОБСОН, АНАТОЛИЙ
Талантливый критик и участник правозащитного движения. Трагически погиб вскоре после эмиграции в Израиль
"Фрагменты из Марголина" — № 19, 1978. Критическое эссе.

ВЫПУСКИ 1—100

ДОПОЛНЕНИЯ К КАТАЛОГУ

ПРОЗА

АЛЕКСЕЕВ, ВЛАДИМИР
Автор живет в СССР, рукопись получена по каналам самиздата.
«Смерть на заводе», рассказ — №34, 1978.

СИМОНА ДЕ БОВУАР
Известная французская писательница, лауреат премии Братьев Гонкур.
«Мандарины» — №96, 97, 1987.

БРЕНЕР, МАРИЯ
«Обыск», рассказ — №40, 1979.

БОЛЬШУН, БОРИС
Писатель-юморист «третьей волны».
«Кто такой Горфункель» — №90, 1986.
«Бой-френд Маноля», №98, 1987.

ВИШНЯК, ВЛАДИМИР
Поэт и переводчик, эмигрировал из СССР в 1972 г., живет в Англии.
«Мон Ами Андрэ Конюс», рассказ — №37,1979.

ГАВЕЛ, ВАЦЛАВ
Известный чешский писатель и драматург.
«Прием» — №88, 1986.

ГИНЗБУРГ, ЕВГЕНИЯ
Известная русская писательница, автор книги «Крутой маршрут» о сталинских лагерях, умерла в 1977 году.
«Mea culpa», глава из книги —- №49, 1979.

ГИРШИН, МАРК
Русский писатель «третьей волны», живет в США.
«Развод» — №87, 1985.

ГОРЕНШТЕЙН, ФРИДРИХ
См. раздел «Проза».
«Детоубийца» — №92, 1986.
«Шампанское с желчью» — №94, 1987.
«Место», — № 100, 1988.

ДЖОЙС, ДЖЕЙМС
Один из самых выдающихся писателей 20 века.
«Сирены», глава из «Уллиса» — №93, 1986.

ЖВАНЕЦКИЙ, МИХАИЛ
Известный советский писатель-сатирик, живет в Москве. Рукопись пришла по каналам самиздата.
«Светлые проблемы темной личности» — № 89, 1986.

ЗИЛЬБЕРМАН ДАВИД
Инженер, живет в Нью-Йорке.
«Арнольд и Буби» — №98, 1987.

ЗИНИК, ЗИНОВИЙ
Смотри раздел «Проза».
«Эдипов Сталин» — №87, 1985.

КАНДЕЛЬ, ФЕЛИКС
Известный писатель «третьей волны», живет в Израиле.
Два рассказа — № 29, 1978.

КОПП, ПАВЕЛ
Писатель, живет в СССР.
«Из воспоминаний бойцового петуха» — № 99, 1987.

ЛЕВИТИН, ЛЕВ
Живет в Израиле, эмигрант из СССР.
«Соседи», рассказ — №20, 1977.

ЛУЗ, ЦВИ
Израильский писатель.
«Шуламит», рассказ — № 13, 1977.

КОПЕЛЕВ, ЛЕВ; ОРЛОВА, РАИСА
Лев Копелев — критик, литературовед и писатель. (См. раздел «Публицистика».)
Раиса Орлова (жена Копелева) — писатель и переводчик, живут в Германии.
«В конце крутого маршрута». Воспоминания о Евгении Гинзбург.

КУНДЕРА, МИЛАН
См. раздел «Проза».
«Непереносимая легкость бытия» — № 88, 1986.

МЕЖИРИЦКИЙ, ПЕТР
Писатель, живет в США.
«Крещатик поверженный» — №99, 1987.

МАТЛИН, ВЛАДИМИР
См. раздел «Проза».
«Уплотнение» — №91, 1986.
«Научная истина» — №92, 1986.

МИЛЛЕР, ГЕНРИ
Выдающийся американский писатель.
«Тропик рака» — №85, 1987.

НАВРОЗОВ, ЛЕВ
См. раздел «Проза».
«Сто сотых», «Сладкие дни» — №86, 1985.

НЕЧАЕВ, ВЛАДИМИР
Писатель-эмигрант «третьей волны», живет в Париже.
«Последкий путь куда-нибудь» — № 17, 1976.
«Одиноким сдается угол» — № 26, 1978.

ОРБАХ Д.
Израильский писатель.
«Судный день» — № 14, 1977.

ПЛАТОНОВ, АНДРЕЙ
Выдающийся русский писатель 20 века.
«Бессмертие», «Легенда» — №86, 1985.

ПОМЕРАНЦЕВ, ИГОРЬ
Писатель «третьей волны», работает на Би-Би-Си, живет в Лондоне.
«Монолог» — №63, 1981.
Два рассказа — № 74, 1983.
«Вы меня слышите?» — №87, 1985.

РАЙЗ, ЛЮДМИЛА
Очеркист и писатель, живет в Израиле.
«Отправь меня в Россию» — №98, 1987.

СНЕГИРЕВ, ГЕЛИЙ
Украинский писатель, трагически погибший в застенках КГБ.
«Автопортрет» — № 22, 1977.

ТРОЛЛЬ, ЮЛИЯ
Журналистка, эмигрировала из СССР, живет в Нью-Йорке.
Три рассказа — №38, 1979.

ТУМАНОВА, АЛЛА
Писательница, живет в Канаде.
«Читайте, завидуйте», № 93, 1986.

ФИЛАНДРОВ, ВЛАДИМИР
Писатель «третьей волны», живет во Франции.
«Искусственное сердце», рассказ — № 17, 1977.

ФРАДИС, АЛЕКСАНДР
Эмигрант из СССР, живет в Канаде.
Два рассказа — №67, 1982.

ФРИДМАН, ДАВИД
Известный еврейский писатель начала века, жил в Америке.
«Мендель Маранц» — № 95, 96, 1987.

ХАЗАНОВ, БОРИС
См. раздел «Проза».
«Хроника о Картафиле» — № 100, 1988.

ЦЕПЛИОВИЧ, ГРИГОРИЙ
Живет в Израиле, в прошлом театральный режиссер.
Два рассказа — №3, 1976.

ЧАНДЛЕР, РАЙМОНД
Известный американский писатель, мастер художественного детектива.
«Беда — мое ремесло» — №90, 91, 1986.

ШЕНБРУНН, СВЕТЛАНА
Писательница «третьей волны», живет в Израиле.
«Брат мой», «Аня», «Мальчик», три рассказа — №9, 1976.

ШИФЕРС, ЕВГЕНИЙ
Ленинградский писатель, рукопись пришла по каналам самиздата.
«Давай, Акимушкин, давай!», расказ — №26, 1977.

ШЛЯПЕНТОХ, ДМИТРИЙ
См. раздел «Проза».
«Воскрешение» — № 86, 1985.

ШРАЕР-ПЕТРОВ, ДАВИД
Писатель «третьей волны», живет в Соединенных Штатах.
«В камышах», «Рыжуха», «Давид и Голиаф» — №98, 1987.

ШУЛЬМАН, МИХАИЛ
Многие годы провел в сталинских лагерях, автор книги «Бутырский декамерон», живет в Израиле.
«Реб Нухем», «Командарм у параши» — №6, 1976.

ЯНОВСКИЙ, ВАСИЛИЙ
См. раздел «Мемуары».
«Двойной Нельсон» — №89, 1987.

МЕМУАРЫ

БУРЦЕВ, ВЛАДИМИР
Известный русский писатель и историк начала века.
«Сионский мудрецы и русские антисемиты» — №88, 89, 1986.

ГАЛИЧ, АЛЕКСАНДР
См. раздел «Проза».
«Прощальный ужин» — №99, 1987.

ДАЯН, ЯЕЛЬ
Писательница, дочь Моше Даяна.
«Последние два года» (глава из книги «Отец и дочь») — №91, 1986.

ДЕМИН, МИХАИЛ
Писатель-эмигрант «третьей волны», бежавший из СССР и рассказавший Западу об уголовном мире в СССР. Последние годы перед смертью жил в Париже.
«Блатной» — №27, 28, 1978.
«Таежный бродяга» — №35, 36, 1978.
«Горькое золото» — №46, 47, 1979.

ДУБНОВА-ЭРЛИХ, СОФИЯ
Эссеистка и поэтесса, дочь знаменитого еврейского историка Семена Дубнова. Во время революции эмигрировала в Польшу. После войны жила в США.
«Люди серебряного века» — №96, 1987.
«Революция» — №97, 1987.

ГРИВНИНА, ИРИНА
Известный деятель правозащитного движения. В настоящее время живет в Голландии.
«Лефортовские собеседники» (о нравах следователей Лефортовской тюрьмы) — №84, 1985.

ГРОССМАН, ЛЕОНИД
Известный литературовед и писатель.
«Исповедь одного еврея» — № 92, 1986.

ИВАНОВ-РАЗУМНИК, Р.
Русский писатель. После революции многие годы провел в сталинских лагерях.
«Судьбы писателей» — №86, 1985.

КОРЧНОЙ, ВИКТОР
Выдающийся шахматист современности, бежавший из СССР, живет в Швейцарии.
«Шахматы — моя жизнь» — №43, 44, 1979.

КАЦЕНЕЛИНБОЙГЕН, АРОН
Экономист, профессор и зав.кафедрой Пенсильванского университета, эмигрировал из СССР, живет в Филадельфии.
«Повесть о еврейском фаворите» — № 81,1984, (о жизни еврейских ученых в СССР).

КОПЕЛЕВ, ЛЕВ
См. раздел «Публицистика».
«Солженицын на шаражке» — № 40, 1979.

КТОРОВА, АЛЛА
Известная эмигрантская писательница.
«Черное и серое» — №93, 1986.

ЛЕВИНСКАЯ, НАДЕЖДА
«Сага о велфейре» — № 87, 1985.

ЛИМБЕРГЕР, АНАТОЛИЙ
Журналист, работает на радиостанции «Свобода» в Мюнхене.
«Последняя сессия» — № 45, 1979.

ЛЬВОВ, АРКАДИЙ
См. раздел «Проза».
«Веди за собой отца своего» — №52, 1980. Автобиографические заметки.

ЛЕРТ, РАИСА
Видный деятель правозащитного движения, последние годы жила и умерла в Москве. Рукопись пришла по каналам самиздата.
«Поздний опыт» — №47, 1979.

КРАВЧЕНКО, ВИКТОР
Первый послевоенный перебежчик из СССР, в последние годы жил в Париже.
«Я выбрал свободу». Отрывки из стенограммы судебного процесса против газеты «Леттер Франсез» — №58, 1981.

НЕИЗВЕСТНЫЙ, ЭРНСТ
Выдающийся современный скульптор, живет в Нью-Йорке.
«Мой диалог с Хрущевым» — №41, 1979.

НИКОЛАЕВСКИЙ, БОРИС
Писатель и историк русской революции. После революции эмигрировал на Запад, жил в Париже.
«Разговоры с Бухариным» — №98, 1987.

ОСОРГИН, МИХАИЛ
Писатель-эмигрант Первой эмиграции, после революции был изгнан из России и поселился в Берлине.
«Мемуары изгнанника» — №84, 1985.

ПИЛЬСКИЙ, ПЕТР
Русский писатель, журналист и эссеист первых послереволюционных лет.
«О тех, кого я знал» — №94, 1987.

РУМАНОВ, АРКАДИЙ
Русский писатель и журналист эпохи «Серебряного века»
«Штрихи к портретам: Витте, Распутин и другие» — № 95, 1987.

РОСКИНА, НАТАЛИЯ
Литератор, жила в Москве.
«Горькая судьба поэта» — №48, 1979.

СВИРСКИЙ, ГРИГОРИЙ
Известный писатель «третьей волны», живет в Канаде.
«Подпольная группа «пики», или как меня вербовали» — №89, 1986.

СЕДЫХ, АНДРЕЙ
Известный русский писатель и журналист, издатель газеты «Новое русское слово». Живет в Нью-Йорке.
«Шагал» — № 37, 1978.

ТОЛСТАЯ, АЛЕКСАНДРА
Известная общественная деятельница, дочь Л.Н.Толстого.
«Лев Николаевич и Софья Андреевна» — № 100, 1988.

ТРОЦКИЙ, ЛЕВ
Крупнейший деятель революции и гражданской войны.
«Почему они каялись» — № 96, 97, 1987.
«Десять писем» — № 90,1986.

ХОДАСЕВИЧ, ВЛАДИСЛАВ
Известный писатель и поэт эпохи «Серебряного века».
«Черепанов» — №93, 1986.
«Горький за границей» — №99, 1987.

ХЕНКИН, КИРИЛЛ
Журналист и писатель, живет в Мюнхене. Эмигрировал из СССР в 1973 году.
«Охотник вверх ногами» — № 49, 1960.

ШАМКОВИЧ, ЛЕОНИД
Шахматист, гроссмейстер, живет в США.
«Эссе о шахматной элите» — № 77, 1984. Воспоминания о встречах с крупнейшими советскими шахматистами.

ШУЛЬМАН, МИХАИЛ
См. раздел «Проза».
«Петроградская гастроль кантора Шульмана» — № 12, 1976.

ЭВАН, АБА
Выдающийся политический деятель Израиля, бывший израильский посол в США и министр иностранных дел.
«Рождение Израиля» — № 100, 1988.

ПУБЛИЦИСТИКА

АГРОСКИНА (ГРОСС), НАТАЛИЯ
Критик и литературовед, живет и работает в Гармише.
«Русский авангард» — №36, 1978.
«Женщина у алтаря искусства» — №41, 1979.
«Еврейский стереотип и перевернутая пирамида» — № 39, 1978.
«Шрамы Российского Одиссея» — № 55, 1980.

АГУРСКИЙ, МИХАИЛ
Публицист и политолог, эмигрант из СССР, живет в Израиле.
«Двуликий Сталин» — № 18, 1976.

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ, Б.
«Плата за преданность» — №71, 1983 (Писатели и 37-й год.)

АЛЕКСЕЕВА, ЛЮДМИЛА
Журналистка, живет в США, работает на радиостации «Свобода».
«Социалисты в советском подполье» —№87, 1985.

АЛЛОЙ, ВЛАДИМИР
Критик, эмигрант из СССР, живет в Париже.
«Прорыв в бесконечность» — №8, 1976. (О поэзии Иосифа Бродского.)

АЛДАНОВ, МАРК
Известный писатель первой эмиграции, последние годы жил в США.
«Мир после Гитлера» — №81, 1984.

АРОНСОН, Ш.
«Лидеры и политика» — №44 , 1979. (Сравнительная характеристика ведущих израильских лидеров), перевод из журнала «Мигван».

АРАНОВИЧ, ЮРИЙ
Известный музыкант и дирижер, эмигрант из СССР.
«Любите ли вы музыку Вагнера?» — № 92, 1986.

БЕЛИНКОВ, АРКАДИЙ
См. раздел «Публицистика».
«Страна рабов, страна господ» — №95, 1987.

БЕЛИНКОВА-ЯБЛОКОВА, НАТАЛИЯ
Славист и филолог. Живет с США. См. раздел «Мемуары».
«В доме с розовыми стеклами» — № 38,1979 (о творчестве Аллы Кторовой).
«Любовь и ненависть Аркадия Белинкова» — №95, 1987.

БЕРДЯЕВ, НИКОЛАЙ
Выдающийся русский философ 20 века.
«Христианство и антисемитизм» — №98, 1987.

БОРИСОГЛЕБСКИЙ, Б.
«Почему серые выигрывают?» — №90, 1986.

БЕРЛИН, ИСАЙЯ
Выдающийся философ и публицист.
«Что принес нам 20-й век» — №54, 1980.

БИРМАН, ИГОРЬ
Экономист, публицист, живет в США.
«Советский режим: прогнозы и реальность» — № 29,1978.
«Угроза» — №53. 1980.

БРУЦКУС, Э.ЭЛИЕЗЕР
По профессии архитектор, после революции эмигрировал из России в Палестину.
«Сжигать ли мосты» — № 15,1976. (О судьбе русской культуры в Израиле.)

ВИШНЯК, ВЛАДИМИР
См. раздел «Проза.
«Несговорщик с антикультурой» — №35, 1978. (О творчестве Е.Эткинда)

ВОРОНЕЛЬ, АЛЕКСАНДР
Физик, профессор Тель-Авивского университета, общественный деятель
«Андрей Сахаров и современный мир» — №3, 1976.
«Время размышлять» — №6, 1976.

ВИРЕН-ГАРЧИНСКАЯ, ВЕРА
Журналистка, профессор славистики Нью-йоркского университета.
«Москва: сентябрь 1985-го» — №86, 1985.
«Супруги Горбачевы глазами журналиста» — №87, 1985.
«Социологический опрос в Москве» — №91, 1986.

ВУЛЬФ, ВИРДЖИНИЯ
Выдающаяся английская писательница.
«Русская точка зрения» — №98, 1987.

ВАЙЛЬ ПЕТР, ГЕНИС, АЛЕКСАНДР
См. раздел «Публицистика».
«Made in USA» — №89, 1986.

ГЕССЕН, ЕЛЕНА
Журналистка, эмигрировала из СССР, живет в США.
«Кто боится Людмилы Петрушевской» — №81, 1984.
«Слово о «Новом мире» — №98, 1987.
«Битвы «Нашего Современника» — №99, 1987.

ГИЛЬБОА, ИОШУА
Израильский журналист, в прошлом корреспондент газеты «Маарив». В последние годы перед смертью жил в Тель-Авиве.
Ценности в обезличенном мире» — № 19, 1977.

ЗОАР, ЭЗРА
Израильский политический деятель.
«Ваш дом здесь» — № 18, 1977.

ГУСАРОВ, ВЛАДИМИР
Живет в России. Статья пришла по каналам самиздата.
«В защиту Фаддея Булгарина» — № 29, 1978.

ЕФИМОВ, ИГОРЬ
См. раздел «Проза».
«Кто виноват в социализме» — №43, 1979.
«Писатель, расконвоированный в историки» — №71, 1983 (О Юрии Трифонове.)

КАЙЗЕР, РОБЕРТ
Известный американский журналист, сотрудник газеты «Вашингтон Пост».
«Советские амбиции» — №94, 1987.

КАЦЕНЕЛИНБОЙГЕН, АРОН
См. раздел «Публицистика».
«Передышка или смена традиции» — №96, 1987.
«Парадокс Горбачева» — №98, 1987.
«Янов против Солженицына» — № 100, 1988.

КАЦ, ЗЕЕВ
Историк, живет в Израиле.
«Завтрашний день человечества» — №4, 1976.
«Вера для неверующих» — № 19, 1976.

ЛЕВИНА, АСЯ
Журналистка, работает на радиостации «Свобода», живет в Мюнхене.
«Люди остаются людьми» — № 14, 1976.

ЛЕДЕР, МИХАИЛ
Журналист, писатель и переводчик. Член редколлегии с первых номеров журнала «Время и мы». Автор, которому принадлежат лучшие переводы с иврита. Умер в Израиле в 1978 году.
«Афера» — №11, 12, 13.
«Этот прекрасный, преступный мир» — №21, 1977.

ЛЕМХИН, МИХАИЛ
Журналист и критик, живет в США.
«Кто же они, кумиры?» — № 95, 1987.

ЛИЩИНСКИЙ, ИОСИФ
Журналист, сотрудник Израильского радио, живет в Иерусалиме.
«Государство Израиль против Ивана Демянюка» — №97, 1987.

ЛЬВОВ, АРКАДИЙ
См. раздел «Проза»
«Гости или древнейшие обитатели» — №51, 1980.
«Тайна грозящей десницы» — №57, 1980.
Два эссе о евреях в древней Руси.

ЛЬВОВ, АНДРЭ
Писатель и философ, лауреат Нобелевской премии, живет во Франции.
«Искусство, наука и игра» — № 6, 1976.

ЛИТВИНОВ, ВЛАДИМИР
Историк, живет в Москве, рукопись пришла по каналам самиздата.
«Нестор Махно и евреи» — №71, 1983.

МАНЕВИЧ, ЕФИМ
По специальности инженер-электронщик, живет в Соединенных Штатах.
«Нужен ли Москве Израиль?» — № 83, 1985.
«Путь праведных — №90, 1986.
«Новая эмиграция: слухи и реальность» — №87, 1985.
«Правда истории и эпатаж Евгения Манина» — №94, 1987.

МАЙДАНИК, Е.
Журналист, живет в Израиле.
«Как это делается?» — № 87, 1985.

МАНИН, ЕВГЕНИЙ
Журналист, живет в Америке.
«Страх перед Родиной» — №94, 1987.
«Парадокс еврейского гетто» — № 95, 1987.

МОЙШЕЗОН, БОРИС
Математик, профессор Колумбийского университета.
«О человеческом мышлении и компьютерных идолах» — №86, 1985.
«Карьера и честность ученого» — №88, 1986.

МАРКИШ, ШИМОН
Писатель и критик, живет в Швейцарии.
«Куда прорвался Г. Свирский» — N° 87, 1985.

МНАЦАКАНОВА, ЕЛЕНА
Критик, искусствовед, живет в Австрии.
«Искусство и предрассудки» — №27, 1978.

МАРРАН
Автор живет в СССР, рукопись пришла по каналам самиздата.
«Миражи тяжелого песка» — №41, 1979 (О романе А.Рыбакова «Тяжелый песок».)
«Лики русской идеи» — №63, 1981 (О русском национализме.)
«Деформация души» — № 64,1982 (Правда и ложь советской литературы.)
«Пляски у заветной черты» — №83, 1985 (литература эпохи Андропова).

НУДЕЛЬМАН, ЮЛИЙ
Автор по профессии врач, живет в Израиле.
«Кровопролитие в медицине» — №89, 1986

НЕИЗВЕСТНЫЙ, ЭРНСТ
См. раздел «Мемуары».
«Гений на рынке искусств» — № 100, 1988.

НАВРОЗОВ, ЛЕВ
См. раздел «Проза».
«Запад выходит напрямую к гибели» — №99, 1987.

МАСЛОВ, С.
Автор живет в СССР. Рукопись пришла по каналам самиздата.
«Сочувствие» — №42, 1979.

МЕЛЬНИКОВ
Автор живет в СССР. Рукопись пришла по каналам самиздата.
«Тексты и код коммунизме» (заметки о большевистской ментальности) — №47,48, 1979.

ПАРАМОНОВ, БОРИС
Критик и публицист, эмигрант из СССР, живет в США, работает на радиостации «Свобода».
«Маргарет Митчелл и «русский ренессанс» — №91, 1986.

ПЕРЕЛЬМАН, ВИКТОР
Главный редактор журнала «Время и мы».
См. раздел «Проза».
«О либералах в советских верхах» — №87, 1985.
«О Германе Гессе, космической катастрофе и честном бизнесе» — № 89, 1986.
«Мысли о возвращении» — №92, 1986.
«Энергия вождя и безмолствующий народ» — №98, 1987.
«Эссе о говорящей России» — №99, 1987.

ПОЛЬСКИЙ, ВИКТОР
По специальности инженер, живет в Израиле.
«Неизбежное гражданство или свобода выбора» — № 38, 1979.

ПЯТИГОРСКИЙ, АЛЕКСАНДР
Видный ученый-востоковед и литературовед, эмигрировал из СССР, живет в Лондоне.
«Пастернак и «Доктор Живаго»— №25, 1978.

РУБИН, ЕВГЕНИЙ
Спортивный журналист, работает на радиостанции «Свобода», живет в Нью-Йорке.
«Победитель и побежденный» (шахматное эссе) — №37, 1979.

СЕГАЛ, БОРИС
Автор по профессии врач-психиатор, эмигрировал из СССР, живет в США.
«Синдром хама, или конец нашей цивилизации» — №92, 93, 1986.

СОЛОВЬЕВ, ВЛАДИМИР и КЛЕПИКОВА, ЕЛЕНА
См. раздел «Публицистика».
«Как управлялась империя со смертного одра» — № 89, 1986.
«Борьба в Кремле: от Андропова до Горбачева» — №88, 1986.

СОЛОВЬЕВ, ВЛАДИМИР
«История одной скверности» — №95. 1987.
«Гласность: пир во время чумы» — 100, 1988.

РУДКЕВИЧ, ЛЕВ
Психолог, журналист и политолог, эмигрант из СССР, живет в Германии.
«Не хочу бабушку-обезьяну» — №88, 1982.

ТЫКОЦКИЙ, ЛЕОНИД
Экономист, эмигрант из СССР, живет в США.
«Темная новь над светлым будущим» — №59, 1981.

УИТНИ, КРЕГ
Американский журналист, сотрудник газеты «Нью-Йорк таймс»
«Письмо Горбачеву» — №93, 1986.

ФИН, АЛЕКСАНДР
Автор живет в Канаде.
«Еще раз об алгебре совести» — №86, 1985.

ЦИРЮЛЬНИКОВ, СОЛОМОН
См. раздел «Публицистика».
«Израиль — год 1986» — №88, 1986.
«Священная война в Израиле» — № 90, 1986.
«Три лика Израиля» — №94, 1987.
«СССР, евреи и Израиль» — №96, 1987.

ЧАЛИДЗЕ, ВАЛЕРИЙ
Ученый и публицист. Лауреат премии Мак-Артура.
«Демократия в России?» — №95, 1987.

ШТУРМАН, ДОРА
См. раздел «Публицистика».
«Солженицын и некоторые его читатели» — № 100, 1988.

ШЛЯПЕНТОХ, ВЛАДИМИР
См. раздел «Публицистика».
«Американский динамизм. Письмо в Россию» — №89, 1986.
«Два письма в Россию» — № 96, 1987.
«Александр II и Михаил Горбачев» — №97, 1987.
«Палачи и жертвы» — №99, 1987.

ШНАЙДЕР, М.
Филолог, живет в Израиле.
«Юрий Аранович против Рихарда Вагнера» — №92, 1986.

ЭТКИНД, ЕФИМ
См. раздел «Публицистика».
«1946 год: крушение надежд» — №89, 1986.
«Молюсь за тех и за других» — № 93, 1986.
«Забота человеческого духа» — №94. 1987.
«Наши и чужие берега» — №98, 1987.
«С четырех сторон огороженный» — № 100, 1988.

Отвергнутые рукописи не возвращаются и по их поводу редакция в переписку не вступает.

MAIN OFFICE
409 Highwood Avenue, Leonia, NJ 07605
(201) 592-6155

OCR и вычитка — Давид Титиевский, июль 2011 г.
Библиотека Александра Белоусенко

Набор, монтаж и подготовка к печати выполнены компанией NAME Advertising Co.

На первой странице обложки коллаж Вагрича Бахчаняна.

**На четвертой странице обложки:
скульптура Эрнста Неизвестного «Орфей».**